А.Д. Васильев

ВАРИАТИВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ

Том 2

Издание второе, исправленное и дополненное

Красноярск
2021

ББК 81.2
В 191

Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор
А.П. Романенко
доктор филологических наук, профессор
О.Г. Щитова

Васильев А.Д.
В 191 Вариативные выражения универсальных оппозиций: монография: в 2 т. Изд. 2-е, испр. и доп. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2021. – Т. 2 – 330 с.

ISBN 978-5-00102-443-9

Подробно иллюстрирует многообразие вербальных и невербальных воплощений компонентов бинарных оппозиций. Привлекаются и анализируются информативные источники широкого хронологического и жанрового диапазона – от древнерусских памятников письменности до современных текстов включительно.

Может быть использована как для дальнейших исследований подобной тематики, так и в качестве вузовского учебного пособия по ряду дисциплин. Представляет интерес для всех читателей, неравнодушных к взаимосвязанным языковым и культурным процессам.

В текст второго издания внесены изменения и дополнения

ББК 81.2

ISBN 978-5-00102-443-9

© Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2021
© Васильев А.Д., 2021

Оглавление

Глава 11. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИЙ В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 5
1. Игры *сакральным / профанны*м в тексте В. В. Набокова 9
2. Вербализация аксиологических ориентиров в текстах А. Платонова 26
3. Поэтические осмысления сакральности революции: В. В. Маяковский и А. А. Блок 39
4. Сакрализация персонифицированной государственной власти (на материале текстов антиутопий Е. И. Замятина и В. Войновича) 47

Глава 12. ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СЕМИОТИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 59
1. МЫ и ОНИ в выступлении В. В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. 63
2. Лексико-фразеологические представления *своего* и *чужого* в посланиях В. В. Путина Федеральному собранию (2012–2014) 68
3. *Свои* и *чужие* в контексте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» (2014) 80
4. Представление базовых ценностей в политическом тексте 93

Глава 13. СТРАТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПУБЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ 106
1. Элементы социальной маркированности в российском официозном дискурсе 107
2. Коннотативные трансформации словосочетания *простой человек* в истории русского языка 126

Глава 14. ОНОМАСТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ 137
1. Специфика имён собственных 138
2. Основные факторы выбора имени 142
3. Искусственные заместители оригинального антропонима 156
4. Корректность употребления антропонима: этический аспект 163

5. Топонимы как сакральные маркеры участков пространства 169
6. Ономастические изыски новейших манипуляторов 176

Глава 15. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ 183
I. Лица и личины 183
1. Наружный облик человека как экспликация его сущности 183
2. Что есть красота? 207
3. Идейно-теоретические основы парикмахерских операций 213
4. Маска – суррогат лица 220
II. Одежда как социальный знак 227
1. Личность / одежда = внутреннее / внешнее 227
2. Значимость ведомственной формы одежды 244
3. Дополнительная атрибутика 250

Заключение 259

Приложения 261

Библиографический список 287

Глава 11

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИЙ В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Известно, что чем левее комментатор,
тем питает бóльшую слабость
к выражениям вроде «Голгофа революции».
В. В. Набоков

Литературное творчество не раз рассматривалось и оценивалось отечественными филологами как способ познания и осмысления действительности, зачастую приравниваемый к научному, – и наоборот. Ср.: «Единственная цель теоретического (художественного и научного) произведения есть видоизменение внутреннего мира человека, и так как эта цель по отношению к самому создателю достигается одновременно с созданием, то можно сказать, что художественное (и научное) произведение в одно и то же время есть столько же цель, сколько и средство…» [Потебня 1976а: 288].

Примеры вербальных воплощений оппозиции *свой* / *чужой* (сакральное / профанное), довольно распространенные в литературно-художественных текстах*, встречаются в разных модификациях.

Так, для Николая Ростова по возвращении из отпуска «тут, в полку, всё было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела: один – наш Павлоградский полк, и другой – всё остальное. И до этого остального не было никакого дела» [Толстой 1980, V: 131] (вероятно, на новорусском якобы научном это мироощущение могло бы быть квалифицировано как «субъектированный приоритет тренда корпоративной идентичности и квазипрофессионально детерминированной солидарности»).

* Из недавних исследований, касающихся подобной проблематики, см. [Романенко 2016].

Особенно интересны и информативны случаи употребления местоимения *наш* (*наши*) для обозначения различных сообществ, отделенных либо отделившихся от остальной массы по каким-либо определенным признакам – этническим, идеологическим, политическим и иным.

Ср., например, вариативность представления о *наших* в гоголевском тексте.

«Ясные паны! – произнес жид. – <…> То совсем не наши, что арендаторствуют на Украине! Ей-богу, не наши! То совсем не жиды: то черт знает что <…>. Мы с запорожцами как братья родные…» – «Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? – произнес один из толпы. – Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове!» [Гоголь 1952, 2: 66].

«Спасены, спасены! – кричала она [татарка] <…>. – Наши [т. е. поляки] вошли в город» <…>. Но не слышал никто из них [Андрий и панночка], какие «наши» вошли в город» [Гоголь 1952, 2: 92].

«Что ж ты делал в городе? Видел наших?» – «Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор…» – «Пропади они, собаки! – вскрикнул, рассердившись, Тарас. – Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев». – «Наших запорожцев не видел. А видел одного пана Андрия <…>. Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний» [Гоголь 1952, 2: 96–97].

В чеховском рассказе: «Уморительные попадаются субъекты, – говорит Михаил Федорович. – <…> А то намедни прихожу в театр <…>. Как раз впереди меня <…> сидят каких-то два: один «из наших»* и, по-видимому, юрист, другой, лохматый – медик <…>. Как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» – «Благородно», – отвечает из наших» [Чехов 1955, 6: 305–306].

В романе А. Н. Толстого в описании забастовки на заводе: «В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша с большим и кривым носом, в огромном, не по росту, пальто и неловко надетой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая слабой рукой, он заговорил, картавя:

* Ср.: «Он из наших (т. е. жид)» [Даль 1984, 1: 272].

– Товарищи казаки! Разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским <…>.*

Казак, поджав губы, презрительно оглядел с головы до ног молодого человека, повернулся и зашагал в ворота. Другой ответил внушительно, книжным голосом:

– Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали.

Тогда первый, очевидно, придумав ответ, крикнул курчавому юноше:

– Братья, братья… Штаны-то подтяни, потеряешь.

И оба казака засмеялись» [Толстой 1982, 1: 84]

У Ф. М. Достоевского: «В восьмом часу вечера <…> собрались наши в полном комплекте, впятером <…>. Наши были возбуждены» [Достоевский 1957, 7: 406] (здесь *наши* – члены революционной подпольной организации).

Подобным образом выражается Остап Бендер в сцене собрания тайного антисоветского общества «Союз меча и орала»; вербуя в него «слесаря-интеллигента» (он же – «кипучий лентяй») Полесова, великий комбинатор задает ему вопрос: «Наших в городе много?» [Ильф, Петров 1957а: 119]. Здесь *наши* – сторонники восстановления самодержавия, скрытые враги советской власти.

Приведём также лишь немногочисленные примеры беллетристических осмыслений революционной идеологии как религии (соответственно – её приверженцев как верующих), заимствованные из литературно-художественных текстов.

«Теперь ведь даже и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «идти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и даже убийство его, всё ещё оставался образом «земного бога», вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «*социалист*» – в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась

* Приблизительно таковы же были выступления известнейшего российского либерал-демократа в защиту русского народа.

весть, что «*социалисты*» появились даже и в наших местах <…>, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа <…>. Сын Алферова <…> был <…> уличен в «*пропаганде*», – это слово звучало тоже очень страшно» [Бунин 1988, 5: 71]. – «В среде подобных людей [«весьма разных по степени революционности»] я и провёл мою первую харьковскую зиму <…>. Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она <…>. Члены её <…> имели <…> своё собственное отношение к России: отрицание её прошлого и настоящего и мечту о её будущем, веру в это будущее <…> … Все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; всё злое – направо, всё доброе – налево…» [Бунин 1988, 5: 144]. – «Их [большевиков] немного на нашу страну… Но у них вера. Если его львами и тиграми травить или живым жечь, он и тут с восторгом запоёт “Интернационал”…» [Толстой 1982, 1: 290].

Рассмотрим далее несколько более подробно воплощения оппозиции *сакральный* / *профанный* в произведениях, как прозаических, так и поэтических, ряда отечественных авторов. Каждый из них, конечно же, обладал своим собственным мировоззрением и использовал отпущенное ему литературное дарование, овеществляя его (то есть претворяя в ткань текста) сугубо индивидуально. Небезынтересно, однако, что упомянутое универсальное противопоставление константно отражалось в их жанрово и тематически различных творениях.

Естественно, автор далек от мысли всецело предаваться сугубо статистическим изысканиям, вроде тех, которые производит сотрудник британского министерства информации: «Он подсчитал, сколько раз слово «бог» встречается в речах Гитлера, получил внушительную цифру» [Во 1971: 304]: в лингвистических исследованиях квантитативный подход вряд ли может быть сам по себе целесообразен и плодотворен. Гораздо более привлекательны попытки установления функциональной роли некоторых тематически и ассоциативно связанных лексем для определения интенций адресантов.

1. Игры *сакральным / профанным* в тексте В. В. Набокова

Вышеупомянутая «карнавальная» традиция нашла определенное продолжение в советском речекоммуникативном официозе. Возникали и становились достаточно устойчивыми широко (за счет интенсивной государственной пропаганды) распространявшиеся феномены метаморфозы вербальных символов из профанных в сугубо сакральные, то есть использования лексико-фразеологических единиц, изначально принадлежавших религиозной сфере, но превращенных в элементы советской (чисто атеистической) пропаганды. Тем более, что и с точки зрения семиотики оппозиция *свой / чужой* не просто сохраняет актуальность. Более того, полагают, что в эту эпоху «оценки человека структурируются оппозицией «враг / не враг». Все традиционные для языка противопоставления (чужой – свой, плохой – хороший, зло – добро, вредный – полезный и т. п.) поглощаются этой оппозицией» [Романенко 2003: 114]. Впрочем, к этому надо добавить еще такие действа и реалии ритуального, почти мистического характера, как компартийные собрания, официальные многолюдные митинги, демонстрации и проч. четко кодифицированные акты (ср. с торжественными молебнами и крестными ходами); портреты вождей (включая октябрятские звездочки) как чуть ли не полноценные эрзацы икон; своеобразные заместители храмовых зданий (вроде клубов, домов культуры, дворцов политического просвещения) и т. п. – в общем, всё то, что в сумме представляло собой оригинальную квазирелигиозную систему и её вполне материальное обеспечение.

Однако заметим, что такие социокультурные взаимозамены, семиотические инверсии характерны не только для самого́ советского государства. Они иллюстративно фигурируют и в текстах его более или менее откровенных неприятелей – например, подобное оказывается возможным в тексте романа В. В. Набокова «Дар», а точнее, конечно, – его четвертой главы, созданной якобы вымышленным писателем Годуновым-Чердынцевым, в котором, несомненно, есть очень много общего с его творцом – выдающимся мастером слова.

Совершенно бесспорно, что «в прозе Набокова действительно много словесной игры, или, как он сам говорил, ворожбы. Не уве-

ренному в себе читателю, воспитаннику русского классического реализма, порою кажется, что его водят за нос. Что ж, ему *правильно* кажется. Сложность набоковской прозы и состоит в том, что надо разобраться в намерениях автора, серьезных и несерьезных одновременно» [Ерофеев 1990: 6]. И хотя чуть выше тот же автор говорит: «Его [Набокова] презрение к искусству как социополитическому феномену было безгранично. Ему претил безумный, с его точки зрения, *гиперморализм* русской литературной традиции» [Ерофеев 1990: 4], многие фрагменты набоковского метаромана заставляют в этом усомниться.

Недаром ведь один из биографов Набокова предостерегает читателя: «Не верьте лукавому автору» [Носик 1995: 45]. Возможно, к самому́ писателю также в какой-то мере относятся оценки, данные вымышленным рецензентом тону и стилю книги такого же «искателя словесных приключений» Годунова-Чердынцева: «…Строй мыслей Чернышевского приобретает значительность, далеко превышающую смысл тех беспочвенных, ничем не связанных с эпохой шестидесятых годов доводов, которыми орудует господин Годунов-Чердынцев, ядовито высмеивая своего героя. Но издевается он, впрочем, не только над героем, – издевается он и над читателем. Как иначе квалифицировать то, что среди известных авторитетов приводится авторитет несуществующий, к которому автор будто апеллирует?» [Набоков 1990, 3: 273–274] (что делает и сам Набоков, ссылаясь на апокрифических авторов).

Хотя ср. парадокс (выраженный устами Кончеева, столь почитаемого Фёдором Константиновичем, в очередной воображаемой Годуновым-Чердынцевым беседе): «Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени» [Набоков 1990, 3: 305].

Напомним прежде всего о том, что миф о своей сугубой аполитичности В. Набоков формировал и культивировал для читательской аудитории настойчиво и последовательно, то вкладывая соответствующие декларации в речь близких ему персонажей, то манифестируя такие суждения в собственных высказываниях (авторских репликах, комментариях и проч.).

Так, «Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать

ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности» [Набоков 1990, 2: 253].

«Он [Фёдор Константинович], для которого так называемая политика (всё это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений ни в чём не повинных городков в международные договоры) не значило ничего…» [Набоков 1990, 3: 33].

«А в общем – пускай. Всё пройдет и забудется, – и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках (если только не будет моего мира, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей, – впрочем, если не хотите, не надо, мне [Фёдору Константиновичу] решительно всё равно)» [Набоков 1990, 3: 323].

Ср. с вышецитированным: «Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-либо заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми методы борьбы в свете последних событий. До блага человечества мне дела нет, и я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны» [Набоков 1990, 4: 385]. «Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Из моего английского камина заполыхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира» [Набоков 1990, 4: 277] – и: «Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются» или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться» [Набоков 1990, 4: 193].

Впрочем, сам Набоков весьма откровенен (и безапелляционен) в оценках того, что происходит в Советском Союзе, и в инвективах

против тех, по чьей вине это происходит. Эти эпизоды метаромана можно условно подразделить на две основные группы: характеристики вождей-правителей и описания всецело подвластных им «народных масс».

Очевидно, что в эпизодах первой группы ведущее место отдано Ленину («самолюбивому неудачнику» [Набоков 1990, 3: 323], который, как вскользь упомянуто, «кое-как скончался» [Там же: 46]). Стиль его произведений способен вызвать комический эффект как единственно возможный: «Отсюда [от Белинского и Михайловского] был прямой переход к современному боевому лексикону.., к слогу Ленина, употреблявшему слова «сей субъект» отнюдь не в юридическом смысле, а «сей джентльмен» отнюдь не применительно к англичанину, и достигшему в полемическом пылу в ы с ш е г о п р е д е л а с м е ш н о г о : «…Здесь нет фигового листочка… и идеалист прямо протягивает руку агностику» [Набоков 1990, 3: 181], или: «…Ленин опровергал теорию, что «земля есть сочетание человеческих ощущений» тем, что «земля существовала до человека», а к его [Фейербаха] т о р г о в о м у о б ъ я в л е н и ю : «мы теперь превращаем кантовскую непознаваемую вещь в себе в вещь для себя посредством органической химии» с е р ь е з н о д о б а в л я л , что «раз существовал ализарин в каменном угле без нашего ведома, то существуют вещи независимо от нашего познания» [Набоков 1990, 3: 218].

Еще более жесткие характеристики Ленина выдает «аполитичный» Набоков от своего имени уже в мемуарах. «Говорят [!], что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон [будущий английский «крупный ученый»] и его друзья знали о России, пришло на Запад из коммунистических м у т н ы х источников […]. Я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает п р е з р е н н ы й и м е р з о с т н ы й т е р р о р , установленный Лениным, пытки и расстрелы, и всякую другую п о л о у м н у ю р а с п р а в у … […]. Если бы он [Бомстон] и другие иностранные идеалисты были русскими в России, их бы ленинский режим истребил немедленно […]. Гром «чисток», который ударил в «старых

большевиков».., потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки» [Набоков 1990, 4: 275–276; 282].

Впрочем, Набоков не ограничивается описанием Ленина как политика; очевидно, для полноты портрета (карикатуры?) мемуарист характеризует и вкусы и пристрастия советского вождя в области искусства: «Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причём под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей… наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе. …Я доказывал ему [Бомстону], что <…> на самом деле, чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных» [Набоков 1990, 4: 276].

Таким образом, Набоков, как и один из духовно близких ему персонажей, вроде бы аполитичный «скромный учитель рисования в провинциальной гимназии» [Набоков 1990, 4: 393], может сказать: «Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно как на ладони смешное … Я вижу, что, стараясь изобразить его [«тирана»] страшным, я лишь сделал его смешным, – и казнил его именно этим – старым испытанным способом» [Набоков 1990, 4: 404–405].

Результатом деятельности вождей («тиранов») становится возникновение нового государства и формирование нового типа людей – точнее, наверное, некоей человеческой массы. Наиболее гротескно эти достижения описываются в изображении фантастической и фантасмагорической Зоорландии – страны всеобщего абсолютизированного равенства, или, говоря иначе, универсального и поголовного нивелирования (см.: [Набоков 1990, 2: 256]). Но и повторяющиеся из фрагмента во фрагмент метаромана упоминания о Стране Советов, реальной, или, строго говоря, представляемой Набоковым из его эмигрантского далека, тоже не отличаются бесстрастностью и беспристрастностью.

Метафорическая характеристика повседневного быта во время начала революционных событий и их впечатляющего итога дается в размышлениях Годунова-Чердынцева: «На вокзале была мерзкая, животная суета: это было время, когда щедрой рукой сеялись семена цветка счастья, солнца, свободы. Он теперь подрос. Россия заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок» [Набоков 1990, 3: 138]. Следующие оценки весьма напоминают формулировку писателя, одного из участников диалогов «На пиру богов» С. Н. Булгакова: «…Обратите внимание, как изменился даже внешний вид солдата, – он стал каким-то звероподобным, страшным, особенно матрос. Признаюсь вам, что «товарищи» кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян – homo socialisticus» [Булгаков 1991: 80]. Ср.: «…Коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов» [Набоков 1990, 3: 344] – и: «…Положение, когда вокруг всё время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре» [Набоков 1990, 4: 269] – или: «Я кстати горжусь, что уже тогда… разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне…: тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора» [Набоков 1990, 4: 276–277].

Сходны и описания официальных советских празднеств, даваемые разными, но симпатичными Набокову персонажами в различных фрагментах метаромана. Ср.: «Вдруг он [Фёдор] представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий, – маленький ярмарочный писк грошовой истины. Вот оно, вечное, всё более чудовищное

в своем радушии, повторение Ходынки*, с гостинцами – во́ какими (гораздо больше сперва предлагавшихся) и прекрасно организованным увозом трупов…» [Набоков 1990, 3: 322–323] – и: «За окном разгорался праздник […] …Над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия, вьющиеся через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразно и красиво оформленные лозунги, простая, бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюг и национальные костюмы здоровенных девок…» [Набоков 1990, 4: 403].

Разные черты советского бытия неизменно оцениваются в метаромане как неудачные в силу своей примитивности и даже мертвенности. Например: «Побывали в кинематографе, где давалась русская фильма, причём с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, – а фабрикант всё курил сигару» [Набоков 1990, 3: 81]. «Когда же она [Лужина] обращалась к газетам потусторонним, советским, то уже скуке не было границ. От них веяло холодом гробовой бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской, и чем-то они ей напоминали образ маленького чиновника с мёртвым лицом в одном учреждении <…> … Ей было неясно, почему именно его образ мерещился ей, как только она принималась за московскую газету. Скука и жалость были, что ли, такого же свойства…» [Набоков 1990, 2: 132].

Отсутствуют признаки творческой, живой мысли и в деятельности советских шахматистов. «Он [Фёдор Константинович] углубился в рассмотрение задач [в советском шахматном журнале «8 х 8»]… Добросовестные, ученические упражнения молодых советских композиторов были не столько «задачи», сколько «задания»: в них громоздко трактовалась та или иная

* «Ходынка» – катастрофа на Ходынском поле (в сев.-зап. части Москвы, в начале совр. Ленингр. проспекта) 18.05.1896 во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II. Из-за халатности властей произошла давка: по офиц. данным, погибло 1389 чел., изувечено 1300» [СЭС 1983: 1448].

механическая тема… без всякой поэзии; это были шахматные лубки, не более, и подталкивающие друг друга фигуры делали свое неуклюжее дело с пролетарской серьёзностью, мирясь с побочными решениями в вялых вариантах и нагромождением милицейских пешек <…> …Зато в одном из советских произведений… нашелся прелестный пример того, как можно дать маху: у черных было девять [разбивка В. Набокова. – А. В.] пешек, – девятую, по-видимому, добавили в последнюю минуту, чтобы заделать непредвиденную брешь <…>» [Набоков 1990, 3: 156–157]. Конечно, Набоков, который «в продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе <…> посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач» [Набоков 1990, 4: 289], и в своих мемуарах также не мог еще раз не высказаться по этому поводу, насчет малоопытных и неразвитых советских шахматных композиторов, причём почти в тех же выражениях, что и один из его любимых собственных персонажей: «…В свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий» [Набоков 1990, 4: 289–290].

Так (вроде бы дробно-эпизодическое, но на самом деле разноаспектное) описание советской действительности, хотя и знакомой Набокову и большинству его персонажей лишь заочно, логично может быть увенчано констатацией, сформулированной Годуновым-Чердынцевым: «…Отчего это в России всё сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться?» [Набоков 1990, 3: 157]. И, хотя этой констатации предшествует острая эмоциональная оценка («вдруг ему стало обидно» [Там же]), последняя вовсе не снижает и не приглушает обличительного пафоса набоковских инвектив.

Таким образом, миф о некоей «аполитичности» В. В. Набокова – всего лишь миф, правда, старательно (несмотря на вышеупомянутые прямые инвективы) выстраиваемый как самим писателем, так и позднейшими набоковедами. Нередко они (впрочем, следуя логике самого объекта изучения), считая набоковские русскоязычные тексты кристально аполитичными, склонны делать нечто вроде

исключения для а н т и советских суждений и оценок великого стилиста: дескать, **это** всё – в силу врожденного благородства и стремления соблюдать правила хорошего тона, как положено всякому порядочному человеку. Например: «Хотя Набоков и утверждал, что писатель не имеет социальных обязательств, но вместе с тем был бескомпромиссен по отношению к тоталитарному режиму в СССР» [Ерофеев 1990: 5] – то есть **это** отношение – к а к б ы не в счет.

Снобистское кокетство В. Набокова своей якобы аполитичностью довольно-таки сродни распространенному россиянскому увлечению «деидеологизацией» («*деидеологизация* – устранение из различных сфер общественной жизни влияния идеологии (о б ы ч н о к о м м у н и с т и ч е с к о й)» [Толковый словарь 2001: 202]), а точнее, конечно, – **ре**идеологизацией.

Поэтому же вряд ли можно абсолютно безо всякой коррекции воспринимать как свидетельство лишь духовного ущерба, понесенного писателем от злокозненных большевиков и прочих «человекоподобных микроцефалов», следующее объяснение «лукавого автора»: «В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу <…> я позволил себе небольшое отступление <…>: “Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой н и к а к не с в я з а н о с и м у щ е с т в е н н ы м и в о п р о с а м и. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству”» [Набоков 1990, 4: 169–170]. Не была ли всё-таки эта светлая печаль расцвечена и другими обстоятельствами, например: «Он [В. И. Рукавишников, дядя В. В. Набокова] тогда [в 1914 г.] в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское имение Рождествено…» [Набоков 1990, 4: 169].

Тему романа, составляющего IV главу «Дара», подсказывает Годунову-Чердынцеву другой персонаж – Александр Яковлевич Чернышевский: «Написали бы вы, в виде biographie romancée [фр. «романизированная биография»], книжечку о нашем великом шестидесятнике <…>, не морщитесь <…>, он был сущий подвижник»

[Набоков 1990, 3: 37]*. И лишь года через три Годунов-Чердынцев, случайно увидев в советском шахматном журнальчике статейку «Чернышевский и шахматы», а также «ученические упражнения молодых советских композиторов» [Набоков 1990, 3: 153, 157], принимает решение такой роман написать [Набоков 1990, 3: 174]: «…вдруг ему стало обидно – отчего это в России всё сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? И «что делать» теперь?» [Набоков 1990, 3: 157]. Причём, по мере знакомства с сочинениями Н. Г. Чернышевского, Годунова-Чердынцева «так поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России» [Набоков 1990, 3: 175], что он решил написать роман «как бы на самом краю пародии. А чтобы с другого края была пропасть серьёзного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее» [Набоков 1990, 3: 180] (то есть – опять же некоторая игра сакральным / профанным).

Собственно говоря, рожденный воображением Набокова начинающий автор во многом соблюдает критерии, гораздо позднéе предложенные М. М. Бахтиным: «<…> Вообще чистой формы биографического романа, в сущности, никогда не существовало. <…> Единственное существенное изменение самого героя, которое знает биографический роман <…> – это кризис и перерождение героя (биографические жития святых кризисного типа)…» [Бахтин 1986: 206–207].

Лексико-фразеологические единицы, с помощью которых описываются и квалифицируются личность Н. Г. Чернышевского, его деятельность и эпоха, в которую она протекала, по существу, напрямую связаны прежде всего с религиозной, т. е. исконно сакральной сферой – иначе говоря, призваны передать отношение с а м о г о

* Ср.: «*подвижникъ* – совершитель великого и трудного дела; подвижник» [Сл. Срезневского 1958, 2: 1033]; «подвижник – 1) тот, кто из религиозных побуждений подвергал себя лишениям. Христианские подвижники; 2) высок. Тот, кто самоотверженно борется за достижение высоких целей на каком-л. трудном поприще. *Подвижник революционной борьбы»* [МАС$_2$ 1983, 3: 178]. Собственно, можно было бы сказать, что это слово у ж é выступает как своеобразный камертон IV главы романа «Дар» (см. выше: [Набоков 1990, 3: 37]).

Чернышевского, его читателей и почитателей к столь близким им революционным идеям и их носителям.

Ряд примеров: «…В этой эпохе есть нечто *святое*… Родились лучшие *заветы* русского освободительного движения» [Набоков 1990, 3: 178]. «Вскользь поясняет Чернышевский, но как полно было *священного* значения это в с к о л ь з ь [разрядка В. В. Набокова. – А. В.] для читателя «Современника» [Набоков 1990, 3: 230]. – «Вместо ожидаемых насмешек [т. е. восприятия литературного артефакта как профанного. – А. В.] сразу создалась атмосфера всеобщего *благочестивого поклонения*. Его читали, как читают *богослужебные книги*» [т. е. как сакральные тексты. – А. В.]*. [Набоков 1990, 3: 248]. – «Появилась новая *ересь*: нигилизм. “Безобразное и безнравственное учение, отвергающее всё, чего нельзя ощупать”, – содрогаясь, толкует Даль это странное слово (в котором “ничто” как бы соответствует “материи”)» [Набоков 1990, 3: 223] (в данном примере отклонение от традиционной религии – «ересь» – прямо служит обозначением системы идеолого-политических взглядов).

Но это лишь фон, очевидно призванный акцентировать многократные ассоциации между образом Иисуса Христа и личностью Н. Г. Чернышевского. Ср.: «…Сам Николай Гаврилович <…> ужасные *мучения* <…> переносил *ради идеи, ради человечества*…» [Набоков 1990, 3: 178]. – «[Чернышевский в детстве] не научился <…> мастерить сетки для ловли малявок: ячейки получались неровные, нитки путались, – уловлять рыбу труднее, чем *души человеческие*» [Набоков 1990, 3: 192] (ср.: «Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас *ловцами человеков*. И они тотчас, оставивши сети, последовали за Ним» [Мф. 4: 18–20]). – «Биографы размечают *евангельскими вехами* его [Чернышевского] *тернистый путь*. <…> *Страсти* Чернышевского начались, когда он достиг *Христова возраста*. Вот, в роли *Иуды* – Всеволод Костомаров; вот, в роли *Петра* – знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником («имеется в виду Н. А. Некрасов, отговаривавший М. А. Антоновича от свидания с арестованным

* Ср.: «Самое неосновательное суждение получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще *печатный лист кажется святым*» [Пушкин 1978, 7: 138].

Чернышевским» [Дарк 1990: 467]). – «Толстый Герцен, в Лондоне сидючи, именует позорный столб “товарищем *Креста*”. И в некрасовском стихотворении – опять о *Распятии*, о том, что Чернышевский послан был “рабам (царям) земли напомнить о *Христе*”. Наконец, когда он с о в с е м *умер* и тело его обмывали, одному из его близких эта худоба, эта крутизна ребер, темная бледность кожи и длинные пальцы ног смутно напомнили “Снятие со Креста”, Рембрандта, что ли*. Но и на этом тема не кончается: есть еще *посмертное надругание*, без коего никакая *святая жизнь* несовершенна <…>. Серебряный венок с надписью на ленте “*Апостолу* правды от высших учебных заведений города Харькова” был <…> выкраден из железной *часовни*, причём беспечный *святотатец* <…> нацарапал осколком на раме имя свое и дату» [Набоков 1990, 3: 193–194].

Параллелизм жизненных событий Христа и Н. Г. Чернышевского обнаруживается и в ряде других обстоятельств.

Так, в Евангелии: «Фарисеи говорили: он изгоняет бесов *силою князя бесовского*» [Матф. 9: 34]. – «Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он *изгоняет бесов* не иначе, как *силою веельзевула, князя бесовского*» [Матф. 12: 24]. – «Ибо таковые *лжеапостолы, лукавые деятели*, принимают вид *Апостолов Христовых*; И не удивительно: потому что сам *сатана* принимает вид *Ангела света*» [2 Кор. 11: 13–14].

---

* О внешнем сходстве тех же двух персонажей см. также: Чернышевский «вид <…> имел хилый, глаза потухли, и от отроческой красоты ничего не осталось <…>; сам же не сомневался в своей непривлекательности» [Набоков 1990, 3: 197]. – «Климент Александрийский <…> говоря о том, что Христос, вочеловечившись, принял образ «невзрачный» и лишенный телесной красоты…» [Лотман 1996: 55].

Кроме того, внешнее уподобление Чернышевского христианскому аскету раскрывается в нарочито подчеркнутом параллелизме. «Какой он был бедный, какой грязный и безалаберный, как далек от соблазнов роскоши… Внимание! Это не столько пролетарское целомудрие, сколько естественное пренебрежение, с которым *подвижник* относится к покусыванию несменяемой *власяницы* и оседлых блох. Однако же и *власяницу* приходится порою чинить» [Набоков 1990, 3: 202]; далее следует детализированно-комичное описание того, как «изобретательный Николай Гаврилович» замышляет штопание своих старых панталон: «Ниток черных не оказалось, поэтому он какие нашлись принялся макать в чернила» и т. д. [Там же].

Ср.: «Недоброжелатели *мистического* толка говорили о «*прелести*»* Чернышевского, о его физическом сходстве с *бесом*» [Набоков 1990, 3: 225]. Также: «…Вера [Достоевского] в *адское могущество* Николая Гавриловича <…>. Агенты, тоже не без *мистического ужаса*, доносили, что «слышался смех из окна Чернышевского». Полиция наделяла его *дьявольской изворотливостью*…» [Набоков 1990, 3: 239]. – «*Чары* Чернышевского слабели…» [Набоков 1990, 3: 253].

По евангельской легенде, «собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор у первосвященника <…> и положили в совете *взять Иисуса хитростью* и убить» [Мф. 26: 3–4]. И далее: «Первосвященники и старейшины и весь синедрион *искали лжесвидетельства* против Иисуса, чтобы предать его смерти» [Мф. 26: 59].

В отношении же Чернышевского описывается «сложная работа, которую властям пришлось проделать для того, чтобы с о з д а т ь у л и к и , которые должны были быть, но которых не было», ибо получилось курьезнейшее положение: «Ю р и д и ч е с к и н е з а ч т о б ы л о з а ц е п и т ь с я , и приходилось ставить леса, дабы закону влезть и работать <…>. Дело, затеянное против Чернышевского, было п р и з р а к о м ; но это был призрак д е й с т в и т е л ь н о й вины <…>» [Набоков 1990, 3: 242].

В Евангелии: «<…> Наконец пришли д в а л ж е с в и д е т е л я и сказали: «Он говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня создать его”» [Мф. 26: 60–61].

А «к Чернышевскому власти п о д о б р а л и отставного уланского корнета Владислава Дмитриевича Костомарова <…>. Для косвенного подтверждения того, что воззвание “К барским крестьянам” написано Чернышевским, Костомарову было задано, во-первых, изготовить записочку, будто бы от Чернышевского, содержащую просьбу изменить одно слово в этом воззвании; а во-вторых – письмо <…>, в котором находилось бы доказательство деятельного участия Чер-

* «*Прелесть* – 1. Соблазн, греховное искушение, прельщение, обман <…>. 2. Тот или то, что может прельстить, соблазнить <…>. 4. Ложь, выдаваемая за истину и отвращающая от истинной веры <…>. 6. Козни, обман, коварство <…>. 7. Обманчивая привлекательность, очарование, обольстительность» [СлРЯ XI–XVII вв., 18: 259–260]).

нышевского в революционном движении. То и другое Костомаров и с о с т р я п а л » [Набоков 1990, 3: 242–243], а «мещанин Яковлев, его [Чернышевского] бывший переписчик <…>, дал важное показание: <…> он б у д т о б ы слышал, как Николай Гаврилович и Владислав Дмитриевич <…> говорили о поклоне от их доброжелателей барским крестьянам (трудно разобраться в этой с м е с и п р а в д ы и п о д с к а з к и)» [Набоков 1990, 3: 250].

В евангельском повествовании «первосвященник сказал Ему: «заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему <…>: «отныне узрите Сына Человеческого…». Тогда первосвященник <…> сказал: «Он богохульствует! Н а ч т о е щ е н а м с в и д е т е л е й ?» <…>. Они же сказали в ответ: повинен смерти» [Мф. 26: 63–66].

Относительно же Чернышевского «дело подходило к концу <…>. Что же касается воззвания «К барским крестьянам».., тут уже созрел плод на шпалерах п о д л о г о в и п о д к у п о в : полное нравственное убеждение сенаторов, что Чернышевский воззвание сочинил, обращалось в юридическое доказательство письмом к «Алексею Николаевичу» <…>. Так в лице Чернышевского был осужден его – очень похожий – п р и з р а к : в ы м ы ш л е н н у ю в и н у ч у д н о п о д г р и м и р о в а л и п о д н а с т о я щ у ю » [Набоков 1990, 3: 250].

«Распявшие же Его <…> поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: С е й е с т ь И и с у с , Ц а р ь И у д е й с к и й » [Мф. 27: 35–37]. – «Близко стоявшие видели на его [Чернышевского] груди продолговатую дощечку с надписью белой краской: «г о с у д а р с т в е н н ы й п р е с т у п » (последний слог не вышел)» [Набоков 1990, 3: 251].

Если «Иисус же, опять возопив громким голосом, и с п у с т и л д у х <…>. И взяв Тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе» [Мф. 27: 50, 59–60], а затем «О н в о с к р е с и з м е р т в ы х » [Мф. 28: 7], то «Чернышевского поспешно высвободили из цепей и м е р т в о е т е л о повезли прочь. Нет, – описка: у в ы , о н б ы л ж и в <…>! “Увы, жив”, – воскликнули мы, – ибо как не предпочесть казнь смертную <…> тем похоронам, которые спустя двадцать пять бессмысленных лет выпали на долю Чернышевского. Л а п а з а б в е н и я стала медленно

забирать его ж и в о й о б р а з , как только он был увезен в Сибирь» [Набоков 1990, 3: 251–252].

Пусть автор-рассказчик (он же очевидно – В. Набоков) беглоиронически, почти вскользь формирует тему «ангельской ясности» («Х р и с т о с у м е р з а ч е л о в е ч е с т в о , и б о л ю б и л ч е л о в е ч е с т в о , к о т о р о е я [Чернышевский] т о ж е л ю б л ю , з а к о т о р о е у м р у т о ж е» [Набоков 1990, 3: 193]), она имеет для главы IV «Дара» ключевое значение, выступая в роли некоего лейтмотива – что подчеркивается фразой: «С т р а с т и Чернышевского начались, когда он достиг Х р и с т о в а в о з р а с т а» [Набоков 1990, 3: 193].

Да и последние слова Чернышевского в «Даре» определенно соотносятся с предсмертным восклицанием Христа: «Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге» [Набоков 1990, 3: 268]. – «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! Лама́ савахфани́? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» [Мф. 27: 46]. Однако далеко не во всех отношениях Чернышевский может быть уподоблен Христу или как-то сближен с ним.

Так, энтузиастически пафосный призыв, обращенный к Чернышевскому его «лучшим другом»: «Будь вторым Спасителем» [Набоков 1990, 3: 193], по природе своей, скорее, кощунствен. Ведь известно, что Христос как Спаситель абсолютно уникален; хотя бы: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и н е т н и в к о м и н о м с п а с е н и я ; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» [Деян. 4: 11–12]. Суммируя множество ранее высказанных суждений, позднейший комментатор говорит: «Боговоплощение» понимается в христианстве как единократное и неповторимое, не допускающее <…> множественности «спасителей» и «наставников человечества» [Аверинцев 1987а: 498]. Более того, стать неким «эрзацем» – субститутом Христа, причём заведомо и исключительно зловредным, способен лишь Антихрист – «космический узурпатор и самозванец, носящий маску Христа, которого отрицает, он стремится занять место Христа, быть за него принятым» [Аверинцев 1987б: 85].

При этом «недаром молодой Чернышевский записал в дневнике <…>: «…а что, если мы в самом деле живем во времена Цицерона

и Цезаря <…> и я в л я е т с я н о в ы й М е с с и я , и н о в а я р е л и г и я , и новый мир?..» [Набоков 1990, 3: 222]; опять же очевидно подразумевается: под «новой религией» – некое общеспасительное (но уже вряд ли в сугубо духовном смысле) сакрализуемое революционное учение, а под «новым Мессией» – его провозвестник и проповедник. А такие повторы и дублеры заведомо исключены с точки зрения канонической традиции.

Кроме того, Чернышевский – сугубый материалист, избирающий рационализм в качестве символа веры: «… "Святой Дух" надобно заменить "Здравым Смыслом". Ведь бедность порождает порок; ведь Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж п о т о м п р о п о в е д о в а т ь нравственность. Х р и с т о с в т о р о й п р е ж д е в с е г о п о к о н ч и т с н у ж д о й в е щ е с т в е н н о й …» [Набоков 1990, 3: 193]. Ср. : «<…> Вся эта тяга к стиху, созданному п о о б р а з у и п о д о б и ю определенных социально-экономических богов, была в Чернышевском бессознательна» [Набоков 1990, 3: 217].

Ср. также библейские аллюзии и церковнославянизмы, обильно рассеянные по тексту романа Годунова-Чердынцева.

«<…> И вот, с особой яркой театральной яркостью *восставших из мертвых*...» [Набоков 1990, 3: 191]. «Биографы размечают *евангельскими вехами* его [Чернышевского] *тернистый путь*...» [Набоков 1990, 3: 193]. «<…> Сердечных волнений не объяснить ограниченными средствами топорного материализма, которым он уже безнадежно *прельстился*» [Набоков 1990, 3: 199]. «<…> повествует он [Чернышевский] своим позднейшим *ветхозаветно*-медленным слогом» [Набоков 1990, 3: 204]. «<…> Он [Чернышевский] читал ей [Ольге Сократовне] <…> стихи, как *псалтырь*» [Набоков 1990, 3: 206]. «<…> В ш у т о в с т в е его [Чернышевского] журнальных приемов усматривали *бесовское* проникновение вредоносных идей» [Набоков 1990, 3: 208]. «По праздникам он [Чернышевский] озорничал в *Божием храме*, смеша невесту, – но напрасно марксистский комментатор видит в этом «здоровую *кощунственность*» <…>. Сын священника, Николай чувствовал себя в церкви, как дома» [Набоков 1990, 3: 206–207]. «<…> Тяга [Чернышевского] к стиху, созданному *по образу и подобию* определенных социально-экономических богов...» [Набоков 1990, 3: 217]. «Лицам духовного звания было *ви-*

дение: по Невскому шагает громадный Чернышевский...» [Набоков 1990, 3: 223]. «Первый [Помяловский] <…> кое-что *проповедовал* и своё: идею общинного литературного труда...» [Набоков 1990, 3: 237]. «А вы разве тоже уходите и не подождете меня?» – обратился Чернышевский к *апостолу* [Антоновичу, который был «член “Земли и Воли”, не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен»]» [Набоков 1990, 3: 241]. «Его [Чернышевского] имя *всуе* упоминалось на политических судах» [Набоков 1990, 3: 255]. «Он-то [младший сын Чернышевского Михаил] <…> сыном был добрым, – ибо в то время, как его *блудный брат* (получается нравоучительная картинка) выпускал <…> свои “Рассказы-фантазии” и сборник никчемных стихов, он *набожно* начинал свое монументальное издание произведений Николая Гавриловича...» [Набоков 1990, 3: 264–265].

В романе, созданном персонажем В. Набокова (то есть – прежде всего самим Набоковым), на лексико-фразеологическом уровне наблюдаются сложные переплетения религиозных и политических мотивов. Конечно, роман этот написан «как бы на самом краю пародии» – и притом «одним безостановочным ходом мысли» [Набоков 1990, 3: 180] (а потому такие языковые единицы нередко затруднительно структурировать и систематизировать), – однако несомненно, что его своеобразный пафос строится именно на основании ощутимо саркастического травестирования. Вербальные символы традиционно сакрального, православно-христианского свойства используются для описания реалий и ситуаций, совершенно иных по своей природе, – идеолого-политических. Понятно, что в статусе сакральных они и воспринимаются главным героем IV главы, комично, а иногда иронически представляемым рассказчиком в роли самонадеянного новейшего подвижника и мученика. Эффект его высокомерного осмеяния оказывается причиной не только появления в тексте романа в основном отрицательных отзывов, мастерски стилизованных Набоковым, но и отказа публиковать само произведение со стороны вроде бы симпатизировавших автору общественных деятелей (небезынтересно, что и сама IV глава в реальной жизни была отвергнута эмигрантским журналом; см. [Ерофеев] в [Набоков 1990, 1: 6]).

Упомянутый эффект строится и на том, что автор-рассказчик к а к б ы всерьез воспринимает и воспроизводит трепетное отношение Чернышевского к воодушевлявшим и вдохновлявшим его идеям*. Конечно же, именно тонкая игра сакральным / профанным придает рассмотренному тексту В. В. Набокова столь замечательную художественно-образную убедительность (кстати, разрушая миф об «аполитичности» писателя, старательно создававшийся им самим).

2. Вербализация аксиологических ориентиров в текстах А. Платонова

По-видимому, при переориентации (почти всеохватывающей) духовных ценностей общества в первые советские годы традиционная религия под воздействием различных факторов утрачивала свои главенствующие позиции. Высвобождавшаяся вследствие этого весьма просторная ниша в общественном сознании (с точки зрения семиотики, предназначенная для «сакрального») заполнялась информацией совершенно иного свойства – политико-идеологической.

По мере политизации социума такая информация и связанные с ней символы, не в последнюю очередь – вербальные, сами превратились (или, может быть, точнее: были превращены) в сакральные ценности: теперь уже сквозь их призму должны были рассматриваться достоинства и недостатки личности, ее лояльность или отступничество и т. п.

Сакрализуются и сами имена *вождей и учителей*, которым совершенно мистически приписывается даже бессмертие; ср. в «шутейном рассказе» начала 1920-х гг.: «Меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах пролетариата» [Шишков 1961г: 508]. О том, что для этого времени

* Объективности ради следует заметить, что, высокомерно иронизируя на счёт своего персонажа, придуманный В. Набоковым автор видит в герое биографического романа и качества, несомненно вызывающие уважение: «...Он понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были <…> действительными г е р о я м и в своей борьбе <…>, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, сто́или тем самым меньше этих ж е л е з н ы х з а б и я к» [Набоков 1990, 3: 183].

такая квазимистическая формулировка вовсе не случайна, свидетельствует пример из рассказа М. Булгакова 1923 г. : «А где теперь живет товарищ Маркс?» Молодой человек <…> кричит по поводу Маркса: «Он умер!» А председатель [месткома] рявкнул: «Нет! Он живет в сердцах пролетариата» [Булгаков 1989, 2и: 474–475]. Или: «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой» (Л. Ошанин, 1955 (цит. по [Душенко 2006: 371]); ранее также: «Ленин и теперь живее всех живых…» (В. Маяковский, 1924); «Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить» (В. Маяковский, 1924); «Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди» (В. Маяковский, 1923) (цит. по [Душенко 2006: 299; 303; 304]) и мн. др.

Совершенно справедливо отмечено, что уже на заре советской власти «прежде всего для успешного формирования пропагандистского этоса потребовалось изъятие из культуры религии и церкви. Декретом церковь была отделена от государства. В результате этого гомилетика оказалась в ведении партии. В качестве инструмента формирования этоса был создан Агитпроп – отдел агитации и пропаганды при ЦК и местных комитетах партии, ведавший устройством этоса во всех областях культуры. В определенном смысле он взял на себя функции церкви, готовя риторов (проповедников) [т. е. культ- и политработников – А. В.] и просвещая массы (паству)» [Романенко 2003: 111] (подробнее об эволюциях семантики слов *просвещать*, *просвещение*, *просветитель* см. [Васильев 1994: 96–114]).

Ср. метафорически выраженное суждение Е. И. Замятина 1921 г.: «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова» (цит. по [Шестаков 1990: 18]).

Иногда полагают также, что «заменившая христианскую систему ценностей система ценностей социалистических, вобрав в себя значительную часть библейской догматики, во многом соответствовала ключевым концептам русской культуры, выражая мировоззрение крестьянской общины. Традиционная советская система ценностей уклонялась в сторону коллективистских ценностей… Чувство коллективизма, труд на благо общества, патриотизм, взаимовыручка, сострадание, совесть, равнодушие к материальным благам – таки-

ми были качества, суть базовые ценности настоящего человека» [Гусар 2008: 31–32]. Таким образом, существовала возможность для пропагандистски исключительно важного и эффективного маневра: замещения существовавшей многие века аксиологической модели (основанной на собственно религиозном фундаменте) другой, в каких-то параметрах схожей с предыдущей, но базирующейся уже на сугубом атеизме.

Подобные феномены были запечатлены рядом писателей того времени и, пожалуй, наиболее ёмко и последовательно – в некоторых текстах А. П. Платонова.

Главная тема рассказа А. Платонова «Город Градов» (1926) – описание становления нового весьма могущественного социального слоя, советской бюрократии (впрочем, наверное, послесоветская бюрократия могущественна гораздо более, чем её предшественница).

В тексте этого произведения можно выделить микросюжеты, часть которых относится к прошлому губернского города: «…В редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий-ветхопещерник, Петр-женоненавистник и Прохор-византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежачих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые – все позабыли, до того суетливо жилось тогда» [Платонов 1977: 52–53]. Впрочем, еще и в описываемый автором период «в летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном…» [Платонов 1977: 54]; более того, «…в ближних к Градову деревнях <…> до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер. “Холуйство! – подумал Иван Федотыч <…>. – Только живая сила государства – служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие”» [Платонов 1977: 63]. Понятно, что «упорядочивают» не одно лишь подобное «мракобесие», то есть бытовые суеверия, не имеющие ничего общего с христианством (ср. выше-

упомянутое «двоеверие»), но также и всё то, что непосредственно связано (или могло быть связано) с православием. Скажем, «коммуна “Вера, Надежда, Любовь” была ликвидирована губернией за свое название…» [Платонов 1977: 56]. Или: «Вот, граждане, – сказал счетовод Смачнев, – я откровенно скажу, что одно у меня угощенье – водка!.. Ничто меня не берет – ни музыка, ни пение, ни вера, а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет… Ничего духовного я не признаю, то – буржуазный обман…» [Платонов 1977: 70].

При этом главный персонаж рассказа, заведующий подотделом губернского земельного управления (и, между прочим, вырабатывающий форму своей подписи на документах, причём «бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина» [Платонов 1977: 60]), сочиняет «Записки государственного человека». Здесь почти сразу же обнаруживается отношение чиновника к существующим идеолого-политическим реалиям: «Служение социалистическому отечеству – это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга <…>. Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Бумага <…> есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей… [довольно очевидная отсылка к библейскому «первородному греху». – А. В.]. Бумага приучает людей к социальной нравственности» [Платонов 1977: 60–61]. Кроме того, «бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей <…>… Как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой. Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона

и благородства» [Платонов 1977: 60; 62], то есть, по существу, выполняет функцию, привычную для традиционной религии.

Не менее откровенно (хотя и с некоторыми конспиративными предосторожностями) выражается на вечеринке, где присутствуют только проверенные бюрократы («посвященные»), заведующий административно-финансовым отделом Бормотов, чиновник с еще дореволюционным стажем: «Ваня! <…> Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется…Что такое губком? А я вам скажу: секретарь – это архиерей, а губком – епархия! <…> И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание – ко всенощной – попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будут, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я!..» [Платонов 1977: 71]. Иначе говоря, фактически ставится знак равенства между традиционной религией – и новой государственной идеологией, иерархически и ритуально подобной собственно религии – и столь же строго (если порой даже не более жестоко) карающей вольнодумцев, недисциплинированных членов социума, которых, оказывается, довольно легко можно низвести до ранга «язычников» – и лишить таким образом средств к существованию.

То же самое отношение к официальной идеологии обнаруживается в некоторых из ежедневных записей в календаре чиновника: «Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником» <…>. «Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком». «Суббота – открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы» [Платонов 1977: 77] – хотя здесь уже явно обнаруживаются элементы двоеверия персонажа, вынужденного внешне подчиняться компартийным идеологическим доминантам, но лишь для соблюдения установленных приличий (с

целью самозащиты: чтобы не попасть в число новейших «язычников»), а внутренне остающегося человеком верующим.

Однако, пожалуй, еще более интересными в тексте рассказа являются, в отличие от вышецитированных экспликаций, нередкие случаи контаминаций-обозначений «старого» и «нового», также дающие возможность судить и об их соотношениях в общественном сознании, и о главенствующей роли «нового». Например: «Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: всё будут поля <…>, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом <…>. На доме том висит вывеска: «Градовский губисполком» [Платонов 1977:52]. – «…Сидел комсомолец и проповедовал: “Религия должна караться по закону!.. Потому что религия есть злоупотребление природы”» [Платонов 1977: 57–58]. «Новые [папиросы]: пять копеек сорок штук, градовского производства. Под названием “Красный инок” <…>, инвалиды делают!» [Платонов 1977: 67]. – «Бормотов сказал, что в мире не только всё течет, но и всё останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не жалели, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола неплохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поёт бесполезные песни» [Платонов 1977: 70]. – «Любимые братья в революции! – начал раздобревший от горькой Рванников» [Платонов 1977: 72] (ср.: «братья во Христе», «братья по вере» и т. п.). «Иван Федотыч <…> задумался: “Не пора ли ему [«лишнему человеку»] отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром?”» [Платонов 1977: 79] и др.

Многие из вышеприведенных инверсивных аксиологических феноменов воплотились и в тексте романа А. Платонова «Чевенгур» (1927) – может быть, не столь сконцентрированно, как в «Городе

Градове», но и здесь коммунистическая идеология предстает как некая аналогия христианства.

Детали описания становятся еще более символичными. Если в Градове губисполком находится напротив собора (некое воплощенное противостояние), то в Чевенгуре органы новой власти и традиционной веры уже локально совмещены; причём не на городской площади, а на кладбище: «Копенкин медленно прочитал громадную малиновую вывеску над воротами кладбища: «Совет социального человечества Чевенгурского освобожденного района». Сам же Совет помещался в церкви. Копенкин проехал по кладбищенской дорожке к паперти храма. “Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз упокою вы”, – написано было дугой над входом в церковь. И слова те тронули Копенкина, хотя он помнил, чей это лозунг» [Платонов 1988б: 370] – то есть [Матф. 11, 28]. И поэтому, «выйдя наружу, Копенкин показал Чепурному надпись на храме-ревкоме: «Приидите ко мне все труждающиеся». «Перемажь по-советски!» <…>. – «А скажи, пожалуйста, чем тебе фраза не мила – целиком против капитализма говорит…» <…>. – «По-твоему, бог тебе единолично все массы успокоит? Это буржуазный подход <…>. Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимется!» [Платонов 1988б: 374] (причём «в тот день <…> революция была **еще** беднее веры и не могла покрыть икон красной мануфактурой: бог Саваоф, нарисованный под куполом, открыто глядел на амвон, где происходили заседания ревкома» [Платонов 1988б: 370–371]).

Упоминания о вроде бы усиленно отторгаемой, но тем не менее очевидной и неразрывной связи между религией, доминировавшей ранее, и новоутверждаемой господствующей идеологией присутствуют в тексте постоянно, лишь варьируясь внешне и выступая то в форме сравнений и сопоставлений, то в форме контаминаций.

Ср.: «Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. <…>. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье – это сложное изделие и не в нем цель человека, а в исторических законах. А другие говорили, что счастье

состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно. «Вот это так! – резонно удивлялся Захар Павлович. – Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплуатация <…>. У религии и то было торжество православия…» [Платонов 1988б: 236]. – «Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают… Попам тоже до рая добраться сатана мешал…» [Платонов 1988б: 348]. – «Хоть они и большевики и великомученики своей идеи…» [Платонов 1988б: 339]. – «Уполномоченный [волревкома, «бедняцкая карающая власть и сила»] серьезно обиделся. “Ты, товарищ, зря не говори! Я официальный приказ подписал вчерашний день: сегодня у нас сельский молебен в честь избавления от царизма. Народу мною дано своеволие на одни сутки – нынче что хошь делай: я хожу без противодействия, а революция отдыхает…”» [Платонов 1988б: 290]. – «Дванов поднимал эти предметы [«мертвые вещи»], выражал сожаление их гибели и забвенности и снова возвращал на прежние места, чтобы всё было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме» [Платонов 1988б: 540] и т. п.

Небезынтересно, что, как и в «Городе Градове», в «Чевенгуре» также присутствует колокольный звон, и тоже в качестве многозначительной детали, – правда, интерпретируемой повествователем несколько иначе: «Звонарь заиграл на колоколах чевенгурской церкви пасхальную заутреню, – “Интернационала” он сыграть не мог, хотя и был по роду пролетарием, а звонарем – лишь по одной из прошлых профессий <…>. Колокольная музыка, так же, как и воздух ночи, возбуждала чевенгурского человека отказаться от своего состояния и уйти вперед*: и так как человек имел вместо имущества и идеалов лишь пустое

* «…В кабинете он [предгубисполкома Шумилин] вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастии стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горящей души народа» [Платонов 1988б: 255] – так же непрестанно «движутся» в поисках коммунизма Дванов и Копенкин.

тело, то и песня колоколов звала их к тревоге и желанию, а не милости и миру…Любой мелодический звук, даже направленный в вышину безответных звезд, свободно превращался в напоминание о революции, в совесть за свое и классовое несбывшееся торжество… Ревком помещался в той же самой церкви, с которой звонили» [Платонов 1988б: 467–468].

Ассоциации идеолого-политических новаций с традиционной религией обретают четко выраженный и последовательный характер в развернутом описании восприятия одним из персонажей романа провозглашенного поворота в экономической политике советского государства (по всей вероятности, здесь имеется в виду не обозначенная буквально статья В. И. Ленина «О кооперации» 1923 г., см. [Ленин 1976д: 451-457]).

«Прочитав о кооперации, Алексей Алексеевич [Полюбезьев, который «до революции состоял членом правления кредитного товарищества и гласным городской думы»] подошел к иконе Николая Мирликийского и зажег лампаду своими ласковыми пшеничными руками. Отныне он нашел свое святое дело и чистый путь своей дальнейшей жизни <…>. Изучив статью о кооперации, Алексей Алексеевич прижался душой к Советской власти и принял её теплое народное добро. Перед ним открылась столбовая дорога святости, ведущая в божье государство житейского довольства и содружества. До этого Алексей Алексеевич лишь боялся социализма, а теперь, когда социализм назвался кооперацией [нагляднейший пример вербальной магии, когда смена номинации якобы радикально трансформирует сущность денотата. – А. В.], Алексей Алексеевич сердечно полюбил его <…>. Теперь он в социализме <…> почувствовал живую святость и желал Советской власти добра» [Платонов 1988б: 362; 366].

Вряд ли можно считать совершенно гротескной фигуру одного из персонажей, под очевидным влиянием новейшей пропаганды и вызванных ею сдвигов в массовом сознании возомнившего себя высшей из мыслимых сил, неким демиургом, способным по своему усмотрению творить реальный мир и управлять поведением людей как всецело зависящих от него: «Оказывается, этот человек считал

себя б о г о м и всё знал <…>. “Б о г, – сказал с е к р е т а р ь , – доведи товарища до Кузи Поганкина, скажи, что у Совета, – ихняя очередь!” Дванов пошел с б о г о м [ср.: «*с богом*! – (устар.) – разрешение начинать что-л; пожелание успеха при начале какого-л. дела» [МАС$_2$ 1, 1981: 101] <…>. Дванов не отпустил его: “Постой, что же ты теперь думаешь делать?” Б о г сумрачно глянул в деревенское пространство, где он был одиноким мужиком. “Вот объявлю в одну ночь отъём земли, тогда с испугу и п о в е р я т ”. Б о г д у х о в н о сосредоточился и молчал минуту. “А в другую ночь раздам обратно – и б о л ь ш е в и с т с к а я с л а в а по чину будет моей” [Платонов 1988б: 260–261].

Между прочим, здесь можно обнаружить некоторую параллель совсем с другим литературным персонажем: это «Однодум» Н. С. Лескова, постоянно носивший с собой «толстую книгу, имевшую на него неодолимое влияние. Книга эта была библия <…>. Он начитался её вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения <…>. И учредилось это дело, как указал Рыжов [будучи в должности квартального], и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных» [Лесков 1981: 190; 195], хотя, по мнению местного протопопа, то, что нестяжатель “Однодум” библии начитался – это «вредная фантазия»: ведь «на Руси все православные знают, что кто библию прочитал и “до Христа дочитался”, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся» [Лесков 1981: 197–198]. Но, конечно, персонажи А. Платонова коренным образом отличаются от «Однодума», ибо они – «с Лениным в башке и с наганом в руке». Да и действительно ли они читали труды вождя (как «Однодум» – Библию), а если и читали, то что́ именно поняли – вопросы очевидно риторические. Ведь, например, и Чепурный сочинений Карла Маркса «сроду не читал. Так, слышал кое-что на митингах – вот и агитирую. Да и н е н у ж н о ч и т а т ь : это <…> раньше люди читали да писали, а жить – ни черта не жили, всё для других людей путей искали» [Платонов 1988б: 367].

Конечно же, в тексте романа неоднократно возникает имя в максимальной степени сакрализуемого вождя – Ленина как вершителя

всех человеческих судеб и подателя всех земных благ, носителя истины в высшей инстанции: «Да я ж [уполномоченный волревкома] тут всё одно что Ленин!» [Платонов 1988б: 291]. – «Встретился нестарый мужик и сказал богу: «Здравствуй, Никанорыч, – тебе б пора Лениным быть, будя богом-то!» [Платонов 1988б: 260]. – «Ай дождались?» – тронулась чувством старуха [в кооперативной лавке, при наступлении нэпа]. «Дождались: Ленин взял, Ленин и дал» [Платонов 1988б: 336] (ср.: «Бог дал, бог и взял» [Даль 1984, 1: 24]). – «Не то у нас коммунизм исправен, не то нет! Либо мне к товарищу Ленину съездить, чтобы он мне лично всю правду сформулировал!» [Платонов 1988б: 372–373] и др.

И уже совершенно недвусмысленны оценки Ленина как равновеликого верховному божеству, творца всего сущего, в суждениях и переживаниях Полюбезьева, порожденных его знакомством со статьей о кооперации: «Он почувствовал Ленина, как своего умершего отца <…>. В детстве он долго не любил бога, страшась Саваофа, но когда мать ему сказала: “А куда же я, сынок, после смерти денусь?” – тогда Алёша полюбил и бога, чтобы он защищал после смерти его мать, потому что он признал бога заместителем отца» [Платонов 1988б: 362] – очень прозрачна отсылка к библейскому богу-отцу. Полюбезьев и «в социализме почувствовал живую святость» «благодаря объявленной Лениным кооперации» [Платонов 1988б: 366].

Один из ключевых евангельских сюжетов (точнее, пророчеств и предсказаний) – второе пришествие Христа, долженствующее ознаменоваться множеством чудесных событий, в том числе и прекращением поступательного хода времени: «времени уже не будет» [Откр. 10, 6] (ср.: «Чему ж конец-то?» – недоверчиво спрашивал Гопнер. «Да всей всемирной истории – на что она нам нужна?» [Платонов 1988б: 346]).

Для чевенгурского же революционного руководства миф о втором пришествии – это и символ окончательного истребления местных «буржуев» (то есть мирных обывателей), и мнимый, но достаточный повод к расправе над ними, и чрезвычайно удобная словесная маскировка своих действий, творимых как некое смутное подобие Страшного суда, – творимых, однако, не божественными силами, но вполне земными людьми.

«Он [Чепурный] знал и видел, насколько чевенгурскую буржуазию томит ожидание второго пришествия, и лично ничего не имел против него <…>. Комиссия говорила Чепурному про необходимость второго пришествия, но Чепурный тогда промолчал, а втайне решил оставить буржуазную мелочь, чтоб всемирной революции было чем заняться. А потом Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю. “Очисть мне город от гнетущего элемента!” – приказал Чепурный. “Можно”, – послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей [т. е. без какого-либо разделения на грешников и праведников, как в Апокалипсисе. – А. В.], с чем облегченно согласился Чепурный» [Платонов 1988б: 386].

Но обычный расстрел оказывается не соответствующим грандиозности и гипертрофируемой сакральности мероприятия; кроме того, его следует формально обосновать и документировать, к тому же таким образом, чтобы снять всякое подобие ответственности с инициаторов и исполнителей.

Поэтому признанный чевенгурский демагог «секретарь цика Прокофий Дванов не согласился подворно и явочным порядком истребить буржуазию. Он сказал, что это надо сделать более теоретично <…>. «На основе ихнего же предрассудка! <…> На основе второго пришествия! <…> Они его сами хотят, пускай и получают – мы будем не виноваты <…>. Совершенно необходимо объявить второе пришествие. И на его базе очистить город для пролетарской оседлости» [Платонов 1988б: 387].

В Откровении св. Иоанна Богослова неоднократно упоминаются священные книги, содержащие пророчества [Откр. 5,1 и далее], – Прокофий же составляет «бумагу», согласно которой «советская власть предоставляет буржуазии всё бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами на предмет организации там вечного блаженства» [Платонов 1988б: 388].

И если в Иерусалиме после Апокалипсиса «ночи не будет <…> и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их» [Откр. 22, 5], то в освобожденном от “буржуев” Чевенгуре (то есть после массового убийства ни в чем не повинных людей) «Пиюся встал с отдохнувшим сердцем и усердно

помылся и почистился, ради первого дня коммунизма. Лампа горела желтым загробным светом…» [Платонов 1988б: 414].

Последователи новейших ценностей отказываются одновременно не только от имен, данных им при крещении, но и от фамилий, доставшихся от родителей: это уже символизирует и отказ от установлений традиционной религии, и от прошлого вообще [Платонов 1988б: 291].

А в повести «Котлован» (1930) от традиционной религии отрекаются уже и служители прежнего культа. Это – поп, который «отмежевался* от своей души и острижен под фокстрот»; ему «приходится стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожия приняли» [Платонов 1988а: 149]. Причём средства, вырученные от продажи свечей в опустевшем храме, поп передает местному «активисту» для будущей покупки трактора (который выступает здесь, наверное, не столько в роли реальной сельскохозяйственной машины, сколько как символ «светлого будущего»): таково вполне вещественное соединение старых и новых ценностей. Кроме того, выясняется, что люди, очевидно запуганные пропагандой того самого «безбожия», уже не посещают храм, как прежде: «Народ только свечку покупает и ставит её Богу, как сироту, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон» [Там же]. Ведь поп обязан новой власти доносом на своих прихожан: «Креститься <…> не допускается: того я [поп] записываю скорописью в поминальный листок <…>… А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело пред небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкулацких святителей, – те листки я каждую полуночь лично сопровождаю

* Заметим: глагол *отмежеваться* был в официальной советской риторике тех лет настолько популярным, что это дало И. Ильфу повод иронически переименовать картину И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в «Иоанн Грозный отмежевывается от своего сына» [Душенко 2006: 183]. Ср. лексикографическое описание и иллюстрирующие речения, особенно семантического оттенка, очевидно остроактуального: «отмежеваться <…> от кого-чего. ‘Занять обособленное от кого-чего-н. положение, обособить себя, отделиться’ (книжн.). *О. от соседних научных дисциплин*. // ‘Объявить о своем несогласии с кем-чем-н.’ *О. от уклонистов. О. от вредной теории* [СУ II, 1938:947].

к товарищу активисту» [Платонов 1988а: 149–150]. Таким образом, и прежние священнослужители вынуждены посильно способствовать торжеству новой идеологии и нового строя; той идеологии и того строя, чьи провозвестники и вожди, оказывается, подобно Христу способны воскреснуть после своей физической смерти: «Марксизм всё сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет – воскреснуть хочет» [Платонов 1988а: 170–171].

Некоторые тексты А. Платонова представляются весьма удачными и разноаспектными литературно-художественными иллюстрациями того, что происходило в духовной сфере раннесоветского общества и воплощалось вербально. Это феномены и решительного противопоставления «старого сакрального» «новому сакральному»; и внешней мимикрии людей, когда под прикрытием советских пропагандистских штампов и лозунгов человек внутренне остаётся преданным традиционной религии; и контаминации прежних и новопровозглашенных идеологических ориентиров; и, конечно же, стремления осмыслить и воспринять последние как некий вариант или субститут доминировавших прежде духовных ценностей. Оказывается, что и в государстве, декларировавшем в качестве своего фундамента атеизм, конфессиональные основы вовсе не исчезают исторически моментально, но продолжают устойчивое и настойчивое влияние на сознание социума.

Заметим также, что некоторые современные дискурсивные акты в российских средствах массовой информации в значительной степени напоминают аксиологические контаминации «старого» и «нового» в платоновских текстах. Ср.: «Мётлы хозяйственные к пасхальному субботнику» [объявление. ТВК. 20.04.95] (выделенное словосочетание особенно занятно, если вспомнить, что советская пропаганда именовала хронологически соотносимое с упомянутым почти ритуальное действо так: «*ленинский коммунистический субботник*»). «Милосердие – самое православное из православных чувств. Купец, как бы благодаря Бога за то, что у него успешно идёт бизнес, жертвовал на храм» [Доброе утро. ОРТ. 15.11.98.]. «Честный бизнес, основанный на православии, – он ещё и доходный» [председатель клуба православных предпринимателей. – Новости. 7 канал.

22.09.08]. «День к р е щ е н и я Руси в Москве отметили р о к - к о н ц е р т о м » [24. RenTV. 28.07.11] и т. п.

По-видимому, «сакральное» и «профанное» в моменты решительных трансформаций аксиологической шкалы, даже при попытках её построения с, казалось бы, совершенно иными, чем прежде, точками начального отсчета, могут не только поменяться местами, но и сосуществовать, образуя в сознании социума сложные фигуры и входя в отношения контаминации.

3. Поэтические осмысления сакральности революции: В. В. Маяковский и А. А. Блок

Хорошо известно, что поэтический (версифицированный) текст по ряду своих параметров отличается от текста прозаического, например, по объему, за исключением довольно единичных примеров («Евгений Онегин» и проч.). Этим обстоятельством обусловливается присутствие в стихотворном произведении художественно-изобразительных средств, имеющих относительно больший удельный вес, нежели в прозаическом. Естественно, что от автора почти всецело зависит, какого рода тропы использовать («почти» – потому что нередки случаи приспособленчества при осуществлении так называемого «социального заказа», сопряженного со стремлением к получению максимального гонорара, общественного признания и др., что может быть вовсе не связано с истинными умонастроениями литератора; ср. изображенного М. Булгаковым номинального и номенклатурного советского поэта Рюхина, который, несмотря на его тиражируемые «звучные стихи», где «взвейтесь!» да «развейтесь!», по мнению точно такого же штатного рифмотворца Бездомного, «бездарность», «типичный кулачок по своей психологии» и «притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария» [Булгаков 1990, 5: 68]).

Весьма характерно, что и идейно-тематический план текста, и применяемый в нем ассортимент тропов могут предопределяться какими-либо широкомасштабными социально-политическими событиями радикального свойства, возымевшими длительный эффект и, соответственно, весьма значительный общественный резонанс. Несомненно, одним из таких событий стала Великая Октябрьская

социалистическая революция (в иной интерпретации – октябрьский переворот). После её победы стали очевидны выгоды принадлежности к высшим стратам возобладавшей системы (ср. реплику по поводу удачного замужества героини пьесы: «Ах, завидно на вас смотреть, Ева Артемьевна! И красивый, и инженер, и коммунист» [Булгаков 1990, 3: 328]).

При этом немалое число граждан в поисках личных преференций стремились любым доступным способом обозначить свою близость к доминирующим слоям. Так, в некогда популярной детской книге описывается «изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен»; у него визитные карточки с золотым обрезом, на которых стояло: «Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де Базан». А внизу помельче: «марксист» <…>. Он <…> редактировал покровскую газету <…> и прославился тем, что на первой странице рождественского номера поздравил «всех уважаемых читателей с 1917-м днем рождения социалиста И. Христа». Через день газету поздравили с новым редактором» [Кассиль 1977: 537–538]; впрочем, впоследствии этот персонаж оказался заурядным спекулянтом.

Понятно, что в художественной литературе того времени тема революции получила широкое отражение. По её поводу высказывались беллетристически оформленные суждения весьма широкого диапазона: от резко негативных (например, З. Гиппиус и др.) до восторженно-дифирамбических. Объяснимо и то, что в сознании последних революция запечатлевалась как феномен в высшей степени сакральный, открывающий совершенно новую эпоху в жизни человечества*, соответственно, коммунистическая идеология (сколь бы ни были скромны познания в ней многих авторов) воспринималась ими же в качестве некоей новой религии, вероучения, итогом воплощения которого неизбежно станет воцарение земного подобия рая, некогда обетованного христианством праведникам на небесах.

За примерами обратимся к некоторым произведениям двух поэтов начала XX столетия – В. В. Маяковского и А. А. Блока. Конечно, в ряде отношений они были очень различны: и по мировосприятию, и по собственно поэтическим взглядам, и по многим другим позициям. Однако в данном случае интересно то, что оба они, такие раз-

* Ср. картину К. Ф. Юона «Новая планета» (1921), где наглядно показано многообразие реакций людей на переломное историческое событие.

ные, пытались описать революционные события через религиозную призму, активно включая в ткань своих произведений христианские персонажи и образы, а также используя тематически и ассоциативно связанную с тем же христианством лексику и фразеологию.

По-видимому, такие общественные настроения были довольно массовыми, а потому и получили отражение в поэтических или околопоэтических текстах, в которых достаточно последовательно проводились мысли о своеобразной святости революции, о марксистско-ленинских теоретических построениях как более чем равноценной замене христианской религии (а потому новейшие идеологические постулаты столь же обязательны к неукоснительному исполнению, как и собственно религиозные догматы); наконец, о том, что воцарившаяся идеология должна разделяться абсолютно всеми без исключения гражданами государства – вроде недавно доминировавшего христианства (понятно, что несогласные и отступники рисковали удостоиться обвинения в современном еретичестве, исторически быстро вербализированном в пугающем ярлыке *враг народа*).

Довольно парадоксально, что В. В. Маяковский, при его футуризме, атеизме и интернационализме [Маяковский 1955: 12], неоднократно обращался к тематически религиозным словам и образам, очевидно призванным подчеркнуть величие революции. Не анализируя в данном случае такой значительный по объему текст, как «Мистерия-буфф», коснемся лишь некоторых произведений поэта, относящихся к периоду 1917–1921 гг.

В них имеется немало библейских аллюзий, вероятно призванных подчеркнуть представление коммунистической идеологии как равнозначной традиционной религии. При этом, однако, допускается возможность и даже неизбежность построения рая на земле, но к тому же адепты нового вероучения стремятся – уж заодно – атаковать и рай, издревле обетованный праведникам. Прокламируется и появление нового бога.

Ср.: «Мы разносчики новой в е р ы , красоте задающей железный тон» [Маяковский 1956а: 30]. – «Мы идем! Штурмуем двери р а я . Мы идем. Пробили дверь другим <…>. В двери эти! Стар и мал! Вселенься, Третий Интернационал!» [Маяковский 1956б: 44–45]. «Сегодня в р а й Россию ринем за радужные закатов скважины» [Ма-

яковский 1956в: 120]. – «Мы пришли, миллионы безбожников, язычников и атеистов – биясь лбом, ржавым железом, полем – все истово господу богу помолимся. Выйдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса – бог – человек! Звездам на мель, не загнанный ввысь, земной между нами выйди, явись! Не тот, который “иже еси на небесех”. Сами на глазах у всех сегодня мы займемся чудесами. Твое имя биться дабы, во громе, в дыме встаем на дыбы. Идем на подвиг труднее божеского втрое, творившего пустоту вещами даруя…» [Маяковский 1956в: 122–123]. То же – в устах вредителя-провокатора: «Большевистский этот рай хуже, дескать, ада. Нет сапог, а уголь дай. Бастовать бы надо! Что за жизнь, – не жизнь, а гроб…» [Маяковский 1956г: 68] и т. п.

Присутствует отсылка к Библии, например: «Всех младенцев перебили по приказу Ирода; а молодость, ничего – живет» [Маяковский 1956а: 31], по-видимому, аргументирующая положение о том, что новая «религия» – это религия именно молодых: «Эй, двадцатилетние! Взываем к вам» [Маяковский 1956а: 31] (ср. высказывания Л. Троцкого: «Молодёжь – вернейший барометр партии» и Ленина: «Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодёжи» – цит. по [Душенко 2006: 248; 478]).

Наконец, в этом же тексте регистрируется и совершенно реальный эпизод, где «новая религия» буквально накладывается на культовое здание традиционной: «Коммунисту ль распластываться перед тем, кто старей? Беречь сохранность насиженных мест? Это революция и на Страстном монастыре начертила: «Не трудящийся не ест» [Маяковский 1956а: 30–31]. Ср.: «Страстной монастырь в Москве находился на Страстной, ныне Пушкинской площади. В 1918–1919 гг. стены монастыря были расписаны революционными лозунгами» [Реформатская 1956: 493] (см. выше – т. 1, с. 293–294).

Поэма А. А. Блока «Двенадцать» на протяжении советского периода отечественной истории являлась устойчивым элементом некоей идеологизированной хрестоматии, адресованной прежде всего молодежи. Устоявшейся была и её литературоведческая оценка – дифирамбическая, но не без некоторых оговорок. В наиболее типизи-

рованном виде она выражалась так: «В “Двенадцати” Блок с громадным вдохновением и блистательным поэтическим мастерством запечатлел открывшийся ему в романтических пожарах и метелях образ новой, свободной, революционной родины <…>. Но вместе с тем блоковское понимание революции было ограниченным: поэт слышал в ней по преимуществу одну «музыку» – музыку разрушения старого мира <…>. Разумное же, организующее и созидательное начало социалистической революции <…> – это начало оставалось Блоку, как и прежде, в значительной мере неясным» [Орлов 1955: XLV].

Конечно, совершенно закономерно, что идеалист, мистик и символист А. Блок в поисках наилучшего вербального воплощения своего замысла обратился и к использованию тематически религиозной лексики, и к образу собственно Иисуса Христа. Однако это воплощение оказалось внутренне противоречивым, поскольку было пронизано неким безудержно революционным атеизмом, очевидно (в данном случае) отрицающим не только христианскую мораль*, но и какие бы то ни было традиционные нравственные ориентиры вообще. Отсюда – обилие оксюморонов.

Ср.: «Злоба, грустная злоба кипит в груди… Черная злоба, *святая* з л о б а …» [Блок 1955а: 525]. – «С в о б о д а , с в о б о д а , Эх, эх, *без креста*!» (последний рефрен повторяется трижды) [Блок 1955а: 526–527]. – «Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в *Святую* Русь – В кондовую, В избяную, В т о л с т о з а д у ю !» [Блок 1955а: 526-527]. – «Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар раздуем, М и р о в о й п о ж а р в крови – *Господи благослови*!» [Блок 1955а: 527]. – «Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку За зазнобушку, Чернобровушку… *Упокой, господи, душу рабы твоея*…» [Блок 1955а: 531]. – «– Ох, пурга какая, *спасе*! – Петька! Эй, не завирайся! От чего тебя упас Золотой *иконостас*?» [Блок 1955а: 532]. – «…И идут *без имени святого* Все двенадцать – вдаль. Ко всему готовы, Ничего не жаль…» [Блок 1955а: 532].

* Ср.: «Анархисты <…> о боге отзывались плохо. Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что бога нет, а если есть бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо» [Гайдар 1963, 1б: 249].

Собственно, кажется, и сам поэт не стремится к идеализации своих персонажей: «В зубах – цыгарка, примят картуз, На спину б надо бубновый туз!» [Блок 1955а: 526] – то есть отличительный знак ссыльно-каторжного. Гораздо позднéе престарелый уже В. В. Шульгин в высшей степени деликатно, но вряд ли логично охарактеризовал этот якобы «рабочий народ» (скорее уж, деклассированных элементов) следующим образом: «Воистину, красные начали почти как разбойники, хотя и стремились к святости. Эту мысль выразил в 1918 г. Александр Блок в поэме «Двенадцать» (цит. по [Жуков 1989: 71]). Вряд ли действительно так уж «стремится к святости» «почти» разбойник Петруха, успевший из-за толстоморденькой Катьки убить не только ее кавалера-офицера, но и самый объект своей страсти, и вполне готовый, пользуясь «революционной целесообразностью», полоснуть любого подвернувшегося под руку «буржуя» ножичком, а заодно уж выпить его «кровушку», причём исходя не из каких-то хотя бы вульгаризованных классовых соображений, но «за зазнобушку, чернобровушку» – у него ведь теперь «скука скучная»; а потому нужны развлечения.

Относительно необходимости введения в финал поэмы образа Христа («Впереди – с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз – Впереди – Иисус Христос» [Блок 1955а: 533] сомневался и сам её автор. Так, отметив в дневнике 18 февраля 1918 г.: «Что Христос идет перед ними – несомненно» [Блок 1955б: 496]), уже через день Блок пишет: «Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «недостойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой» [Блок 1955б: 497].

Об этом говорил и ведущий советский блоковед: «Ложным оказался в “Двенадцати” образ Христа, “с кровавым флагом” возглавляющего победный марш красногвардейцев <…>. Для Блока Христос издавна существовал вне церковной легенды – не как канонический образ спасителя и искупителя, но как художественный образ-символ, знаменующий бунтарское, освободительное начало» [Орлов 1955: XLVI].

Конечно, многое объясняет дневниковая запись, сделанная А. А. Блоком 20 февраля 1918 г.: «Религия – грязь (попы и пр.)» [Блок

1955б: 497] (пусть даже она касается лишь качества отправления обрядов и т. п.). Но и вероятно искренняя попытка придать профанному статус сакрального в «Двенадцати» оказалась явно безуспешной: замысел возвысить «почти разбойников» чуть ли не до великомучеников-страстотерпцев изначально был обречен на неудачу.

И. А. Бунин в 1922 г. отметил в дневнике: «Читаю Блока – какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный. <…> Да, таинственность, <…> таинственность жулика или сумасшедшего. Пробивается же через всё это мычанье нечто, в конце концов, очень незамысловатое» [Бунин 1988, 6а: 441] – правда, мемуарист не указывает, какие именно произведения читал. Вообще же отношение И. А. Бунина к А. А. Блоку было довольно жестким. Ср.: «Блок открыто присоединился к большевикам <…>. Блок человек глупый» [Бунин 1990в: 67].

Столь же критично Бунин отозвался о блоковском творчестве, в частности о «Двенадцати»: «Ведь вот и до сих пор спорим <…> о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем?» [Бунин 1990в: 119]. «Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны <…> …Блок замышлял написать не более, не менее, как «пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой пьесы:

– Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

– Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

– Фома (неверный!) контролирует.

– Пришлось уверовать: заставили и надули.

– Вложил переты и распространителем стал.

– А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов – «Учредилку… <…>.

– Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

– Нагорная проповедь: митинг»* и т. д. В этой нелепости <…>, в богохульстве чисто клиническом <…> есть, разумеется, нечто от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных слов революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни» <…>. При больше-

* См. [Блок 1955а: 490].

виках всякое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом» [Бунин 1990а: 196].

Можно сказать, что отлившиеся в стихотворные строки авторские интенции В. Маяковского и А. Блока были изначально различны. Общепризнанны расхождения между поэтами, один из которых упорно стремился разглядеть в происходящем многообещающее зарождение нового мира, клишированного впоследствии как «светлое будущее», а другого гораздо более впечатляло масштабное беспощадное разрушение прежнего мироустройства, иначе говоря – «мрачного прошлого». Однако оба охотно использовали для усиления художественно-изобразительного эффекта слова и словесные блоки, тематически принадлежащие христианской религии и осмысленные в функции самых уместных для передачи грандиозности описываемых событий.

4. Сакрализация персонифицированной государственной власти (на материале текстов антиутопий Е. И. Замятина и В. Войновича)

Литературно-художественное творчество как род профессиональных занятий в первую очередь привлекает тех, кто пытается им заниматься (подчас невзирая на степень собственной пригодности к этому делу), возможностью создавать некие искусственные миры, населенные вымышленными людьми, которые всецело находятся во власти писателя – их творца. Эти миры всегда параллельны реальным, даже у сугубых, казалось бы, документалистов: ведь они представляют действительность далеко не во всём её разнообразии, но лишь в том аспекте, который избран наблюдателем и преподнесён им аудитории. Конечно же, это ни в коем случае нельзя считать недостатком, по крайней мере, применительно к произведениям талантливых творцов, умеющих затрагивать чуткие душевные струны благодарных читателей, – прежде всего потому, что и сам писатель (кажется, это отличительная черта лучших представителей русского литературного цеха – от ряда классиков до некоторых современных авторов) умеет понимать и чувствовать, сопереживая своим персонажам: «Над вымыслом слезами обольюсь» [Пушкин 1977, 3а: 169].

Естественно, что диапазон воображения фантастов почти безграничен, хотя в лучших текстах такого жанра легко заметны те или иные варианты экстраполяции знакомого их творцам настоящего на отдалённое будущее и неведомые миры (романы Р. Брэдбери, Р. Шекли, К. Саймака и др. – или И. А. Ефремова).

Несколько особняком здесь выделяются произведения, обычно относимые к числу утопий или антиутопий.

Этот жанр прошёл долгую эволюцию от солнечно-золотых мечтаний Т. Мора и Кампанеллы до всё более мрачных пророчеств насчёт будущего человечества (что, впрочем, тоже оправдывалось впечатлением создателей текстов от окружавшей их действительности – но её восприятие ими, в конечном счёте, тоже было субъективным).

Некоторые из антиутопических романов содержат материал, интересный с позиций данного исследования.

Роман «Мы» – наверное, самое известное произведение Е. И. Замятина (небезынтересно, что, судя по комментариям разных критиков и литературоведов, даты окончания работы писателя над этим произведением варьируются: называют то 1920, то 1921 годы…). Обычно, и небезосновательно, роман считают антиутопией ([Шайтанов 1989: 19], [Келдыш 1989: 24], [Шестаков 1990: 18] и др.). Причём, если некоторые комментаторы, досыта напитанные и насквозь пропитанные духом «перестройки», полагали: «Антиутопия “Мы” рисовала образ нежелательного будущего и предупреждала об опасности распространения казарменного коммунизма, уничтожающего во имя анонимной, слепой коллективности личность, разнообразие индивидуальностей, богатство социальных и культурных связей» [Шестаков 1990: 18] и, следовательно, является острой сатирой на советскую действительность, то другой известнейший антиутопист, Дж. Оруэлл, был о книге совершенно иного мнения: «Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 г. были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация» [Оруэлл 1989б: 308–309].

О языке придуманного им весьма отдаленного будущего (примерно через 900 лет [Замятин 1989: 554]) Е. И. Замятин сообщает очень скупо. Писатель не говорит о каких-либо кардинальных изменениях в области грамматики (да и совершенно неизвестным читателю остаётся, какой конкретный язык лежит в основе единого языка Единого Государства – может быть, русский?). Автор устами своего героя-рассказчика лишь время от времени упоминает о некоторых словах-архаизмах и неологизмах; последние и символизируют новый образ жизни: обращаясь к далеким потомкам («неведомым»), повествователь говорит: «Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль [единое для многомиллионного населения государства расписание повседневных дел. – А. В.], Личные Часы [отпускаемые два раза в день на сугубо индивидуальные нужды одночасовые отрезки – в том числе для упорядоченного удовлетворения сексуальных потребностей. – А. В.], Материнская Норма [научно обоснованное и регламентированное законом деторождение. – А. В.], Зеленая Стена [за которой обитают якобы дикие человекоподобные. – А. В.], Благодетель [высший и единоличный правитель Единого Государства. – А. В.]. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое “пиджак”, “квартира”, “жена”. Я уверен, дикарь глядел на “пиджак” и думал: “Ну, к чему это? Только обуза”» [Замятин 1989: 554] (все граждане Единого Государства, независимо от пола и возраста, облачены в «голубоватые юнифы, с золотыми бляхами на груди – государственными нумерами» [Замятин 1989: 551] (с примечанием автора: юнифа – «вероятно, от древнего «Uniforme» [Там же].

Другие примеры подобного рода: «Это слово [«хлеб»] сохранилось у нас только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен», поскольку люди будущего вкушают «нефтяную пищу» [Замятин 1989: 560–561]. В диалоге между героем и героиней-бунтаркой: «Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы…» – «Ясно, – перебила I, – быть оригинальным – это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным – это нарушить равенство… И то, что на идиотском языке древних называлось “быть банальным” – у нас зна-

чит: только исполнять свой долг» [Замятин 1989: 565]. Или: в диалоге между женщиной, очевидно преступно влюбленной в главного героя и (что тоже преступно) желающей именно от него родить ребенка и самой этого ребенка растить: “Вы не тот, не прежний, не мой!” – «Что за дикая терминология: “мой”. Я никогда не был…» [Замятин 1989: 592].

В число архаизмов, конечно, попадает и существительное *душа*; врач выносит диагноз рассказчику: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа». Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа – – «Это очень опасно», – пролепетал я. «Неизлечимо», – отрезали ножницы» [Замятин 1989: 598]; ср. далее: «… Вспоминается только – мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка – «душа в пятки» [Замятин 1989: 628] (пример другой «древней поговорки» – «как об стену горох» [Замятин 1989: 608]). Изменилась и коннотация слова *тайна* – выборы во власть теперь совершенно открытые: «Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры… Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я… Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская “тайна” у древних» [Замятин 1989: 626] – или семантика слова *благородство*: «Благородство? Но <…> ведь даже простой филологический анализ этого слова показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох» [Замятин 1989: 662].

В Едином Государстве установлена антропонимическая система, радикальным образом отличающаяся от всех ныне известных национальных: у каждого из граждан – свой индивидуальный «государственный нумер», состоящий из латинской буквы (причём используется как кириллический, так и латинский алфавит) и цифрового обозначения числа: Д-503, О-90, I-330, R-13 и т. п. – иногда, впрочем, и из одной буквы (Ю – [Замятин 1989: 576]); до одной буквы зачастую сокращаются эти псевдоимена и в непосредственном речевом общении. В общем, «мы, если говорить языком наших предков <…> – семья » [Замятин 1989: 573], хотя понятно, что феномена традиционной семьи здесь давно уже не существует.

Обратим, однако, внимание на то, что в Едином Государстве (безусловно рационализованном до крайних пределов и несомненно атеистическом) довольно часты в речевом общении многие реликтовые слова и словосочетания, позволяющие судить об устойчивости рудиментов религии в сознании социума – правда, эти рудименты существенно трансформированы применительно к установленной ситуации.

Так, героиня-бунтарка I-330 заявляет герою, первоначально – законопослушному приверженцу официальной государственной идеологии: «Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно всё озирали – как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…» [Замятин 1989: 573].

Герой-рассказчик рассуждает о впечатлении, которое производит на него день государственного праздника: «Судя по дошедшим до нас описаниям [!], нечто подобное испытывали древние во время своих “богослужений”. Но они служили своему нелепому, неведомому Богу – мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву, – мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству – спокойную, обдуманную разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны…» [Замятин 1989: 574]. – «… Может быть, их, Хранителей [то есть тайную полицию] провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных “архангелов”, приставленных от рождения к каждому человеку» [Замятин 1989: 576]. – «Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, – было во всем торжестве» [Там же] (во время которого, между прочим, совершилась публичная казнь одного из «нумеров», по-видимому, уличенного в нелояльности, – опять же как новейший аналог архаичных жреческих жертвоприношений, инквизиторских расправ с еретиками и проч.).

Преданность «нумеров» Единому Государству настолько сильна, что рассказчик, рассуждая о своей возможности быть подвергнутым смертной казни, говорит: «я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля <…>. Это [“довременная смерть”] – то

самое б о ж е с т в е н н о е правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их “Б о г ” – хулу на Святую Церковь – карал так же, как убийство» [Замятин 1989: 612–613].

О современном рассказчику литературно-художественном творчестве сообщается: «… Есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом мире. Сталь – ржавеет; древний Б о г – создал древнего, т. е. способного ошибаться, человека – и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Б о г а : она никогда – понимаете – никогда – не ошибается <…>. А “Ежедневные оды Благодетелю”? Кто, прочитав их, не склонится н а б о ж н о перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров?» [Замятин 1989: 587].

О системе образования и воспитания: «Вспомнили Законоучителя [робота-преподавателя]» – с примечанием рассказчика: «Разумеется, речь идет не о “З а к о н е Б о ж ь е м ” древних, а о Законе Единого Государства» [Замятин 1989: 572], – то есть государственные (светские) установления имеют высочайший, сакральный статус, сопоставимый по своему авторитетному уровню лишь с собственно религиозными канонами.

А по поводу якобы достигнутого Единым Государством всемогущества говорится в следующих выражениях: «Наши боги – здесь, внизу, с нами – в Бюро [Хранителей], в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго – мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь б о ж е с т в е н н о -разумной и точной, как наша…» [Замятин 1989: 588].

День выборов именуется в этом государстве Днем Единогласия (ср.: «День народного единства», «единый день голосования» и проч.): «Вот – о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его – с детских лет. Мне кажется, для нас – это нечто вроде того, что для древних была их “Пасха”» [Замятин 1989: 625]. Соответственно, влюбленный герой говорит: «Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной <…>. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это всё не нужно, не то <…>. Потому что я знаю (пусть это к о щ у н с т в о , но это так) праздник – только с нею» [Замятин 1989: 626].

Наконец, в одной из заключительных глав романа: «Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, н е п о р о ч н о й , еще не высохшей от ночных слёз синеве – едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он – новый И е г о в а на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как И е г о в а древних. С каждой минутой Он всё ближе – и всё выше навстречу ему миллионы сердец, – и вот уже Он видит нас <…> в белых одеждах Благодетель <…>. Но вот закончилось это величественное Е г о с о ш е с т в и е с н е б е с …» [Замятин 1989: 627].

Таким образом, несмотря на, казалось бы, абсолютно завершенную рационалистичность Единого Государства, в сознании его нивелированных и четко ориентированных идеологическими доминантами граждан продолжают, судя по их речевым актам, устойчиво сохраняться религиозные представления давно минувших времен. Конечно, к этому следует добавить, что многие из ассоциативно связанных с областью религии установок оказались подвержены некоей инверсии (как и в ряде других известных случаев). Иначе говоря, происходит нечто вроде искреннего обожествления не только и не столько Единого Государства и всего, к нему относящегося, но в первую очередь высочайшая сакрализация личности его верховного (и, по-видимому, единоличного) правителя – Благодетеля. Его фигура вполне определенно сравнивается с Иеговой «древних» (т. е. Ветхого Завета).

Итак, в сотворенном воображением Е. И. Замятина будущем собственно профанное (реальная земная власть), персонифицированное в облике Благодетеля, трансформируется в сакральное (восприятие Благодетеля как воплощенного божества).

В романе В. Войновича «Москва 2042» (1986) описывается, как это присуще антиутопии вообще, один из гипотетических вариантов будущего, очевидно не вызывающего у автора-сатирика никаких симпатий (это «нежелательное будущее» [Шестаков 1990: 21]).

Согласно сюжету произведения, в Советском Союзе был построен коммунизм – впрочем, в «одном отдельно взятом городе» [Войнович 1990: 558], то есть в Москве*, отгороженной шестиметровой

* Ср. распространенный в реальности конца 1970-х – начала 1980-х агитпроповский лозунг: «Превратим Москву в образцовый коммунистический город».

железобетонной стеной от остальной страны. Однако, по оценке главного героя-рассказчика, в результате получилось «общество жалких нищих.., для которых вся духовная жизнь свелась к сочинению и изучению Гениалиссимусианы» [Войнович 1990: 697] (произведений Гениалиссимуса, верховного вождя). По мнению же инициатора грандиозного эксперимента, убежденного антикоммуниста (играющего роль Гениалиссимуса), его замысел удался вполне успешно: «Я коммунизм построил, и я же его похоронил <…>. Чтобы разрушить коммунизм, надо его построить <…>. Именно я на практике довел это учение до полнейшего абсурда» [Войнович 1990: 698–699]. Впрочем, членов данного социума (исключительно высокопоставленных) такое общество совершенно устраивает, ибо они-то считают его «самым настоящим коммунизмом» [Войнович 1990: 485 и др.].

В лингвистическом отношении примечательно то, что в русском языке произошли определенные изменения: «По дороге я спросил Коммуния Ивановича, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу. «Разве, – спросил я, – мы говорим с вами не на одном и том же языке». Он вежливо подождал перевод, потом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, каждый язык, как известно (мне это как раз было известно), имеет не только словарное, но и идеологическое содержание, и переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговор из одной идеологической системы в другую» [Войнович 1990: 485]. Здесь можно усмотреть отсылку не только к известному положению об изменении языка во времени (в данном случае хронологический промежуток составляет шестьдесят лет), но также и к описанным ранее коннотациям идеологического характера (например, у А. М. Селищева, а беллетристически – в «1984» Дж. Оруэлла). Впрочем, более детализированных описаний идеологически обусловленных коннотаций лексической семантики в романе почти не приводится.

Однако же интересно, что, в соответствии с замыслом сатирика, в придуманную им псевдокоммунистическую идеологию прочно встроена религия. Таким образом, в отличие от постулатов классиков – основателей, теоретиков и практиков коммунизма, религиозность не только не элиминируется из жизнедеятельности социума, но всячески поощряется и культивируется. Более того, «теперь цер-

ковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только [!] условием: церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса» [Войнович 1990: 503] – «Коммунистическая Реформированная Церковь была учреждена в соответствии с Постановлением ЦК КПГБ и Указом Верховного Пятиугольника «О консолидации сил…». Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к государству при одном [!] непременном условии: отказе от веры в Бога <…>. Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах <…>. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник – это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлением чуждой идеологии» [Войнович 1990: 563–564]. Иначе говоря, естественные представления людей о сакральном были перенацелены властью по огосударствленному вектору.

«Коммунистическая религия» [Войнович 1990: 512] неизбежно породила некоторые трансформации семантики ряда слов, а также лексические новации, хотя, как уже было сказано, количество их примеров в тексте явно незначительно. Однако они-то и играют роль ключевых.

Согласно «коммунистической идеологии», «совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху [в буквальном смысле: находится на борту постоянно облетающего Землю космического корабля – А. В.]» [Войнович 1990: 486] (он же, оказывается, является автором Священного писания [Войнович 1990: 492]). Само «имя Гениалиссимус возникло совершенно естественно. <…> Гениалиссимус является одновременно Генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание Генералиссимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди называли его «наш гениальный генеральный секретарь и генералиссимус». <…> Наш вождь отличается еще исключительной скромностью <…>. Просил нас всех называть его как-нибудь попро-

ще, покороче и поскромнее. Ну и в конце концов привилось такое вот простое и естественное имя – Гениалиссимус» [Войнович 1990: 487–488] (правда, упоминается и мистически «вечно живой Ленин» [Войнович 1990: 551]).

Вообще антропонимическая система в этом фантастическом социуме строится довольно предсказуемо – согласно известным хотя бы по историческим прецедентам примерам. Правда, сохраняется традиционная русская трехчленная модель (имя + отчество + фамилия), но первый ее компонент последовательно и по-своему аргументированно заменяется на «идеологически выдержанный»: «<…> У нас, комунян, у всех были имена, данные нам при рождении, а потом мы их заменили на те, которые получили во время звездения [некий аналог – субститут обряда церковного крещения. – А. В.], то есть звездные имена. Эти имена отражают направление основной деятельности каждого человека» [Войнович 1990: 487]. Так возникают Коммуний Иванович Смерчев, Дзержин Гаврилович Сиромахин, Пропаганда Парамоновна Коровяк, Искрина Романовна Полякова и отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению [Войнович 1990: 481–482] (а также Берий, Советин и прочие руководящие персонажи; один из неруководящих, шофер, говорит: «Мое новое имя Космий, но все меня Кузей кличут, по-старому» [Войнович 1990: 517]).

Поэтому же стандартное официальное приветствие – «Слава Гениалиссимусу!», аббревиированное до «Слаген!» [Войнович 1990: 481 и др.], а эмоциональные восклицания «Ради Бога!» и «О Боже!» заменены соответственно на «Ради Гены!» [Войнович 1990: 638 и др.] – однако в обыденной речи иногда всё же прорывается полузабытое «Свят, свят, свят!» [Войнович 1990: 669].

Лингвистически интересен изобретенный автором глагол *звездиться* [Войнович 1990: 556], равно как и производные от него. Самый обряд «звездения», очевидно сменивший православную традицию осенять себя либо иного (иных) знамением креста, описывается следующим образом: «Он [отец Звездоний] <…> стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме: лоб – левое колено – правое плечо – левое плечо – правое колено – лоб. Все другие <…> тоже стали повторять те же движения, бормотать:

«Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу» [Войнович 1990: 486–487]. Ср. также: *звездиться* («Когда кажется, надо звездиться») [Войнович 1990: 556], ср. «Когда кажется, креститься надо», *перезвездиться* («Вам тоже следует перезвездиться» [Войнович 1990: 487 и др.]); *отзвездиться* («Он <…> забормотал: «Свят, свят, свят!» – отзвездился от меня, как от черта» [Войнович 1990: 669]), *звездение* («<…> Имена <…> заменили на те, которые получили во время звездения» [Войнович 1990: 487]).

В присутственных и общественных местах вывешиваются стандартные комплекты портретов: «<…> Портрет Гениалиссимуса <…> смотрел на противоположную стену, с которой ему отвечали восхищенными взглядами Христос, Маркс, Энгельс и Ленин» [Войнович 1990: 595].

Наконец, следует упомянуть об изобретенных автором многочисленных аббревиатурах, например, *прекомпиты* – предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых, *меобскопы* – места общественного скопления, *пукомрасы* – пункты коммунистического распределения, *кабесоты* – кабинеты естественных отправлений, т. е. уборные, и т. п. По-видимому, автор таким образом пародировал современные ему аббревиатуры, считая их уродливыми порождениями именно советской эпохи, что, впрочем, не верно (см. об этом, например, [Васильев 2003: 57]; да и в постсоветском государстве сегодня аббревиация не менее популярна, чем прежде: РФ, ГД, РПЦ, МЧС и проч.).

Если пытаться в самом широком плане сопоставлять данные тексты Е. И. Замятина и В. Войновича, то можно увидеть ряд естественных различий между этими произведениями, что предопределяется исходными интенциональными позициями их авторов. Кроме того, первый изображает страну вымышленную, а второй гротескно утрирует черты страны реальной.

Антиутопия Е. М. Замятина обладает глубоко пророческим, а потому социально значимым смыслом: это роман-предупреждение о наиболее вероятных результатах стремления к абсолютной рационализации бытия, уничтожающей в человеке всё собственно человеческое.

Роман В. Войновича – скорее, излишне многословное ёрничество по поводу государства, закономерно отвергшего литератора, который очевидно по-своему понимал свободу творчества (то есть

совсем не так, как это диктовалось официальными установками) и решил поквитаться с обидевшей его властью.

Однако есть важная деталь, сближающая две антиутопии: изображение верховного правителя в виде божества (точнее, наверное, человекобога), то есть придание главному земному распорядителю всего и вся буквально сакрального статуса.

Как свидетельствуют вышеприведенные примеры, универсальная семиотическая оппозиция *свой* / *чужой* (*сакральный* / *профанный*) неоднократно воплощалась в отечественных литературно-художественных текстах. Конечно, эти воплощения обретали разные вербальные формы в зависимости от интенций авторов. Однако довольно очевидно то обстоятельство, что изначально религиозная лексика и фразеология активно привлекалась для разноаспектных характеристик описываемых ситуаций и их действующих лиц. Основным мобилизующим фактором выступает, как правило, осознание высочайшей значимости т. н. традиционной религии (в рассмотренных текстах – это прежде всего христианство и – у́же – православие), с одной стороны. С другой – понимание зародившейся либо уже́ воцарившейся идеолого-политической системы мировоззрения как некоего заменителя / заместителя собственно религии, предназначенного радикальным образом трансформировать и отдельную личность, и общество в целом; кроме того, эта же система становится фундаментом для возведения принципиально нового государственного устройства.

Априорно понятно, что восприятие решительной ломки прежних социально-политических устоев, долгое время представлявших собой относительно гармоничный набор сакральных ценностей, было у разных литераторов (впрочем, как и у масс граждан вообще) во многом различным. Их позиции, выраженные в художественных текстах, варьировались по ряду параметров. Но для произведений, которые рассмотрены в данном разделе, следует указать хотя бы одну черту, парадигматически их сближающую. Это константное присутствие прямых отсылок, сравнений, ассоциаций и проч. к христианской религии, её персонажам и догматам. Таким образом демонстрируется и профанизация прежнего сакрального, и сакрализация ранее профанного.

Глава 12

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СЕМИОТИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

> Полковник Аурелиано Буэндиа представлял себе этих одетых в чёрное законников – как они выходят из президентского дворца <…>, чтобы обсудить, что хотел в действительности сказать президент, когда сказал «да», или что он хотел сказать, когда сказал «нет», и даже погадать о том, что думал президент, когда сказал совершенно противоположное тому, что думал …
>
> Г. Г. Маркес

В последние годы заметен интерес отечественных лингвистов к исследованию текстов политической тематики. Вероятно, это объясняется, с одной стороны, поисками нового информативного материала, с другой – обстоятельствами современной российской ситуации.

Публикации подобной тематики довольно заметно различаются и выбором конкретных текстов, и уровнем исполнения. Иногда они посвящены изучению разнооформленных выступлений высших государственных руководителей, в том числе – бывших (например, [Иванова 2011], [Гаврилова 2012], [Бабенко, Конторских 2013] и др.), иногда – концептуальному анализу характерных черт жанра (см. [Никифорова 2013], [Балашова 2014] и др.).

Несомненно, политические тексты чрезвычайно интересны как объект лингвистического рассмотрения; об этом можно судить даже и по их беллетристическим имитациям. Например, см. воспроизведение речи эсера*: «Кругликов заговорил об Учредительном собрании, которое должно быть хозяином земли, о вреде самочинных

* В данном случае *эсер* – член партии социалистов-революционеров, а не «Справедливой России».

захватов помещичьих земель, о необходимости соблюдать порядок и исполнять приказы Временного правительства. Тонкой искусной паутиной он оплетал головы слушателей. Сначала он брал сторону крестьянства, напоминал ему о его нуждах. Когда толпа начинала сочувственно выкрикивать: «Правильно!» <…>, Кругликов начинал незаметно поворачивать. В н е з а п н о оказывалось, что толпа, которая только что соглашалась с ним в том, что без земли крестьянину нет никакой свободы, приходила к выводу, что в свободной стране нельзя захватом отбирать у помещиков землю» [Гайдар 1963, 1б: 258–259] (ср. также [Васильев 2013: 66–70]).

Следует заметить, что специалисты далеко не всегда склонны обращать внимание на некоторые малокогерентные либо остродискуссионные фрагменты рассматриваемых текстов. Такое авторедактирование, или самоцензура (если её проявления обнаруживаются у несомненно внимательного языковеда), по-видимому, объясняется довольно тривиальными причинами, имеющими, кроме обычного малодушия, и глубокие исторические корни.

Например, полагают, что в Древнем Риме, при сосредоточении всей полноты власти в руках одного правителя, «тотчас же и его персона, и сама идея его власти попадают в сферу священного. Он сам становится Августом, носителем божественной силы и сущности, спасителем, возродителем отечества, приносящим ему благо и мир, он дарует и поддерживает процветание и изобилие. Все свои робкие жизненные чаяния первобытное племя проецирует на властителя, который впредь считается эпифанией* божества» [Хёйзинга 1997: 169]. Традиция непомерного возвеличения (вплоть до сакрализации) базилевса продолжилась и в Византии, откуда Древней Русью было немало заимствовано. Понятно, что пиетет к высочайшей особе государя поддерживался и юридическими средствами – вроде lex majestatis minutae.

В советский период (точнее – в 30-е–50-е гг. XX в.) отечественной истории широко использовалась известная «58-я статья» – прав-

* См.: «ἐπι-φάνεια – … 2) ʻчудесное явление, проявление божественной силы’» [Древнегреческо-русский словарь 1958, I: 645]. Ср. глубокомысленное заявление красноярского градоначальника П. Пимашкова по поводу оперы «Жизнь за царя»: «В с я к а я власть – она от Бога…» [Новости. ТВК. 23.12.01].

да, судя по некоторым источникам, по ней были наказаны не только исключительно невинные граждане*. Несомненно, что прежде, чем предаваться поголовной скорби по поводу судеб «незаконно репрессированных» (хотя репрессии производились в соответствии с действовавшим законодательством), следует точно знать причины осуждения конкретных граждан. Ведь ещё из рассказа 1925 г. известна ситуация: «За что же ты, парень, в тюрьмах-то сидел? <…> Политика или что слямзил?» – «Политика, – сказал Лёшка. – Слямзил малость…» [Зощенко 1986, 1: 274]. Ср. завязку сюжета детской повести 1939 г.: отец юного рассказчика, герой гражданской войны, вдруг назначен директором большого магазина, и «вскоре зажили мы хорошо и весело <…>. Однако <…> всё там быстро разобрали <…> и отца приговорили к пяти годам, за растрату» [Гайдар 1963, 1: 560-562].

После непродолжительного исторического антракта какие-то труднообъяснимые феномены внутриполитической жизни вновь вызвали из небытия законодательные акты, по всей видимости,

* По всей вероятности, устоявшееся среди значительной части сограждан чрезвычайно сочувственное отношение ко многим якобы незаслуженно претерпевшим от «незаконных политических репрессий» давно уже нуждается в принципиальном пересмотре. Во-первых, эти мероприятия проводились в соответствии с действовавшими юридическими установлениями; если считать их «незаконными», то логично было бы также переоценить, например, такие акты, как ельцинский указ № 1400, документы, обеспечившие правомерность залоговых аукционов, акционирование и приватизацию предприятий и т. п. Во-вторых, по оценке А.В. Бортникова, в 1930-е гг. «угроза надвигающейся войны требовала от советского государства <…> скорейшего проведения индустриализации и коллективизации <…>. Мобилизация проходила очень болезненно. Жёсткие методы государства породили неприятие у части советского общества» [Бортников 2017: 5], и «архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел» [Бортников 2017: 6] (см., например, [Поляков 2019: 214-227]). Вряд ли сто́ит сокрушаться о «крутых маршрутах» вниз некоторых маршалов, наркомов, директоров и других номенклатурных деятелей; в конце концов, они сами получили именно то, что сознательно уготовили для других. Действительного сочувствия заслуживают простые люди, но всё же в каждом конкретном случае нелишне точно знать причину приговора: это могла быть и заурядная уголовщина. Но «именно точка зрения выживших и воротившихся в элиту арбатских детей <…> стала почти государственной идеологией» [Поляков 2019: 407].

предназначенные жёстко регламентировать настроения населения и направлять их по тому вектору, который наиболее симпатичен определённой части властей предержащих, искренне радеющей о душевном спокойствии электората.

Однако при этом явно упускается из внимания то немаловажное обстоятельство, что каждый представитель любой ветви власти, вплоть до самых высоких должностных лиц, – так называемый «рядовой носитель языка» [Голев 2008: 16] (хотя тот же автор предусмотрительно отграничивает от общей их массы «в социальном смысле <…> высокопоставленных» [Голев 2008: 14]). Со строго лингвистической точки зрения, в с е носители языка (по крайней мере, русского) являются «рядовыми» – в том смысле, что никто из них не способен выступать, например, в роли демиурга – единоличного творца языка и распорядителя его процессов.

Впрочем, широко известны иные подходы к оценке качества речи российских высоких руководителей, имеющие отправной точкой вряд ли рациональный пиетет к властительным коммуникантам именно как обладателям безграничных полномочий, то есть – небожителям, только по этой причине заведомо наделенным самыми похвальными достоинствами. Так, учёная с удовольствием рассказывает о том, что эти мудрые исполины, отечества отцы (по А. С. Грибоедову), обращались к ней на «ты» (а она, судя по приведенным репликам, всё-таки адресовала к ним «вы» – точнее, «Вы»); что она «добивалась, чтобы кандидаты в депутаты Госдумы сдавали экзамены по культуре русской речи» (добилась ли?); что в советское время говорили наиболее правильно: «тогда нормы отслеживались очень строго, даже жестко, хотя никакого закона [вероятно, имеется в виду малоизвестный «Закон о государственном языке РФ»*] не было»; что какой-то – тоже малоизвестный – межведомственный совет по русскому языку занимается, в частности, тем «чтобы никаких латинских букв не было в надписях» (об эффективности этих усилий косвенно сказано выше); что «лично» она одобряет качество речевых актов действующего президента и т. п. Эмоционально-оценочная констатация «наш язык становится бедным <…>, послушать <…> – ужас» выдаётся без каких-либо, хотя бы кратких объяснений и комментариев, – того, чего и сле-

* Об этом законе см., например [Васильев 2007; 2008].

довало бы ожидать от специалиста – (см. [Безрукова 2011]). Хотя цитируемое издание предназначено, скорее всего, для простодушных престарелых пенсионеров, живущих представлениями о безвозвратном прошлом, но всё же оно правительственное и – при желании – могло бы отнестись к освещению актуальной темы более квалифицированно (если не сказать – серьёзно)*.

В данном разделе анализируется ряд речекоммуникативных актов В. В. Путина – и не в последнюю очередь потому, что (по крайней мере, в некоторых случаях) президент имеет склонность трудиться над произносимыми им текстами самостоятельно (ср.: «Известно, что Путин работает над документом [очередным посланием Федеральному собранию] л и ч н о » [Сегодня. НТВ. 03.12.15]). Следовательно, их анализ позволяет посредством рассмотрения речевых форм выражения вероятных интенций оратора до некоторой степени характеризовать его языковую личность. Конечно, для исследования здесь привлекаются лишь единичные тексты, в которых так или иначе словесно воплощается оппозиция *свой / чужой*, что, вероятно, для речей политиков вообще и политических руководителей в частности является имманентно присущей чертой.

1. МЫ и ОНИ в выступлении В. В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г.

Набор базовых ценностей этносоциума охватывает довольно широкий диапазон концептуально значимых феноменов (см. об этом, например, [Васильев, Васильева, Тимченко 2015]). Противопоставление *мы* / *они* неизбежно возникает в самых разных текстах. Оно же является неотъемлемой частью политического дискурса, который вообще трудно себе представить без экспликаций названной оппозиции. Причём выбор лексико-фразеологических манифестаций членов оппозиции, и прежде всего – её второго компонента относительно вариативен: это могут быть *стратегические партнёры*, *зарубежные коллеги,* а подчас даже и *друзья* (хотя легко

* Любопытно, что вышецитированной деятельнице президентом была вручена премия «за вклад в укрепление р о с с и й с к о й н а ц и и » [Россия-24. 16.12.18] – совершенно мифической.

догадаться, что последняя из приведённых номинаций конвенциальна и очень слабо связана с реалиями политической действительности; об истории же в русском языке существительных *коллега* и *партнёр* см. [Васильев 1993: 38–41; 54–56]). Кроме того, следует отметить, что политики далеко не всех стран используют эксплицированные автохарактеристики своих государств; конечно, можно встретить излишне смелые самооценки вроде *оплот мировой демократии, исключительная нация, защитники прав человека, носители общечеловеческих ценностей* и проч., но подобные дифирамбы в собственный адрес не являются присущими речам многих деятелей, которые предпочитают выражать близкие им позиции гораздо более сдержанно. И в таких случаях используются риторически отточенные обороты, дипломатически скромно, но не конфронтативно-заострённо позволяющие публично демонстрировать иногда диаметрально противоположные подходы к путям и способам решения международных проблем.

Рассмотрим в качестве примера лексико-фразеологические выражения оппозиции *мы* / *они* в тексте выступлении В. В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. (источник – http / / archive.kremlin.ru / appears / 2007 / 02 / 10 / 1737_type63374type 63376type63377type63381type82 634_118097shtml). Это выступление некоторые политики и политологи (прежде всего зарубежные) посчитали декларацией «жёсткой позиции Кремля». Надо сказать, однако, что и сам оратор в начале речи чётко обозначил свои интенции и словесные способы их выражения.

Об этом буквально было заявлено так: «Формат конференции дает мне возможность избежать “излишнего политеса” и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными либо неточными, я прошу на меня не сердиться – это ведь только конференция».

Для удобства и большей наглядности выделим лишь те микроблоки текста, которые позволяют сопоставить вербализации компонентов «мы» и «они», подаваемые иногда имплицитно, а иногда, что

называется, «от противного»; иначе говоря, «своя» позиция подается в форме реакции на тезисы другой стороны либо в качестве контрпредложений. Далее размещаем их в порядке следования в тексте.

ОНИ: «Имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления».

ОНИ: «… Что же такое однополярный мир? <…> Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном счёте губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри».

МЫ / ОНИ: «Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят».

ОНИ / МЫ: «… Сама модель [однополярного мира] является неработающей, так как в основе её нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации».

ОНИ: «Односторонние, нелегитимные часто действия, не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряжённости».

МЫ / ОНИ: «Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах…».

МЫ / ОНИ: «Мы видим всё большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того – отдельные нормы, да, по сути – чуть ли не вся система права одного государства <…> Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах <…> и навязывается другим государствам».

ОНИ: «В международных делах всё чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности…».

ОНИ: «Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения».

МЫ: «… Надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения».

МЫ: «Открытость, транспарентность и предсказуемость в политике безальтернативны…».

ОНИ: «Такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными».

МЫ: «Убежден, единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН <…>. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество тяжёлых ошибок».

МЫ: «Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу [о разоружении]».

МЫ / ОНИ: «Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать также транспарентно…».

МЫ: «Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия…».

МЫ: «… Нами подготовлен проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве».

МЫ / ОНИ: «Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе…».

ОНИ / МЫ: «Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют Договор [об обычных вооруженных силах в Европе] <…> до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии <…>. Мы готовы и дальше работать по этому направлению».

ОНИ / МЫ: «Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия».

МЫ: «Её [Берлинской стены] падение стало возможным и благодаря историческому выбору <…> народа России <…> в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми членами большой европейской семьи».

МЫ: «Мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения».

МЫ: «…Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров по обогащению урана».

МЫ / ОНИ: «Мы ведем консультации с нашими американскими друзьями».

МЫ: «Мы открыты для сотрудничества <…>. Мы готовы честно конкурировать».

ОНИ: «… Давайте называть вещи своими именами: получается, что одной рукой раздается “благотворительная помощь”, а другой – не только консервируется экономическая отсталость, а ещё и собирается прибыль».

ОНИ: «ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран».

МЫ: «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».

МЫ / ОНИ: «… Конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнёрами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех».

Некоторые выводы

1. Универсальная семиотическая оппозиция *мы* / *они* (*свой* / *чужой*, *хороший* / *плохой* и иные модификации) является чрезвычайно устойчивой, можно даже сказать – имеющей непреходящий характер, поскольку выступает как одна из определяющих базовые ценности этносоциума. В данном случае её первый компонент – константное выражение инвариантной позиции суверенного государства.

2. Указанная оппозиция постоянно присутствует в политическом дискурсе, о чём свидетельствует и рассмотренный нами текст, несмотря на содержащиеся в нем неоднократные упоминания о давнем завершении «холодной войны» как долголетнего взаимного противостояния глобального масштаба.

3. Можно сказать, что использованные российским президентом формулировки для выражения собственных позиций, а с другой стороны – позиций иных государств довольно сдержанны в риторическом отношении и почти не включают в себя сколько-нибудь радикальных инвектив.

4. Однако полемическая заостренность данного выступления все-таки имеет место, хотя и выражается довольно корректно, вроде: «шаблоны блокового мышления», «нелегитимные действия», «ги-

пертрофированное применение силы», «пренебрежение принципами международного права» и проч.

5. Небезынтересно отметить, что при аргументации своей позиции оратор обращается не только к положениям международного права, упоминая о ряде действующих документов (например, об Уставе ООН и договорах между государствами), но также, что несколько необычно для текста такого жанра, и к области этических ценностей, заявляя, в частности, о том, что модель однополярного мира не имеет в своей основе «морально-нравственной базы современной цивилизации». Правда, о том, что представляет собою эта «морально-нравственная база», в данном выступлении не сообщается.

2. Лексико-фразеологические представления *своего* и *чужого* в посланиях В. В. Путина Федеральному собранию (2012–2014)

Среди специалистов сегодня довольно распространена точка зрения, согласно которой одной из главнейших функций языка (а может быть, и исторически первичной) является функция манипулятивная, или функция воздействия – в иных терминологических воплощениях также волюнтативная, волеизъявительная и проч. (см. об этом, например: [Голев 2007: 11; Бринёв 2005: 158; Кара-Мурза 2002: 84; Осипов 2007: 217; Секретарёва 2005: 266] и др.). Не вдаваясь в дискуссии по этому поводу, когда относительно глубинных истоков языка – в силу совершенно понятных причин – сопоставляются и противопоставляются различные версии и гипотезы, скажем лишь, что предположение об исконной манипулятивной природе языка, по крайней мере, не менее логично, чем прочие.

Если обратиться хотя бы к некоторым суждениям, характеризующим слово как языковую единицу, обладающую лексическим значением и поэтому способную использоваться для номинации реалий, то можно увидеть в них нечто общее, а именно – указание на некие аккумулирующие потенции лексем. Ср.: «Слова суть символы <…>. Слова суть вспыхивающие в сознании монограммы бытия» [Булгаков 1953: 26; 30]. – «Слова <…> как аббревиатуры или представи-

тели высказывания, мировоззрения, точки зрения и т. п.» [Бахтин 1986б: 316]. «В каждом слове, кроме понятия, заключены еще образ и символ» [Колесов 1999: 222]. – «За словом и его смыслом всегда стоит нечто большее – коллективный опыт народа, его дух, его подлинное величие…» [Трубачёв 2004: 154] и т. п.

В том числе и в силу приведенных свойств слова понятна его роль как катализатора (импульса, или, может быть, даже детонатора) не только на уровне межличностных отношений, но и в массовых социально-политических процессах: «Слово – полководец человечьей силы» [Маяковский 1973: 15]. И, хотя «слова языка ничьи», но «всегда есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи “властителей дум” данной эпохи» [Бахтин 1986а: 282–283]. Отсюда – и высокая значимость текстов выступлений политических деятелей и руководителей, и, соответственно, привлекательность таких речекоммуникативных актов (вне зависимости от жанра, монологического либо диалогического их характера) для лингвистического анализа. Конечно, при этом необходимо учитывать и фактор коллективного авторства (участие «спичрайтеров» – штатных речеписцев), однако номинально подобные тексты принадлежат произносящим («озвучивающим») их адресантам, вследствие чего в сознании аудитории прочно связываются с их именами. Добавим, что, согласно известному мнению, смысл текста – «это то в нём, что имеет отношение к истине, правде, добру, красоте, истории» [Бахтин 1986б: 299]. Впрочем, такая тематика является в политических выступлениях далеко не самой частотной и во всяком случае не доминирующей: обычно она привлекается для дополнительной аргументации каких-то действий, уже совершенных или предполагающихся, для эмоционализации жанрово однообразной риторики; может быть, и для демонстрации эрудиции оратора и проч. Тем не менее (или тем более), фрагменты морально-этического толка весьма значимы и в отношении вероятно прогнозируемого общественного резонанса, и в качестве предмета многаспектного изучения.

Рассмотрим такие феномены на материале некоторых публичных выступлений В. В. Путина; это Послания президента Федеральному собранию РФ 2012, 2013 и 2014 гг. (источники – соответственно [Послание Президента… 2012; Послание Президента… 2013; Послание Президента… 2014]).

Предварительно необходимо учесть следующие обстоятельства.

По-видимому, любому государству необходим некий набор фундаментальных ценностей, способный выполнять одновременно несколько функций, весьма значимых для социума и его членов. Это регулирование межличностных отношений и отношений между общественными макро- и микрогруппами; установление ориентиров, которых необходимо придерживаться хотя бы для выживания социума, и обозначение целей, достойных достижения не только индивидуумом, но и всем обществом: в конечном счете – это четкая, проверенная историческим опытом система ограничений и самоограничений, насущно важных для человека, желающего ощущать себя собственно человеком (и, конечно, воспитываемого соответствующим образом). При этом, несомненно, устанавливается и водораздел между «своим» («хорошим») и «чужим» («плохим»), то есть граница, которая радикально указывает приемлемое и одобряемое, с одной стороны, а с другой – препятствует проникновению враждебного и пагубного для данной социокультурной модели не только в материальной, но прежде всего в духовной сфере бытия.

Вполне закономерно, что такие аксиологические системы строятся в первую очередь на наиболее авторитетной базе, то есть религии (например, ветхозаветные заповеди [Исход, 20] или постулаты Нагорной проповеди [Матфей, 5] и под.), либо же на подчеркнуто атеистических основаниях (как моральный кодекс строителя коммунизма – хотя и в этом случае можно говорить о фактически чуть ли не аналогичном государственной традиционной религии статусе коммунистической идеологии, единой и единственной в Стране Советов).

Однако в качестве одного из фрагментов послеперестроечного процесса – логичного предшествия российских реформ – естественно была введена (правда, как гораздо позже признавали творцы и споспешники эпохальной «инновации», не вполне каноническими методами и приемами) новая конституция. Она провозглашает, в частности, что в России «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (см. преамбулу и ч. 2 ст. 13 Конституции РФ). Понятно, что этот постулат в немалой степени оказался результатом борьбы перестройщиков-реформаторов со столь ненавистной им коммунистической идеологией (посредством своекорыстного использования которой многие из них уже успели к тому времени получить существенные материальные

дивиденды и высокий социальный статус). Выяснилось, однако, что такой подход не только непродуктивен для общества в целом, но и лишает правящую элиту рычагов морального воздействия на подданных. По этим причинам время от времени инициируются то поиски мифических «общечеловеческих ценностей», то изобретения очередной модификации «национальной идеи», то активная популяризация (зачастую выходящая за конституционные рамки светского государства) традиционной религии, вроде бы освящающей своим благословением любые действия власть и капитал имущих (см. об этом, например: [Васильев 2013: 133–201; 354–355 и др.]).

Поэтому небезынтересно обратиться к возможным манифестациям предлагаемой обществу аксиологической шкалы в выступлениях высшего государственного руководителя.

1. Послание-2012. По-видимому, наиболее сконцентрированно важность наличия у социума «своих» установок выражена в следующем пассаже оратора: «<…> В начале XXI века мы [Россия] столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, всё и так развалится само по себе». Тематически сюда примыкают такие тезисы: «Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация» (о смысле, вкладываемом сегодня в слово *нация* в российском официозе, см. [Васильев 2013: 321–358]). – «<…> Работа каждого на себя имеет и свои пределы <…>. Нельзя достичь благополучия, если за порогом твоего дома разруха <…>. Нельзя прожить особняком, не помогая слабым <…>». – «В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип российской государственности [точнее, преамбула конституции гласит: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации <…>, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями…»* – А. В.]. Именно в гражданской от-

* Ср. интересное (и, конечно же, случайное) подобие реминисценции: в конституции совсем другого государства сказано: «Мы, народ Соединенных Штатов, с целью образовать совершенный Союз...» [Хрестоматия 2004: 191].

ветственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики». – «Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории <…> а прежде всего служить обществу и стране». – «Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создается прочная моральная основа для создания, для утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально ориентированного сознания». – «<…> В предыдущие 15-20 лет <…> были отброшены все идеологические штампы прежней эпохи. Но <…> тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры» [без последнего достижения вряд ли можно было бы проводить деструктивные реформы, присваивать госсобственность, вскармливать олигархат, атомизировать социум, безнаказанно разорять и грабить массы людей и проч. – А. В.]. – «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи <…>». – «Мы должны <…> укреплять прочную [зачем «укреплять прочную»? – А. В.] духовно-нравственную основу общества». – «Государству <…> обеспечить гарантии гражданских прав и справедливость, снизить уровень <…> социального неравенства…». – «<…> Моральный авторитет государства – это базовое условие развития России».

В приведенных цитатах можно выделить следующие микроконтексты: констатация утраты жизненно важных ценностных ориентиров в последние два десятилетия российской истории (хотя и не сказано, кем и в чьих интересах инициировались и стимулировались эти процессы) и необходимость для социума нравственных установок, согласно которым «сильные» (видимо, люди денег и власти) будут помогать «слабым» (то есть обездоленным «сильными»); призыв к поддержанию идентичности России (без дешифровки понятийного наполнения термина *идентичность*) и консолидации социума (радикально разобщенного по статусно-материальному критерию). «Общенародная» же ответственность, если руководствоваться обыденной логикой, должна быть чётко дифференцирована в зависимости от властных потенций конкретных лиц и их групп. Примечательно, что в данном тексте дважды фигурирует слово *справедливость*, казалось бы, прочно исключенное из реформаторской пропаганды и официоза.

Однако небезынтересно, в каких именно контекстах оно выступает. Во-первых, оказывается, что наличие справедливости всецело зависит от образа (точнее – имиджа) власти (см. об этом: [Васильев 2007; 2013: 447–459]) и декларируемого модуса её поведения, ср.: «Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создается прочная моральная основа для <…> утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и *справедливости* <…>» – и: «<…> Именно государству сегодня адресованы основные общественные запросы: обеспечить гарантии гражданских прав и *справедливость* <…>». Во-вторых, обнаруживается высокий манипулятивный потенциал слова *справедливость*: «<…> Нам нельзя пока отказываться от так называемой плоской ставки [подоходного налога]. Прогрессивка, как бы она внешне [!] ни смотрелась социально справедливой, но она этой *справедливости* не обеспечит <…>. Будет уход от налогов [который благополучно имеет место и сегодня, равно как и оффшорные операции – А. В.] <…>. А значит, у нас возникнут дефициты по поводу финансирования армии, пенсий, бюджетной сферы. Вот вам и *социальная справедливость*».

В связи с последним высказыванием надо заметить, что в цитируемом тексте довольно много того, что следовало бы квалифицировать как проявление некогерентности либо как весьма относительного представления о реальной действительности. В частности, это лозунг о создании и модернизации к 2020 г. 25 миллионов рабочих мест (действительно «амбициозный» в исконном смысле этого слова [Васильев 2010]), причем с обеспечением «хорошей и интересной работой»; это поддержка идеи внеполитических ассоциаций студенческих спортивных клубов как «социального лифта для талантливой, целеустремленной и активной молодежи» (видимо, других «социальных лифтов» для плебса не предвидится); это воодушевляющая информация о росте числа талантливых абитуриентов педагогических вузов – при отсутствии упоминания об уже произошедшей или готовящейся ликвидации вузов данного профиля; это не основанное ни на какой широко известной статистике интересное утверждение, что «подавляющее большинство людей, которые работают в различных структурах [т. е. чиновники], это люди порядоч-

ные и ответственные*»; это обещание очередного этапа приватизации «на честной, открытой продаже госсобственности по справедливой, реальной цене» и она «не должна иметь ничего общего <…> с практикой 90-х годов» (однако если тогдашние залоговые аукционы не были честными, то почему их результаты до сих пор не пересмотрены – из-за «социальной справедливости»?) и т. п. Напомним, что, согласно действующей конституции, «Российская Федерация – социальное государство» (ст. 7): эта диффузная формулировка никоим образом не сопрягается с реальной действительностью.

В общем, если «базовое условие развития России» – это «моральный авторитет государства», то за счет лишь подобных деклараций он вряд ли скоро достижим (равно как и за счет преподавания религии в государственных школах) в сколько-нибудь обозримом будущем.

2. Послание-2013. В данном тексте, изначально тематически приуроченном к двадцатилетию действующей конституции и, соответственно, Федерального собрания, морально-этическая проблематика занимает относительно незначительное место.

Сюда принадлежит, например, фрагмент, посвященный «межэтническому напряжению», которое, оказывается, «провоцируют не представители каких-то народов, а люди, лишенные культуры, уважения к традициям, как своим, так и чужим. Это своего рода аморальный интернационал, в который входят и распоясавшиеся, обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые «крышуют» этническую мафию, и так называемые «русские националисты», разного рода сепаратисты, готовые любую бытовую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой бузы». Почему-то не предпринимается попыток указать наиболее вероятные причины, благодаря которым возникла описанная ситуация, а следовательно, и исправить её.

Гораздо более объёмен и значим, на наш взгляд, эпизод выступления, выражающий позицию государства по поводу импортируемых

* Ср. якобы либеральное суждение литературного персонажа, который «о собственности сказал, что область её “в настоящее время” слишком сужена, что надо расширить её пределы, допустив приток свежих элементов, хотя бы, например, казнокрадства» [Салтыков-Щедрин 1976: 399].

этических установок и определяемых ими моделей поведения (т. е. «чужих»). Здесь весьма чётко выражено и их оправданное неприятие, и совершенно логичное объяснение «консервативной позиции» России, которая, «с её великой историей и культурой, с многовековым опытом не так называемой толерантности, бесполой и бесплодной, а именно совместной, органичной жизни разных народов в рамках одного единого государства. Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются национальные традиции и различия наций и культур. От общества теперь требуют <…> обязательного признания равноценности <…> добра и зла, противоположных по смыслу понятий. Подобное разрушение традиционных ценностей «сверху» <…> в корне антидемократично, поскольку проводится <…> вопреки воле народного большинства, которое не принимает происходящей перемены и предлагаемой ревизии» (о *толерантности* см., например [Васильев 2013: 231–295]).

Далее следует подчеркнутое противопоставление навязываемому извне «чужому» исторически испытанного «своего»: «<…> В мире всё больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите *традиционных ценностей*, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира».

3. Послание-2014. Сферы, которые затрагиваются здесь в морально-этическом аспекте, могут быть условно дифференцированы на две группы: а) международная деятельность российского государства; б) внутриполитическая ситуация в стране.

а) В этой группе присутствуют прежде всего именования (иногда – ироничные и перифрастические) руководителей стран Запада: «А как изначально складывался наш диалог с американскими и европейскими *партнёрами* по этой теме [Украине]? Не случайно упомянул наших американских *друзей*, так как они впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать: с правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами». «<…> Что-то не вижу, что наши западные *коллеги* горят желанием это делать [т. е. оказать помощь экономике Укра-

ины]». – «<…> Чем больше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши *оппоненты* наглеют и ведут себя всё более цинично и агрессивно». – «<…> Мы рассматривали <…> наших *вчерашних противников как близких друзей и почти союзников* [в 1990-х и в начале 2000-х годов]». – «Мы хорошо помним, кто и как в тот период практически в открытую поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой террор». – «<…> Нас [Россию] с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения <…>. Не вышло. Мы не позволили. Так же, как не вышло у Гитлера <…>. Надо бы всем помнить, чем это заканчивается». Для многих (а пока, может быть, и очень многих) граждан России содержащееся в последней цитате упоминание Гитлера и сравнение попыток сегодняшних западных руководителей с деяниями этого персонажа несомненно предельно инвективны и должны были вызвать у аудитории (или большей её части – с учетом взглядов нынешней российской «внесистемной» оппозиции) совершенно точно прогнозируемый резонанс. Иначе говоря, западные политики представлены как безусловно «чужие».

Следует заметить, что номинации представителей Запада исторически недавно действительно вербализовались словами *друг* и *друзья* – достаточно вспомнить, как прочувствованно об этом высказывался Ельцин: «мой *друг* Билл…»; «мой *друг* Гельмут…» и проч., подразумевая, по-видимому, что факт личной дружбы между государственными руководителями (или же того, что первый президент России принимал за дружбу – что, впрочем, вероятно, распространено среди индивидуумов в определенном психофизиологическом состоянии) автоматически означает и дружбу между государствами.

Совершенно обоснованно следующее суждение оратора: «Политика сдерживания придумана не вчера. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы – всегда, можно сказать, десятилетиями, если не столетиями. Словом, всякий раз, когда кто-то считает, что Россия стала слишком сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно» – см. [Молчанов 1984: 162; 224–225 и др.]; [Васильев 2013: 202–230].

Гораздо менее частотны в рассматриваемом тексте упоминания о тех, кого условно можно отнести к группе «свои»: «Наша цель – приобрести как можно больше *равноправных партнеров* – как на Западе, так и на Востоке <…>. Хорошо известны и лидеры, локомотивы

глобального экономического развития. Среди них немало *наших искренних друзей и стратегических партнеров*».

Ср. интересный комментарий современного писателя: «<…> Все новейшие разработки <…> очень скоро становились известны *нашим геополитическим партнерам* (так теперь называют, чтобы не сглазить, *вероятного противника*)» [Поляков 2010: 379].

В качестве первостепенно важных аксиологических ориентиров, способствующих грядущему процветанию страны («своих») приводятся следующие: «<…> Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание её законных интересов – вот наши приоритеты». Можно отметить, что залог счастливого завтра (или очередного «светлого будущего»?) страны обусловливается здесь аксиоматичным переплетением сугубо личностного – и общегосударственного планов. Кроме того, словосочетание *традиционные ценности*, кажется, уже ставшее привычным в устах цитируемого оратора, очевидно нуждается в дешифровке, которая здесь была бы чрезвычайно уместна.

В свете этого весьма интересна неоднократно затрагиваемая оратором актуальная тема внутреннего единства российского социума, что также можно трактовать как призыв к консолидации «своих» на основе общих для них (либо их подавляющего большинства) фундаментальных принципов – *традиционных ценностей*.

Напомним: цитируемое послание было оглашено непосредственно аудитории, в которую входили члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации – в общем, самые что ни на есть достойные представители российской «элиты».

Итак: «<…> Хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за *единение* и *солидарность* в судьбоносные моменты <…>. Мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, *спло-*

ченной нации». – «<…> Здесь [в Крыму] <…> находится духовный исток формирования многоликой, но *монолитной* русской нации…». – «<…> Христианство явилось мощной духовной *объединяющей* силой, которая позволила включить в формирование *единой* русской нации <…> самые разные по крови племена <…>. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя *единым* народом». – «Убежден, наше общество будет по-настоящему *единым*, если мы обеспечим равные возможности для всех [т. е. включая явное множество людей с заведомо ограниченными возможностями самореализации. – А. В.]». – «<…> Хотел бы обратиться к представителям всех политических партий, общественных сил. Рассчитываю на нашу совместную *консолидированную* работу. Интересы России требуют от нас именно такого *единства* <…>».

Предпоследняя из цитированных фраз несколько диссонирует в смысловом отношении предыдущим высказываниям о достигнутых единстве и сплоченности: они, оказывается, пока еще не «настоящие». В последней же фразе слово *единство* можно семантизировать лишь весьма ограниченно: как единство «элиты», но вовсе не народа в целом.

Отметим также, что единожды употребленное в этом тексте слово *справедливость* допустимо понимать более или менее адекватно лишь применительно к обстоятельствам воссоединения Крыма с Россией: «Россия на деле доказала, что способна защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и *справедливость*». Но это – так сказать, справедливость «на экспорт», то есть во внешнеполитической сфере деятельности государства.

Некоторые выводы

В рассмотренных нами текстах посланий В. В. Путина Федеральному собранию постоянно присутствуют вербальные выражения семиотической оппозиции «своё» / «чужое», что, конечно, вполне естественно для политического дискурса, тем более выступлений главы государства, знаменующих определенные этапы эволюции жизнедеятельности страны в целом и одновременно предлагающих некоторые перспективы её дальнейшего развития. При этом в хронологически различных текстах компоненты неизменно актуального противопоставления манифестируются по-разному.

В Послании-2012, где подчёркивается кардинальная важность для социума «своих» жизненных идеалов и ориентиров, в качестве таковых предлагаются национальная и духовная идентичность; забота об общественном благе, гражданская ответственность и патриотизм, выражающиеся в служении обществу и стране; милосердие, сочувствие, сострадание, поддержка и взаимопомощь, в общем – «духовные скрепы». Несколько обособленно выступает тезис об открытости власти (понятно, что он адресован не обществу в целом, а лишь его наиболее достойным членам, то есть представителям высших правящих кругов). Весьма симптоматичным для текста такого жанра можно было бы считать употребление слова *справедливость*, за годы реформ, казалось бы, решительно удаленное из российского официоза (см. об этом, например, [Поляков 2005: 184]). Однако оно используется в обоих случаях с явно манипулятивными целями: в первом – когда предписывается, что справедливость должна утверждаться именно властью (которая, надо полагать, сама и будет оценивать свои успехи в этом процессе); во втором – когда стремлением к справедливости объясняется решительный отказ от введения прогрессивной ставки подоходного налога (почему-то без постоянных ранее ссылок на опыт «цивилизованных государств», где такой подход к налогообложению существует уже очень давно и очевидно эффективен).

Следовательно, само слово *справедливость* можно интерпретировать по-разному – и вовсе не обязательно как вербальный символ обеспечения интересов социума в целом.

В Послании-2013 набор аксиологических ориентиров предлагается в основном, скорее, «от противного»: навязываемым извне (и, кстати, не через какие-нибудь «вражеские голоса», а именно российскими средствами массовой информации и их штатными либо факультативными речедеятелями) толерантным и мультикультурным установкам различных извращенцев; «чужим» противопоставлены некие «свои» *традиционные ценности*, однако недостаточно внятно и подробно детализируемые, а потому интерпретация их может быть довольно вариативной.

В Послании-2014 антитеза «своего» и «чужого» представлена весьма чётко, очевидно вследствие острой международной ситуации, поэтому словесные характеристики некоторых зарубежных го-

сударств и их действий по отношению к России почти предельно жестки и совершенно нелицеприятны. Неудивительно, что на этом фоне многократно повторен постулат о внутреннем *единстве* (или не завершенном пока *единении*?) социума – либо, может быть, только его «элиты». И здесь также фигурирует мало конкретизированное словосочетание *традиционные ценности*, по существу, уже превратившееся (превращенное) в устойчивый пропагандистско-риторический штамп, привычно воспринимаемый в качестве некоего вербального символа, якобы не нуждающегося в глубоком осмыслении.

Между тем, поиски «традиционных ценностей» и «духовных скреп» могли бы оказаться гораздо более продуктивными, если учитывать то непреложное обстоятельство, что «русская идея <…> есть самое общее, наиболее масштабное, качественно идеальное представление о счастье и жизни <…>. Выражение-понятие *русская идея* оставил писатель Федор Достоевский: «Чтобы всем хорошо было!» <…> А *справедливость* – основная идея русской ментальности» [Колесов 2004в: 77]. Впрочем, применительно к современному состоянию российского социума это очевидно сугубо идеально, то есть совершенно не связано с реалиями повседневного бытия.

Заметим также, что, хотя в советском прошлом довольно затруднительно отыскать абсолютно полные аналоги сегодняшним президентским посланиям (лишь очень приблизительно здесь можно назвать отчетные доклады генсека КПСС, впрочем, обращенные к аудитории совершенно иной по составу, нежели современная), но некоторые особенности, вроде определяемой самим жанром политического выступления его структуры или употребления вербальных символов, манифестирующих компоненты оппозиции «своё» / «чужое», очевидно устойчивы.

3. *Свои* и *чужие* в контексте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» (2014)

Введение новых фактических источников, особенно жанрово оригинальных, в научно-лингвистический оборот неизменно актуально. Это позволяет, во-первых, обогатить наши представления о возможностях и ситуативно обусловленных особенностях употребления языковых ресурсов , во-вторых, способствует дальнейшему

развитию теории речевой коммуникации, сообщая ему необходимые импульсы.

На протяжении последних примерно двух десятилетий для отечественных лингвистов такими благодатными источниками стали тексты политических выступлений – и прежде всего, конечно, выступлений государственных руководителей и их присных – либо выступлений представителей так называемой оппозиции. Заметим, кстати, что сколько-нибудь реальной оппозиции сегодняшней власти в России не существует, по крайней мере, уже лет двадцать. Парламентская «оппозиция» играет по преимуществу декоративную роль, выступая формальным признаком демократии; а для тех, кто декларирует себя как «внесистемная оппозиция», главной целью являются вовсе не радикальные изменения сложившихся реалий в интересах большинства граждан, но прежде всего личный своекорыстный прорыв к рычагам управления страной, – что, вероятно, диссонирует с абсолютным аскетизмом и бессребреничеством сегодняшних властей предержащих.

Тем больший интерес исследователей вызывают те тексты российских правителей, которые манифестируют некие аксиологические ориентиры для их подданных. Конечно, здесь следует сделать необходимые допущения о безусловной искренности адресантов, поскольку из политической и политтехнологической классики хорошо известно: «Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако <…> надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить» [Макиавелли 1993: 291].

Предположим, однако, что высокопоставленные речедеятели непоколебимо верят сами в то, что они транслируют населению.

Ведь и акты их невербального поведения – это тоже часть политической активности, точнее – формирование желательного имиджа не только для электората, но и, так сказать, «на экспорт» (публичная рыбная ловля, управление ракетоносцем, поездка на мотоцикле, выпивание кружки пива, развод с женой и проч.). Однако вербальный акт несет на себе неимоверно бóльшую нагрузку в силу имманентной специфики слова (см.[Васильев 2013: 18–26; 2010]).

Если вообще разнообразие речевых жанров считают обширным (см. об этом [Бахтин 1986а: 271]), то столь же очевиден значительный диапазон жанров политкоммуникативной направленности, каждый из которых обладает более или менее стереотипными вербальными воплощениями, определяемыми ситуациями и целями общения, интенциями и ролями их участников и проч. Конечно, эта область давно уже не исчерпывается традиционными прямолинейными агитацией и пропагандой и соответствующими им по внешнему облику текстами, но, вследствие развития средств массовой информации и усилий политтехнологов, обогащается за счет внедрения новых видов и способов манифестации идей, взглядов, позиций, представляющихся адресанту (либо представляемых им) наиболее перспективными для управляемого социума. В поисках повышения манипулятивного эффекта коммуникативных актов руководителя был изобретен относительно новый для русскоязычной речевой практики жанр – так называемая «прямая линия», проводимая посредством телевидения.

Сто́ит заметить, что эта новация (как сегодня принято выражаться) заметно отличается от ранее хорошо известных и устоявшихся жанров интервью, пресс-конференции и подобных диалогов (либо их умелых имитаций).

О специфике диалогического общения специалистами сказано уже немало. Вспомним суждения лишь некоторых авторов. Например: «Как форма речи акт высказывания противопоставляет две «фигуры», равно необходимых, одну – как источник, другую – как цель высказывания. Такова структура *диалога*. Две фигуры в положении партнеров выступают попеременно действующими лицами акта высказывания» [Бенвенист 1973: 316]. – «…Слушающий, воспринимая и понимая значение (языковое) речи, одновременно занимает по отношению к ней активную ответную позицию <…>. Всякое понимание чревато ответом и в той или иной форме обязательно его порождает: слушающий становится говорящим <…>. Каждое высказывание – это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний <…>. Говорящий кончает свое высказывание, чтобы передать слово другому или дать место его активному пониманию <…>. Диалог по своей простоте и чёткости – классическая форма речевого общения » [Бахтин 1986а: 260; 261; 263; 264].

Кроме того, «диалог подразумевает асимметрию, асимметрия же выражается, во-первых, в различии семантической структуры <…> участников диалога и, во-вторых, в попеременной направленности сообщений <…>. …Участники диалога попеременно переходят с позиции «передачи» на позицию «приёма» <…>… Необходимо еще одно условие: взаимная заинтересованность участников ситуации в сообщении и способность преодолеть неизбежные семиотические барьеры <…>. Диалогическая ситуация предшествует реальному диалогу» [Лотман 1996: 193]. Замечено также, что при любой коммуникации (следовательно, и при диалоге в первую очередь) «каждый из её участников регулирует свое поведение также и по противоповедению партнера, возможно, и не осознавая этого, ибо оба они широко подвержены влиянию контекста, в котором данное взаимодействие происходит» [Комлев 2003: 176] и пр.

Следует сказать и о том, что, по мнению некоторых лингвистов, в настоящее время в России происходит «постепенная замена господствовавшей многие десятилетия коммуникативной парадигмы монологического типа на коммуникативную парадигму диалогического типа» [Кощей, Чувакин 2006: 137].

Таким образом, жанр «прямая линия» вроде бы укладывается в рамки традиционного диалога, будучи при этом подчиненным сегодняшней тенденции к обретению им приоритетной позиции в иерархии коммуникативных парадигм. А это в значительной мере объясняет актуализацию новообретенного жанра.

С другой же стороны, «прямая линия» как одно из возможных воплощений диалога и его структуры несомненно обладает собственной спецификой (по крайней мере, в модификации российского телевидения, поскольку хорошо известно, что многие его продукты, вроде ток-шоу – «болтовни напоказ», сериалов и проч., являются не чем иным, как адаптированными к местным условиям оригинальными творениями зарубежных масс-медиа, а нередко и изготавливаются с их непосредственным участием).

Говоря о функционально-манипулятивной сущности российской «прямой линии», необходимо отметить те её черты, которые очевидно призваны способствовать повышению пропагандистского эффекта – и здесь, конечно, невозможно обойтись без слова *якобы*.

Итак, в «прямой линии» может участвовать якобы любой желающий; имеет место по большей части якобы непосредственный вербальный (а иногда и визуальный) контакт с персонифицированной высшей властью; якобы не ограничен тематический диапазон вопросов; обнаруживается якобы глубочайшая осведомленность главного участника шоу буквально обо всём – зачастую с приведением малоизвестных статистических данных; якобы проявляется задушевное внимание власти к повседневным заботам рядовых граждан; символизируется якобы явное торжество демократии; якобы происходит демонстрация вышеперечисленного всему миру.

Однако же в действительности «прямая линия» – лишь имитация, иллюзия полноценного диалога с властителем. Априорно понятно, что задаваемые гражданами вопросы тщательно отбираются и снабжаются заранее подготовленными ответами; адресанты старательно фильтруются (а вдруг кто-то спросит что-нибудь «не то»?); многочисленный штат координаторов и модераторов внимательно следят за установленной заранее очередностью вопросов. В результате получается добросовестно подготовленный спектакль, продуманный экспромт, по форме представляющий собой комбинацию жанров интервью, пресс-конференции и ток-шоу. Впрочем, можно предположить, что на значительную часть аудитории этот телевизионный продукт производит прогнозируемый эффект, тем более, что от года к году всё заметнее трансформируется в некое подобие эстрадной развлекательной программы.

Фактическим материалом послужил текст диалогической «Прямой линии с Владимиром Путиным» 17.04.14 (источник: [сайт Президента России http://www.kremlin.ru/news/20796]). В данном случае предметом анализа являются относительно небольшие по объему фрагменты, а именно те, в которых наиболее наглядно реализуются компоненты семиотической оппозиции «свой» / «чужой», которые, как показывает исторический опыт, способны обрести в политической полемике совершенно буквальные и недвусмысленные воплощения.

1. Предваряя анализ микродиалога между находившейся в студии И. Хакамадой и В. Путиным, следует учесть краткую характеристику, данную первой из них ведущей прямого эфира Т. Столяровой:

«…Среди россиян, тех, кто высказался против позиции России в Крыму, их абсолютное меньшинство <…> …Среди этих людей есть известные, есть политики, есть музыканты и актеры <…> … У нас в студии гость Ирина Хакамада».

И. Хакамада: «<…> Нам надо как-то с информационной войной заканчивать. Нельзя так натравливать на людей, которые пытаются интеллигентно оппонировать Вам, все эти штампы <…> …Вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию [в Крыму] без единого выстрела <…>. Вы пошли дальше на компромисс как победитель <…>. «Таймс» Вас назвала самым влиятельным политиком в мире <…>. Я считаю, что от Вас – именно от России – сегодня зависит всё <…>. Вопрос у меня к Вам следующий <…>. Европа никогда не решала никакие вопросы. <…> Основной диалог – между нами и Америкой <…>. Есть компромисс – регионализация Украины <…>. Как Вы думаете, может ли Россия предложить такой вариант, при котором этот компромисс между Вами и Америкой будет найден <…>?».

В. Путин: «Может ли быть найден по украинскому вопросу компромисс между США и Россией? Компромисс должен быть найден не между третьими игроками, а между различными политическими силами внутри само́й Украины <…>. Со стороны мы можем это только поддерживать и сопровождать <…>. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока Украины <…> – это всё территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством <…>. Вопрос в гарантиях для этих людей <…>. Вот нам нужно побудить их к тому, чтобы на Украине было найдено решение вопроса, где гарантии <…>».

Весьма многословный вопрос И. Хакамады, по существу, подразделяется на несколько микротем. Во-первых, это призыв к окончанию некоей «информационной войны», с точки зрения адресанта, ведущейся кем-то неназванным против «людей, которые пытаются интеллигентно оппонировать» президенту. Во-вторых – букет комплиментов триумфатору В. Путину, которого И. Хакамада отождествляет со всей Россией в целом; в-третьих – отказ признать за Европой сколько-нибудь существенную роль в событиях на между-

народной арене; наконец, в-четвертых, собственно вопрос, а точнее, призыв к поискам компромисса между Россией и США по украинской проблеме.

В свою очередь, ответ В. Путина (несколько менее объемный, нежели вопрос И. Хакамады) совершенно игнорирует и наличие «информационной войны», и горестную участь её невинных жертв – «интеллигентных оппонентов» власти; оставлены без внимания и пышные дифирамбы в адрес президента со стороны «бывшего политика со своим политическим ощущением» (как квалифицирует собственный статус Хакамада). Президент недвусмысленно дает понять, что события на востоке Украины (а эта «Новороссия», как упоминает В. Путин в краткой исторической отсылке, возникла еще в «царские времена» и появилась в составе Украины в результате малообъяснимых с позиции логики действий молодого советского правительства) – это внутреннее дело украинского государства, которое и должно гарантировать законное равноправие своих русских и русскоязычных граждан.

2. Ирина Прохорова представлена в студии К. Клейменовым как «еще одна женщина с яркой позицией», а его коллегой В. Кораблёвой – как «Ирина Дмитриевна Прохорова – лидер партии «Гражданская платформа», главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», хотя гораздо проще и лаконичнее было бы сказать, что она родная сестра олигарха М. Прохорова.

Можно считать формально, что ключевым словом в её пространном вопросе выступает слово *культура*, употребленное семь раз (и ещё – производное *культурный*). Однако суть вопроса И. Прохоровой, как следует из внимательного прочтения этого высказывания, безусловно заключается вовсе не в декларируемой ею трепетной заботе о тревожных судьбах «многонациональной яркой культуры», а совсем в ином.

Здесь (опять же) трижды присутствуют упоминания о «крымских событиях», но это только удобная для адресанта стартовая позиция. Главные же интенции заключаются в том, что (якобы) лишь в связи с Крымом «неуклонно сокращается бюджет на поддержку культуры и образования», но еще важнее (или даже страшнее) то, что «начинаются гонения на деятелей культуры, которые выража-

ют несколько другую позицию. Начинаются какие-то гонения на современное искусство, которое начинают обвинять во всех мыслимых и немыслимых грехах. Разрабатывается законодательство, которое фактически низводит культуру до служанки идеологии <…>. Это всегда было страшным ударом не только для культуры и образования, это было очень печально для общества». Более того, оказывается, в сегодняшней России существует некий «внутренний раскол, который вносит само общество, что людям, высказывающим какие-то другие позиции <…>, отказывается в звании патриота, людей, думающих о стране, – мне кажется глубоко несправедливо <…>. Это внутреннее ожесточение, которое в обществе возникает <…>, очень часто подпитывается высказываниями политиков некоторых <…>, не лишится ли таким образом Россия статуса великой культурной державы?».

В ответе В. Путина говорится, в частности, о том, что он не чувствует «какого-то особого накала даже в связи с событиями в Крыму и Севастополе. Да, есть борьба мотивов, борьба точек зрения, но их же никто не мешает высказывать, за это же не хватают, не сажают, не упекают никуда в лагеря <…>. Люди, которые высказывают свою точку зрения, <…> слава богу, живы, здоровы, занимаются своей профессиональной деятельностью <…>. То, что они встречают отпор – <…> вы знаете, у нас часть интеллигенции не привыкла просто к этому. Некоторые люди считают, что́ они говорят, – это истина в последней инстанции, <…> и, когда они что-то видят в ответ и слышат в ответ, это вызывает такую бурную эмоциональную реакцию <…>. Некоторые желают поражения даже своей стране, думают, что так будет лучше <…>. Но мы ни в коем случае не должны скатиться в какие-то крайние формы борьбы, <…> шельмовать людей за их позицию <…>. Я постараюсь сделать всё, чтобы этого не было».

По поводу вопроса И. Прохоровой следует заметить прежде всего, что в нем совершенно отсутствуют какие-либо конкретные примеры «гонений на деятелей культуры». Единственное имя, которое здесь упомянуто, – это Жерар Депардье, сделавший, оказывается, потрясающее открытие, «называя [Россию] страной великой культуры», как будто это ранее было никому не известно. Говорится

также о «каких-то гонениях на современное искусство» – и опять же не приводится примеров фантомных «гонений». Конечно же, то, что И. Прохорова считает современное российское искусство (а вовсе, скажем, не классические произведения былых времен) неким эталоном – это вопрос её личного вкуса, а его вовсе не обязательно навязывать всему обществу. Собственно, об этом сказал В. Путин, отвечая на вопрос. В этом же русле – суждения о якобы существующем «внутреннем расколе» («который вносит само общество»), «внутреннем ожесточении, которое в обществе возникает», вряд ли являются констатацией объективной реальности. Это, скорее, плод чрезмерно политизированного и экзальтированного воображения Прохоровой.

Что же касается тезиса о незамедлительном превращении «культуры в служанку идеологии», то весьма сомнительно, чтобы между этими феноменами социального бытия возможно было бы провести абсолютно чёткий водораздел.

Ответ В. Путина не оставляет сомнений: ему удалось точно определить вектор устремлений И. Прохоровой. Совсем не случайно в этом ответе отсутствует слово *культура*. Очень сдержанно сказано о том, что некоторые сограждане пытаются выступать в роли оракулов, для которых имеется единственное правильное мнение, то есть свое, а любое другое не имеет никакого права на существование. Такая большевистская по жесткой неуклонности и самоуверенности позиция хорошо известна и по совсем недавнему прошлому: «…Последние годы перестройки показывают, что именно радикалы зачастую лишают своих оппонентов права на «инакомыслие», а жесткие возгласы с пеной у рта на иных ультраперестроечных митингах слишком похожи на уже известный человечеству призыв толпы: «Распни его!» [Горбаневский 1991: 186].

3. Вопрос К. Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты», и по форме, и по объему текста также представляет собой довольно развернутое выступление. Кратко оно может быть передано так: «Я принадлежу к той группе россиян <…>, которые считают, что нормальные отношения с Западом выгодны и России, и гражданам <…>. Произошла такая поляризация в обществе, в том числе и по крымскому вопросу: «свой – чужой», «наш – не

наш», «черное – белое», «патриот – либерал» <…>. Есть ощущение сужающегося пространства. К СМИ относятся как чуть ли не к самому главному источнику бед <…>. Отключают телеканалы, потому что не нравится, допустим, тональность <…>. Вы и сейчас сказали <…> про большинство, ориентироваться на большинство, но <…> XXI век – это век качественной дискуссии, это не просто взять нахрапом, большинством, улюлюканием, а содержательно разобраться». Собственно вопрос цитируемого персонажа таков: «… Вам как Президенту страны обязательно нужен такой общенародный консенсус для того, чтобы Вы проводили свою политику, или Вам нужно большинство, чтобы Вы проводили свою линию, давая дышать и жить другим, в том числе и альтернативным жанрам СМИ?»

В ответе В. Путина говорится буквально следующее: «Мы будем ориентироваться на мнение большинства и строить свою политику, исходя из их интересов, но, конечно, мы должны слышать и любую другую точку зрения, даже если она представлена меньшинством <…>. Мы хотим хороших отношений [с Западом], но мы просто не можем позволить, чтобы кто-то всегда спекулировал на том, что мы за это хорошее отношение к нам постоянно должны уступать свои интересы, постоянно отодвигаться – отодвигаться <…>. Но это же невозможно <…>, и в данном случае нас подогнали к какой-то черте, за которую мы уже не могли отступить…».

Как видим, К. Ремчуков продолжает выступления И. Хакамады, которая говорила о какой-то «информационной войне» против людей, которые пытаются «интеллигентно оппонировать» президенту (кстати, отсюда вытекает, что не разделяющие их взгляды попросту не интеллигентны), и И. Прохоровой, по мнению которой в России обнаруживаются «внутренний раскол» и «внутреннее ожесточение». В формулировке Ремчукова – «произошла поляризация в обществе», что здесь же кратко выражено универсальной семиотической оппозицией «свой – чужой». За исключением этой декларации общий смысл вопроса данного речедеятеля не вполне прозрачен. Президент, отвечая на буквально предыдущий вопрос, заданный другим участником программы по поводу либеральной оппозиции, уже чётко объяснил: «Мы должны, конечно, ориентироваться на

мнение большинства и исходя из этого мнения принимать решения <…> но никогда не забывать про мнение тех людей, которые остаются в меньшинстве». Кроме того, упомянутый Ремчуковым «общенародный консенсус» представляется достижимым лишь в таком государстве, которое в пропагандистской риторике, являющейся важнейшим компонентом подлинной, а не мнимой информационной войны, именуется «тоталитаристским». Однако, по-видимому, с точки зрения оратора, этот «консенсус» должен базироваться на пропагандируемых им и его сторонниками позициях. Напомним, кстати, что именно Ремчукову принадлежит следующее пафосное высказывание: «А я на классовую ненависть плевать хотел!» [Неделя. RenTV. 17.02.07]. Вероятно, его интересовало совсем другое, а именно – пределы безнаказанности «альтернативных» СМИ (в первую очередь, конечно, – его газеты). Остальной же словесный поток был призван сыграть лишь роль некоего «упаковочного материала» [Щерба 1957: 32].

4. Наконец, очень интересен во многих отношениях ответ В. Путина на вопрос Е. А. Щербонос, отобранный им самолично: «<…> Что для Вас есть русский человек, русский народ? <…> Его плюсы и минусы, сильные и слабые стороны?». Ответ: «<…> Если люди пользуются одним языком, живут в рамках единого государства, проживают на одной территории, у них общие культурные ценности, у них общая история <…>, они живут в рамках какой-то территории с определённым климатом, – ну не может не быть каких-то общих черт <…>. Наш генный код <…> почти наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. Мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. Что же всё-таки в основе наших особенностей? <…> В их основе, на мой взгляд, лежат ценностные ориентиры <…>. Русский человек <…> прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало <…>. Русский человек <…> развернут вовне <…>. В этом и есть глубокие корни нашего патриотизма <…>. Отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов, <…> и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности. Конечно,

мы менее прагматичны, менее расчётливы, чем представители других народов, но зато мы пошире душой <…>. Мы пощедрее душой <…>. Нам, безусловно, есть что взять у других народов ценного и полезного, но мы всегда, сотнями лет опирались на свои ценности, они нас никогда не подводили, и они нам ещё пригодятся».

Отметим, во-первых, что в начале ответа В. Путин, по существу, дает несколько видоизмененное традиционное определение нации. Ср.: «**нация** – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, характеризуемая общностью языка, территории, экономической жизни и психического склада (проявляющегося в общности культуры)» [БАС$_1$ 1958, 7: 646]. Во-вторых, предпринимается попытка краткой, но ёмкой характеристики русского менталитета, особых ценностных ориентиров. Причём упомянутые ценностные ориентиры вовсе не сводятся к каким-то религиозным (об этом, как ни странно для сегодняшней российской внутриполитической риторики, здесь вообще не говорится) – это, скорее, воззвание к некоему высшему нравственному императиву. Справедливо, что из обращенности русского человека «вовне» выводятся такие этические константы, как товарищество («чувство локтя»), семейные ценности и, конечно, щедрость русской души. В-третьих, при признании того, что нам есть что позаимствовать полезного у других народов, подчеркивается всё-таки непреходящая моральная значимость «своего», которая, по мнению президента, останется высокой и в обозримом будущем. Очевидно, что В. Путин совершенно преднамеренно поставил в финальную часть «прямой линии» именно этот вопрос («совсем философский»), поскольку ответ на него явился достойным завершением данного речекоммуникативного акта, некоей вполне логичной и к тому же безусловно резонансной кодой.

Некоторые выводы

1. Можно отметить чрезвычайную активность, даже напористость («нахрап», по их собственному выражению) представителей так называемой «внесистемной оппозиции», позиционирующей себя в статусе страстотерпцев и великомучеников: известно, что в отечественной традиции издавна укрепилось благостное от-

ношение к любым и по любому поводу пострадавшим от власти как к невинным жертвам. Так, в XIX в. в Сибири ссыльно-каторжных уголовников именовали «несчастными». Ср.: «К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного» [Гоголь 1952: 115]. Понятно, что эти оппозиционеры стремятся к созданию для себя подобного имиджа и, таким образом, к повышению своего рейтинга в российском обществе, несмотря на явно мифический характер «гонений» на них.

2. Однако В. Путин, по существу, указывает такой оппозиции, что её приверженцы находятся в абсолютном меньшинстве, а это немаловажно даже и для российской демократии: «небольшая группа революционеров, и они бесконечно далеки от народа, как говорили классики» (квазицитата, прототекст которой относится к декабристам: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» [Ленин 1976е: 105]) и неоднократно и терпеливо объясняет, что, несмотря на определенный учет мнения меньшинства, при принятии решений он несомненно будет руководствоваться именно мнением большинства.

3. Граница между «своим» и «чужим» проведена совершенно отчетливо, и В. Путин даёт понять аудитории, что сам он является безусловным сторонником «своего» и настойчиво рекомендует придерживаться традиционных отечественных ценностей и ориентиров не только сегодня, но и в отдаленной исторической перспективе.

4. Небезынтересно упоминание о глубокой социальной дифференциации, содержащееся в ответе на предложение: «Если Вы публично, как в Китае, расстреляете хотя бы 350 крупных воров, тогда весь народ будет с Вами». – «<…> Я специально его [вопрос] <…> прочитал, чтобы чиновники разных уровней видели настроение народа». Таким образом, во-первых, чиновничество отграничивается от основной массы населения, именуемого «народом», и противопоставляется ему; во-вторых, признаётся широкая коррумпированность российской бюрократии как правящего класса.

5. Президент показывает себя опытным и умелым полемистом. Правда, в его ответах встречаются и некоторые неточности. Например: «Железный занавес» – это советское изобретение, это

внутреннее событие, мы свою страну и свой народ, свое общество ни от кого закрывать не собираемся» – однако ср.: «<…> Широкую известность выражение приобрело после Фултонской речи Черчилля 5 марта 1946 года, которую нередко считают началом «холодной войны»: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес» [Душенко 2006: 520–521]. Впрочем, такие оплошности можно отнести и на счет недостаточной эрудированности референтов, участвовавших в подготовке ответов.

4. Представление базовых ценностей в политическом тексте

Тексты политической тематики предоставляют лингвистам обширный фактический материал для проведения разноплановых исследований. При всей своей многоаспектности они заметным образом отличаются от штудий, производимых, например, политологами (представляется, кстати, что количество последних неизмеримо больше, нежели политлингвистов, по крайней мере, если судить об этом соотношении по удельному весу выступлений специалистов соответствующего профиля в средствах массовой информации). Эти отличия предопределяются прежде всего само́й сущностью научно-лингвистического инструментария и конечными целями политлингвистического анализа. А они в совокупности таковы, что не позволяют возводить безбрежно гипотетичные предположения, но детерминируются фундаментальной данностью исходной фактологии, то есть использованного в конкретном тексте или некоем наборе текстов (объединенных, например, общим авторством, жанром, адресатом и прочими подобными признаками) ограниченного множества языковых единиц. Это, в свою очередь, дает возможность делать достаточно обоснованные суждения как об интенциях адресанта (хотя и здесь возможны естественные допущения – скажем, особенно если адресант не манифестирует свои интенции непосредственно), так и о вероятной эффективности его высказываний. Кроме того, политлингвистика, в отличие от политологии, обычно

не занимается прогнозированием процессов политической жизни даже на ближайшую перспективу.

Разумеется, политические тексты могут быть дифференцированы по ряду критериев – допустим, ранжированы в зависимости от должностного положения их номинального творца. С этой точки зрения оказываются малосопоставимыми по своей значимости выступления главы администрации города – и президента государства. Априорно понятно, что публичные речевые акты главы страны как её высшего должностного лица призваны обрести наиболее широкомасштабный общественный резонанс.

Конечно, и президентские выступления являются «разноуровневыми» вследствие статуса аудитории. Вероятно, в таком ракурсе одну из высших (если не высшую) позицию занимает жанр, именуемый «Послание Президента РФ Федеральному собранию». По установившейся традиции, подобный текст содержит краткое подведение итогов деятельности за период, минувший с момента предыдущего послания, то есть примерно за календарный год, и установление ориентиров и векторов развития на год следующий. Поэтому понятно, что общественная роль такого текста теоретически чрезвычайно высока, а потому он (предположительно) привлекает широкое внимание; естественно, не составляют исключения и лингвисты.

Несколько забегая вперед, заметим, что последовавшие сразу после оглашения послания отзывы о нём представителей правящей «элиты» были откровенно дифирамбическими (как в кинофильме «Кин-дза-дза» – признания приближенных верховного правителя в безграничной любви к нему); вероятно, это стало публичным подтверждением нерушимой монолитности российской господствующей страты и очередным проявлением этического модуса ее повседневного поведения. Кроме того, известно: «Ничто так не возвышает дух обывателей, как вид гордящихся друг другом начальников!» [Салтыков-Щедрин 1976: 389].

Обратимся теперь к анализу Послания В. В. Путина Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г. (источник – http://kremlin.ru/events/president/news/53379), ограничиваясь лишь некоторыми его тематически связанными фрагментами.

Первый их них касается декларируемого единства, причем далеко не только «Единой России», но единства всенародного. Упоминания о нем содержатся в следующих эпизодах выступления: «Граждане объединились – и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам – вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения». «Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь <…>. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна». «Когда народ чувствует свою правоту, действует сплоченно, он уверенно идет по избранному пути».

Несомненно, тезисы о *единстве* и *сплоченности* вполне способны воодушевить *население* (см. [Васильев 2013: 296-320]), но лишь при одной небольшой оговорке: если оно не имеет ни малейшего представления о существующем в России глубочайшем социальном и материальном расслоении общества, когда очень незначительная в количественном отношении группа граждан имеет в своей собственности чрезвычайно высокий объём богатств. Если уж, как заявлено было в начале рассматриваемого послания, «речь не идет, конечно <…> о показном, фальшивом единении», то стоило бы это наконец признать публично; в данном же случае упомянутой «фальши» избежать явно не удалось.

Кроме декларируемого «единства», к концептуально важным элементам данного текста можно отнести *справедливость*: «Мы живём в здоровом, уверенном в своих справедливых требованиях обществе…». «Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой». «Справедливость не в уравниловке, а в расширении свободы, в создании условий для труда, который приносит уважение, достаток и успех. И, наоборот, несправедливо всё то, что ограничивает возможности, нарушает права людей».

С цитируемым сопряжен и следующий пассаж: «Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы <…>.

Чтобы у ребят было ясное понимание: все они имеют равные возможности для жизненного старта…»

Собственно говоря, эти положения вряд ли нуждаются в сколько-нибудь подробном комментировании, так как оценки существующей ситуации, будь они даны объективным и непредвзятым наблюдателем, оказались бы диаметрально противоположными приведенным в послании.

Суждения по поводу *справедливости*, как обычно, вызывают особый интерес. Отправной точкой построения выступает тезис о том, что «принципы справедливости, уважения и доверия универсальны» и вполне, к тому же, эффективно реализуются государством российским, так сказать, «на экспорт», ср. следующую констатацию: «Мы твердо отстаиваем их [т. е. вышеупомянутые принципы. – А. В.] – и, как видим, не без результата – на международной арене» – иначе говоря, это уже свершившийся факт. Однако буквально здесь же сообщается: «Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества». В данном высказывании присутствует уже совсем иная модальность: в первом случае (в международных отношениях) государство успешно у ж е придерживается воплощения справедливости, а во втором оно лишь п р и з н а ё т свою обязанность гарантий её реализации. Хотя возможно допустить параллельное сосуществование двух малоконгруэнтных вариантов *справедливости*: в одном случае – для внешнего, в другом – для сугубо внутреннего использования (к этой проблеме мы еще вернемся).

Лексикографическая семантизация существительного *справедливость* с течением времени претерпевала изменения, что вполне естественно с учетом постоянной динамики словарного состава под воздействием самых разнообразных факторов. Так, если у Даля «*справедливость* – состояние и свойство по прилагательному [здесь же «*справедливый*» – правильный, сделанный законно, по правде, по совести, по правоте]» [Даль 1955, IV: 299], то в последнем академическом толковом словаре советской эпохи, по-видимому, наиболее адекватное в интересующем нас аспекте – «*справедливость* – <…> 3. Соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т. п. морально-этическим, правовым и

т. п. нормам, требованиям. Социальная справедливость» [$МАС_2$ IV, 1984: 231].

В. В. Колесов на основании анализа ряда источников предлагает универсализованную объективированную дефиницию: «Справедливость – основное понятие нравственной жизни с правом как мерилом и свободой в её осуществлении ради порядка и связи в их единстве» [Колесов 2016: 48].

Собственно, исходя из наблюдений за характером употребления слова *справедливость* в текстах ряда официальных выступлений, есть основания полагать, что его реальная, или, может быть, точнее – традиционно устоявшаяся в русском языке семантика активно деформируется, причем испытывает влияние различных векторов дискурсивного процесса. С одной стороны, вероятно, в сознании социума (или значительной его части) эта лексема пока еще соотносится с некими устойчивыми, несмотря на энергичные усилия социальных дарвинистов, представлениями о едином для всех порядке мироустройства, определяемом едиными нравственными императивами. С другой стороны, довольно очевидно, что некоторая часть того же общества, причисляющая себя к *элите* (см. [Васильев 2013: 447–499]), оперирует словом *справедливость* – при случае – несколько иначе, нежели подвластные ей. Прогнозы динамики семантических эволюций, конечно же, могут быть ещё менее точными, чем экономические прогнозы. Но по мере развития уже имеющих место социально-политических процессов можно предположить через совсем непродолжительное время возникновение по меньшей мере двух омонимов: *справедливость*[1] и *справедливость*[2]. Ранее совершенно верно было замечено: «…Об одном и том же говорят народ и его элита?» [Суспицына 2007: 73].

Возможен иной вектор развития как значения, так и статуса слова *справедливость* – например, в результате публичных риторических упражнений оно превратится в слово-мифоген [Васильев 1995], оказавшись никоим образом не связанным с реальной действительностью, но применяемым исключительно для формирования её фантомного варианта.

Вновь было декларировано, как и в послании 2012 г., – лишь слегка перефразированное, но в отношении содержательном столь

же любопытное и безапелляционное утверждение о том, что, оказывается, «абсолютное большинство государственных служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны»; ранее об этом было заявлено буквально так: «Подавляющее большинство людей, которые работают в различных структурах [т. е. чиновники и прочие элитарии], – это люди порядочные и ответственные». Каковы истоки этой весьма интересной статистики, по непонятным причинам, как и раньше, не сообщается. Между тем, так называемый электорат очевидно имеет по данному поводу несколько иное мнение, ставшее плодом вынужденного, пусть и преимущественно дистанционного общения с чиновничье-депутатским корпусом, о положительной эффективности которого для того же «населения» говорить вряд ли возможно, даже если принимать в расчет так называемый кризис, – естественное порождение бездарной и пагубной для масс внутренней политики. Впрочем, судя по ряду симптомов, пресловутый кризис явно ни в коей мере не затронул российскую «элиту» (скажем, чудесным образом растут головокружительные прибыли некоторых банков и множатся ряды отечественных миллиардеров), может быть, и здесь имеет место омонимизация: *кризис*[1] – для элитариев, *кризис*[2] – для всех прочих.

Сто́ит ли при этом говорить о привычно упоминаемых «традиционных ценностях» (и здесь, как обычно, маловнятных) или о ссылке на академика Лихачёва по поводу необходимости воспитания «нравственного человека»[*] при полном отсутствии социально важных аксиологических ориентиров – вопросы, конечно, риторические. Впрочем, риторическими, то есть прочно отграниченными от реальной внутригосударственной ситуации, они являются в той же степени, что и приведенные здесь фрагменты послания.

Действительно, кажется, пока что «речь не идёт <…> о принуждении к определенному мировоззрению», но ведь откровенное принуждение совершенно не обязательно, чтобы сформировать некое миро-

* Несомненно, в этом аспекте мнение Лихачёва очень ценно – в том числе и как одного из подписавших призыв к расправе над сторонниками Советской власти, проникнутый беспощадно большевицким духом [Писатели 1993]; об извилистой биографии академика, неизвестно кем и почему удостоенного именования «совесть русской интеллигенции» (никак не красящего «интеллигенцию»), см. [Иванов 2018].

воззрение и, соответственно, моделировать стереотипы индивидуального или общественного поведения. Для этого вполне достаточно целенаправленного воздействия на сознание «населения» двух социальных институтов: средств массовой информации, прямо или косвенно подконтрольных властям предержащим, и системы образования.

Первая из названных выше систем сегодня совершенно далека от духовно-просветительских задач (есть, конечно, телеканалы сугубо религиозной направленности, но они предназначены в основном для «разговоров в пользу бедных») и нацелена прежде всего на создание личности, движимой лишь физиологическими либо потребительскими инстинктами. Постоянно в рамках многочисленных ток-шоу (то есть разговорных представлений) навязывается почти истеричное обсуждение тем, бесконечно далеких от повседневных нужд телеаудитории; скажем, брачно-финансовые перипетии какого-то околоэстрадного фигляра – разве они могут всерьёз интересовать психически нормального человека? Или: ежедневное муссирование событий на Украине; кому оно нужно, кроме платных болтунов? Свидомые потомки древних укров все равно не имеют технической возможности смотреть и слушать эту перманентную бессмысленную говорильню*. В результате же российские телезрители и радиослушатели гораздо более подробно осведомлены о происходящем в соседнем государстве, нежели о событиях в родной стране (то же относится к широчайшему освещению событий в Сирии). Собственно, суть и предназначение подобных приемов прозрачны: они призваны переключать внимание аудитории на те информационные поводы, которые ей преподносят в качестве кардинально важных для обеспечения якобы полноценного повседневного бытия. «<…> Для манипулятора возникает возможность заместить объект – увести важный объект в тень <…>, подсунув человеку служебный отвлекающий объект (имеющийся в реальности или подстроенный манипулятором)» [Кара-Мурза 2002: 197].

* По всей вероятности, здесь синхронно преследуется косвенная цель: назойливые словоблудия о нищете украинских народных масс, о неподъёмных тарифах на ЖКХ, о чиновничьем воровстве и коррупции и т. п. подаются как эксплицированная антитеза не упоминаемой открыто аксиоме о всеобщем россиянском благополучии и поголовном процветании.

Разумеется, нельзя недооценивать активное участие деятелей СМИ, в большинстве своём той же «элиты», и в формировании российской культурно-речевой ситуации. Их словесные эксцессы, доходящие в силу своей неуклонной примитивизации до открытых систематических проявлений бездуховности и интеллектуального убожества, нередко способны восприниматься аудиторией в качестве дискурсивных эталонов – вследствие странной веры в то, что в СМИ выступают исключительно умные особи (видимо, по логике «от противного»: дескать, не будь они умными, то не фигурировали бы на телеэкране, в радиоэфире и на полосах печатных изданий).

Вторая система – образовательная – так и не может обрести должную устойчивость вследствие перманентного реформирования и креативных инноваций. Одна из подобных была продемонстрирована в недавнем новостном телесюжете: московский учитель истории излагает старшеклассникам учебный материал в форме рэпа; школьники довольны, директор не возражает. Правда, осталось неизвестным, обязаны ли ученики при изложении своих ответов также прибегать к версификации. Иногда ведь невредно вспоминать классиков: «Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с?» [Достоевский 1958, 9: 281] – пусть это суждения весьма отрицательного персонажа, но определенное рациональное зерно здесь всё же присутствует.

Другой тематически подобный телесюжет: в некоей чеченской школе радикально перешли на принципиально инновационную методику, при которой школьников обучают неизвестно чему с помощью нескончаемых игр. Педагоги-новаторы говорят, что ученикам это нравится. Правда, и там нашлись косные (то есть разумные) родители, считающие, что так их дети ничему полезному не научатся, но местные руководители образования твердо намерены сломить сопротивление консерваторов и ретроградов.

Примеры, подобные приведенным, можно было бы легко умножить, однако, наверное, и без этого очевидно, что желанный кому-то послушный «недоумок» (по Ю. Полякову) может быть

успешно сконструирован без какого бы то ни было формального принуждения к определенному мировоззрению.

Судя по некоторым источникам, довольно популярными являются гипотезы о множественности миров. Они сосуществуют в разных измерениях, а потому ни в коем случае не могут соприкоснуться. Более того, пересечение параллельных мирозданий может оказаться для них взаимно гибельным.

Эти смелые теоретические предположения пока что экспериментально не подтверждены, однако отечественная действительность дает интересные примеры плюрализации, или, по крайней мере, двойственности результатов развития, казалось бы, совершенно однотипных ситуаций.

Скажем, любой обыватель, более или менее осведомленный сообщениями даже официальных российских СМИ, способен довольно успешно прогнозировать исход так называемого резонансного уголовного дела, если в качестве подозреваемого выступает гражданин, принадлежащий к социальному слою, который обычно обозначают словом *элита*. Конечно же, это решение будет законным. Не менее законным станет и судебное решение по делу гражданина, вежливо именуемого *простым человеком*. Но если для элитария, даже в случае обвинительного приговора (гипотетически это можно допустить), наказание скорее всего является условным, то плебею предопределено реальное лишение свободы, причем, просторечно выражаясь, «на всю катушку». Поскольку такая судебная практика уже прочно установилась, что подтверждается многими прецедентами, а значит, фактически сосуществуют два правосудия, постольку было бы целесообразным, чтобы высшая законодательная власть, максимально озабоченная исключительно борьбой с курением, инициировала бы официальное принятие двух уголовных кодексов: одного – для элитариев, другого – для простых людей. Возможно, судопроизводство станет еще более эффективным, а главное – абсолютно общепонятным и всенародно одобряемым, как, вероятно, и должно быть в *правовом государстве* (см. Конституцию РФ).

Поэтому же именно проблемы социально обусловленной дифференциации речи обретают сегодня остроактуальный характер. Современная российская ситуации в этом отношении внушает внимательному наблюдателю мало оптимизма, будучи во многом определяемой экстралингвистическими факторами.

По словам американского автора А. Азимова (впрочем, далеко не оригинальным), «первой футурологией была научная фантастика» (цит. по [Ревич 1974: 226]); по крайней мере, произведения этого жанра – один из способов заглянуть в будущее, экстраполируя на него векторы настоящего. Конечно, «уважаемым россиянам» еще очень далеко до уэллсовских элоев и морлоков с их абсолютно разными языками. Но вот один из вариантов перспективы общественного развития, представленный отечественным писателем. На планете, населенной скопищем, выражаясь на сегодняшнем русском, мигрантов (их далекие предки были землянами), под олигархической, точнее, олигархически-бюрократической властью сосуществуют две основные группы населения: «джи» и «кжи» (соответственно, «долгоживущие» и «короткоживущие»); представители второй страты, достигнув возраста в 25 лет, совершают утвержденное законодательством для исключения перенаселения самоубийство – обретают «легкую смерть» (что смутно ассоциируется с выработанным российскими чиновниками терминоидом *срок дожития*). В социолингвистическом аспекте чрезвычайно интересно то, что эти макроколлективы противопоставлены и на уровне вербальной коммуникации: хотя они используют общий язык, но одни и те же слова для «джи» и «кжи» имеют совершенно разные лексические значения [Ефремов 1989: 418 и др.].

Разумеется, вопросы дифференциации использования средств, предоставляемых единым языком в распоряжение представителей разных социальных групп, которые объективно являются противопоставленными по каким-то признакам, вовсе не новы. Но советская лингвистика ранее изучала их либо на исторически отдаленном, либо на чужеязычном материале. Теперь актуальными стали задачи исследования тенденций в употреблении русского языка, построенные на современных речекоммуникативных феноменах.

Относительно недавно о подобной проблематике интересно и взвешенно размышлял Н. Г. Комлев: «Является ли господствующий класс также господствующим в отношении языка? Если класс-гегемон <…> диктует другим классам и слоям правовые и этические нормы, то распространяется ли это также на язык? <…> Допустим, что языки классов равноправны, но равны ли они в действительности?» [Комлев 2003: 121].

Многочисленность примеров убедительно свидетельствует о том, что социально обусловленная вариативность использования единиц русского языка – совершенно реальный феномен и, с учетом властных потенций российской «элиты», оказывающийся чрезвычайно эффективным средством манипуляций общественным сознанием.

Инициируемое «элитой» (точнее, может быть, её обслугой – сочинителями речей и т. п.) массированное словоблудие вовсе не случайно и не стихийно, а порождено вполне конкретными социально-экономическими факторами (в свою очередь, предварительно обусловленными действиями той же самой «элиты»).

Средства массовой информации в текстах, иногда всё же тематически связанных с повседневным существованием граждан (отсюда сто́ит исключить многообразные шедевры шоу-бизнеса), перенасыщены словами вроде *тренд, бренд, форум, инновации, проект, креативный, позитивный, формат, мессидж, технологии, имидж, хаб, кластер* и множеством других, в совокупности образующих дискурсивную декорацию, довольно успешно создающую в сознании широкой аудитории виртуальную реальность, которая замещает собою подлинную. Фантомизация действительности производится в том числе с помощью семантических подмен (см., в частности, о сегодняшней прагматике слов *амбициозный*, *оптимизация* и др. [Васильев 2013: 543–575]), столь же эффективно используемых в целях манипуляции социумом. Можно лишь попытаться предполагать, каковы будут доминанты мировоззрения и поведения тех исконных носителей русского языка, которым посчастливилось родиться, скажем, в 1997–2000 гг. и поздне́е, и позволительно ли квалифицировать привитые им стереотипы как исключительно прогрессивные (в прежнем

смысле слова – полезные) и способствующие совершенствованию личности и общества. А ведь исторически скоро эта молодежь окончательно созреет и станет юридически полноправной стратой.

Некоторые выводы

Текст, фрагменты которого рассмотрены здесь, представляет собой речевой акт, выдержанный в соответствии с официально регламентируемой приуроченностью. Предположительно его основные интенции – демонстрация некоей условной стабильности (ведь произведения такого жанра ежегодно регулярны) и манифестация оптимистической оценки положения дел, возникшего, конечно, не без активных усилий зримых властей предержащих, то есть почтеннейшей аудитории в зале, которая, следовательно, с полным на то правом может гордиться своими трудовыми свершениями. То, что цитированные эпизоды выступления очевидно диссонируют с подлинными реалиями сегодняшней российской действительности, – конечно же, лишь малозначительная подробность, которая не заслуживает высокого внимания. Но поэтому и текст в целом производит впечатление цепи высказываний, слабо связанных с имеющейся ситуацией. Впрочем, возможно допустить, что конечной целью приведенных деклараций была именно публичная демонстрация непоколебимого спокойствия власти и попытка внушить аудитории подобное жизнерадостное настроение и мироощущение.

Рассмотренный в данной главе материал был извлечён из разных по жанровой принадлежности речевых произведений В. В. Путина, при этом как монологического характера, так и диалогического. В каждом конкретном случае внимание автора книги было обращено на те единицы и / или фрагменты текстов, которые представлялись ему наиболее репрезентативными формами выражения доминирующих положений адресанта.

Конечно, следует учесть также некую ауру, окружающую образ («имидж») верховного правителя крупного государства. Вспомним хрестоматийных глуповцев, которые, даже не успев ещё узреть но-

вого градоначальника, «уже рассказывали об нём анекдоты и называли его “красавчиком” и “умницей” <…>. При этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие» [Салтыков-Щедрин 1953: 20–21]. Автор стремился по мере сил дистанцироваться от подобной дифирамбической ориентированности, предпочитая всепоглощающему умилению разносторонними талантами государя возможно более объективный лингвистический анализ его публичных речевых актов. Следует, однако, признать, что даже не самое подробное их рассмотрение позволяет говорить о многоаспектной и незаурядной языковой личности В. В. Путина, вполне заслуживающей внимания лингвистов. Поэтому представляется не самым оптимальным приёмом его постоянное отсутствие на публичных дебатах с другими претендентами на высшую должность (что является необходимым условием для предвыборной деятельности глав многих демократических государств). Понятно, что у руководителя страны, нередко существующей в режиме «ручного управления», весьма много повседневных забот. Но было бы чрезвычайно поучительным и эффективным в целях обретения дополнительных симпатий электората рассказать о полном соответствии планов, нацеленных номинально на улучшение его жизни, – и их фактически достоверных результатов.

Дифференциация ‘своего’ и ‘чужого’ проводится весьма чётко и последовательно, будучи в ряде случаев аргументирована допустимо детализированно и достаточно доказательно. Это позволяет предполагать наличие устойчивых аксиологических ориентиров, что, в свою очередь, способствует привлечению симпатий многих граждан, по всей вероятности, несколько утомлённых недавними манифестациями плюрализма и постоянными упоминаниями зарубежных друзей России.

Глава 13

СТРАТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПУБЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ

Исторически недавно советское общество декларировалось как гомогенный макроколлектив, состоящий из множества равноправных граждан, объединённых, в том числе, и общей целью. В большинстве случаев такие декларации соответствовали действительности. Однако затем ситуация изменилась (точнее, наверное, была изменена) на прямо противоположную: социум, сохранившийся на территории РФ, чрезвычайно быстро прошёл дифференциацию на две совершенно неравные (в количественном отношении – тоже) части. Верхняя социальная страта, представители которой и инициировали эти процессы, составляет статистически ничтожный сегмент населения, но обладает безграничными властными полномочиями и почти всеми богатствами страны, естественно провозгласив себя *элитой*. Нижняя страта во всех отношениях являет совершенную противоположность верхней; последняя соответствующим образом относится к тем, кого (в самом вежливом публичном варианте) именует *простыми людьми* и иногда даже снисходит до речевых контактов с ними.

В первом разделе главы анализируются речевые акты *элитариев*, обращённые к простолюдинам; во втором представлены стадии исторических эволюций устойчивого словосочетания *простой человек*, прежде всего в коннотативном аспекте.

1. Элементы социальной маркированности в российском официозном дискурсе

Власть не должна быть
изолированной кастой.
В.В. Путин

Проблема адекватного понимания речекоммуникативного акта его адресатом вызывает интерес специалистов в течение продолжительного времени. Так, М. М. Бахтин исходил из чрезвычайной значимости функции читателя / слушателя, потому что «высказывание с самого начала строится с учётом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создаётся. Роль *других*, для которых строится высказывание <…>, исключительно велика. Эти другие <…> не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения» [Бахтин 1986а: 290].

Кроме того, ещё ранее было установлено, что взаимное понимание между коммуникантами в реальной практике общения недостижимо. «Слово, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть прежде всего средство понимать говорящего, апперципировать содержание его мысли <…>. Что касается самого субъективного содержания мысли говорящего и мысли понимающего, то эти содержания до такой степени различны, что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недоразумениях, <…> но легко может быть осознано при так называемом полном понимании» [Потебня 1976а: 139], то есть формальная тождественность слова как звукобуквенного комплекса для обоих речедеятелей (или для оратора и его аудитории) вовсе не является залогом абсолютно точного восприятия интенции, выражаемой адресантом с помощью этой лексической единицы.

Об этом же феномене взаимного непонимания коммуникантов говорилось и позднéе, применительно к оценке эффективности семиотических систем (впрочем, и здесь имелось в виду общение посредством одного и того же естественного кода – национального языка). Ср.: «Для того чтобы достаточно сложное сообщение было воспринято с абсолютной идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации практически недостижимые: для этого требуется, чтобы

адресант и адресат пользовались полностью идентичными кодами, т. е. фактически, чтобы они в семиотическом отношении представляли как бы удвоенную одну и ту же личность, поскольку код включает не только определённый двумерный набор правил шифровки-дешифровки сообщения, но обладает многомерной иерархией <…>. Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов» [Лотман 1996: 13–14].

Более того, известны ситуации, в которых непонимание высказываний между коммуникантами довольно легко может быть прогнозируемо (например, при использовании адресантом лексических единиц с непрозрачной для адресата семантикой – узкоспециальных терминов, иноязычных заимствований, жаргонизмов и подобных им агнонимов) и даже программируемо отправителем сообщения (см. об этом [Васильев 2013а: 13–15]).

Случаи взаимного непонимания собеседников, причём принадлежащих к антагонистическим социальным группам, в диалогах, ведущихся на одном и том же национальном языке, нередко фигурируют в русской литературной классике.

Например, в прутковской басне помещик
«садовника к себе он призывает
И говорит ему: “Ефим!
Блюди особенно ты за растеньем сим;
Пусть хорошенько прозябает”.
Зима настала между тем,
Помещик о своём растенье вспоминает
И так Ефима вопрошает:
“Что? Хорошо ль растенье прозябает?”
“Изрядно, – тот в ответ, – прозябло уж совсем!”
Пусть всяк садовника такого нанимает,
Который понимает,
Что значит слово «прозябает»
[Прутков 1976: 45].

Подобная игра омонимами присутствует и в чеховском рассказе, где богатый инженер-мостостроитель пытается усовещивать местных крестьян, постоянно наносящих ущерб его дачному имуществу; типичный представитель коренных обитателей, старый кузнец Роди-

он (который, впрочем, «понимал то, что́ ему говорили, не так, как нужно, а всегда как-то по-своему» [Чехов 1956, 8б: 368]) последовательно интерпретирует слова дачника. Когда тот говорит мужикам: «Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою», Родион комментирует: «Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой» [Чехов 1956, 8б: 368–369]; бесчинства продолжаются, и раздраженный инженер заявляет: «Я и жена относились к вам, как к людям, как к равным, а вы? <…> Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать», кузнец транслирует своей супруге: «Я (то есть «барин») <…> с женой тебя призирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел… Дай бог здоровья…» [Чехов 1956, 8б: 375].

Пример иного рода, где революционер предпринимает безуспешную попытку поднять крестьян на восстание, агитируя их так, как ему представляется оптимальным: «<…> Он начал окликать, останавливать проходивших мужиков, держать им краткие, но несообразные речи. «Что, мол, вы спите? Поднимайтесь! Пора! Долой налоги! Долой землевладельцев!». Иные мужики глядели на него с изумлением; другие шли дальше, мимо, не обращая внимания на его возгласы: они принимали его за пьяного; один <…> рассказывал <…>, что ему навстречу француз попался, который кричал – «непонятно таково, картаво» <…>. Один из них [мужиков] <…> промолвил: «Какой строгий!» – а другой заметил: «Знать, начальник какой!» – на что прозорливец возразил: «Известное дело – даром глотку драть не станет. Заплачут теперича наши денежки!» [Тургенев 1954, 4: 420–421].

Подобные ситуации усугубляются к тому же знанием французского языка, столь же – и даже более привычного – средства коммуникации (по сравнению с номинально родным русским) для принадлежащих к правящему классу.

Ср. следующий диалог, низшие участники которого довольно уверенно диагностируют социальный статус собеседника, и не только по его одежде: «“Вы то есть из каких будете <…>?” – не вытерпела <…> бабёнка <…>. «…Вы ко мне обращаетесь?» – <…> пробормотал Степан Трофимович. «Из купцов, надоть быть», – самоуверенно проговорил мужик <…>. «Нет, я не то что купец, я … moi c’est autre chose (фр. «я – совсем другое»)», – кое-как отпарировал Степан Трофимович <…>. «Из господ, надоть быть», – решил мужик, услышав нерусские слова…» [Достоевский 1957, 7: 658].

Количество таких примеров можно было бы без труда умножить, однако и вышеприведённых достаточно для подтверждения наличия социально дифференцированных речевых реализаций единого национального языка в разных группах иерархически стратифицированного общества.

И сегодня довольно частотны высказывания представителей российской власти, обретающие широкий и во многих вербальных реализациях не прогнозированный инициаторами диалогов резонанс. Таким образом вновь выступает проблема адекватного восприятия высказывания, имеющая серьёзное социальное значение.

Очевидно, во многих реальных случаях непосредственного речевого общения эффект взаимного непонимания зачастую не учитывается, хотя бы потому, что при особенно острой необходимости он может быть минимизирован за счёт уточнения участниками диалога интенций друг друга. С другой стороны, довольно частотны коммуникативные эпизоды, в которых попытки дополнительного прояснения интенций оратора попросту невозможны, и не только по причинам чисто технического свойства. Между тем, словесные произведения, будучи включенными их авторами в публичный дискурс без чьего-либо принуждения и имеющие завершенное вербальное оформление, уже не подлежат последующему редактированию (они могут лишь стать исходным материалом для квазицитации); как хорошо известно, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. В свою очередь, аудитория (или хотя бы какая-то часть её) далеко не всегда способна правильно интерпретировать намерения речетворца, квалифицируя истинный замысел его высказывания по-своему и оценивая его незаслуженно критично.

Весьма наглядной иллюстрацией такого положения вещей являются всё учащающиеся сегодня случаи негативного восприятия дискурсивных актов представителей российской социальной группы, обычно именуемой *элитой* (о современной семантике и прагматике этого слова см. [Васильев 2013: 447–499; 2008: 87–92]). Причём равно интересными объектами наблюдений оказываются и совершенно официальные тексты публичных выступлений [Васильев 2018], и почти обыденные речевые акты («почти» – поскольку в момент их произнесения адресанты сохраняют свой должностной статус).

Целесообразно вначале упомянуть о некоторых специфических качествах, общих для многих членов данной социальной группы.

Прежде всего, это особое душевное равновесие и нравственная чистота. По словам Т. Юмашевой (б. Дьяченко, дочери Ельцина, по совместительству занимавшей в 1996-1999 гг. должность советника того же президента), указ-индульгенция преемника об освобождении бывшего главы государства от какой бы то ни было ответственности за содеянное им на высшем государственном посту не удивил членов семьи*: «В общем-то нечего было бояться, ничего такого не сделали, за что было бы стыдно» [24. RenTV. 30.12.99]. – «Я занимаюсь нацпроектами**, здравоохранением, социальной политикой, образованием, культурой, и почти в каждой области за последние годы достигнуты зримые результаты, за которые мне не стыдно» [вице-премьер А. Жуков / / РГ-Неделя. № 167. 29.07.10. С. 9]. – «У меня совесть чиста» (В. Матвиенко – об итогах своей деятельности на посту губернатора Санкт-Петербурга) [Неделя. RenTV. 03.07.11]. «Нам нечего стесняться» (кандидат в Президенты РФ В. Путин) [24. RenTV. 08.02.12]. – «Я не сделал ничего, за что было бы стыдно» (Л. Константинов, основатель финансовой корпорации-«пирамиды» «Хопёр-инвест», ныне обретающийся в Израиле) [24. RenTV. 08.04.13] и т. п.

Совершенно естественно, что кланово организованная *элита* заботится о стабильном самовоспроизводстве: ведь наличие «своих» в ключевых властных органах (при весьма условной стабильности социально-экономической ситуации в стране) – необходимая гарантия от возможных уголовных преследований, этих привычных инструментов так называемых «рейдерских захватов», то есть передела собственности (впрочем, тоже доставшейся её обладателям без особых трудовых усилий – ведь «и между благородными бывает воровство, только, по обширности своей, не имеет презрительного

---

* *Семья* – публ. неодобр. ‘о ближайшем окружении Б. Н. Ельцина, сформировавшемся в высших властных структурах России в последние годы его президентского правления (1991–1999)’ [ТССРЯ 2001: 715].

** Существительное *нацпроект* (сокр. от *национальный проект*) было реактуализировано в российском официозе в 2018 г. Небезынтересно, что если бы эти прожекты именовались *государственными*, то было бы понятно, кто персонально отвечает за их успех; насчёт *национальных* это гораздо затруднительнее (о подменах *государственного национальным* см. [Васильев 2013: 336–340; 352; 357–358]).

вида. Всё больше, по благородству, крупными кушами-с» [Салтыков-Щедрин 1976: 129]*).

Например, летом 2012 г. вице-губернатором Красноярского края была назначена Е. Пешкова, бывшая «вице-мисс Красноярск» и диктор программы новостей одной из местных телекомпаний – ближайшие родственники этого персонажа занимали в тот момент заметные должности в краевых и городских органах власти.

Конечно, далеко не всегда широкой аудитории сообщается о роли глубоко родственных отношений в формировании *элиты*. Правда, иногда упоминается, что министры Икс состоят в законном браке, а министр Игрек является зятем вице-премьера Зет, и что некоторые исключительно успешные предпринимательницы по стечению не зависящих от них обстоятельств («браки совершаются на небесах») – супруги высоких должностных лиц (в том числе – и народных избранников), вполне законно зарабатывающие в десятки и сотни раз больше своих законных мужей*, а их замечательно талантливые дети с завидной скоростью делают служебную карьеру и / или преуспевают в бизнесе, и т. п.

Высказывание британского журналиста не столько саркастично, сколько реалистично: «“России нужно больше успешных и молодых предпринимателей, поэтому губернаторы должны рожать больше детей!” В России эта шутка самоочевидна: <…> путей к профессиональному успеху и росту всё меньше, а отпрыски высокопоставленных провинциальных чиновников и им подобных руководителей преуспевают» [Кловер 2011: 3].

Одним из последних свидетельств использования внутриклановых резервов для минимализации кадрового голода стало в 2018 г. назначение сына одного из высоких государственных руководителей министром сельского хозяйства РФ; вероятно, управленческий талант передаётся преимущественно на генетическом уровне, а пото-

* Об этом подробно сообщало российское правительственное издание; см. [Царев 2010], [Елков 2010], [Елисеев 2010], [РГ 2010]. Ср.: «…Всего год был дан, чтобы подготовиться к подаче деклараций [о доходах], и как-то получилось, что за этот год жёны почти всех чиновников стали очень талантливыми» (Н. Левичев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме) [В чём сила, брат? // РГ-Неделя. №118. 02.06.11].

му напрасно искать в подобных случаях ренессанс феодальных иерархических отношений.

Отечественная *элита* постоянно готова демонстрировать широкую щедрость по отношению к *простым людям*, которых осыпает дорогими подарками (правда, за счёт бюджетных средств). Приведём только некоторые примеры: «Мы решили сделать учителям *подарок* к Новому году – выплатить зарплату» (зам. главы краевой администрации) [ИКС. КГТРК. 17.11.98]. – «Этот *подарок* красноярцам сделал наш земляк, министр МПС Геннадий Фадеев: новый электропоезд до Боготола» [Новости. Прима ТВ. 28.03.03]. – «Новая жизнь в Емельяновской больнице стала возможной только благодаря властям района» [Вести-Красноярск. 28.03.05]. – «Дети посёлка Громадск Уярского района получили *подарок* с губернаторским размахом – новую школу <…>. Строительство школы возобновилось по инициативе губернатора» [Вести-Красноярск. 01.09.08]. «Ветеран войны всё-таки дождалась главного *подарка* к юбилею Победы – отдельного благоустроенного жилья» [Вести-Красноярск. 06.05.10]. – «Мы *подарим* омичам возможность прогуливаться по мосту и сделаем там подсветку» (Г. Фадина, мэр г. Омска) [ОТР. 03.10.18]. – «Депутаты краевого Заксобрания сделали *подарок* многодетной семье – микроавтобус» [Новости. ТВК. 20.12.18] и т. п.

Благодеяния *элиты* распространяются уже и на интимные стороны жизни *простых людей*: «Усс [тогда – председатель Заксобрания Красноярского края] *подарил* канским молодожёнам *конфеты*, якобы обладающие мобилизующей силой, и, конечно, фото на память. Будут показывать эти фотографии своим детям и рассказывать, благодаря кому они на свет появились» [Новости. 7 канал. 03.09.06].

Вполне естественно, что в информационной войне особенно массированной пропагандистской обработке подвергается молодое поколение социума. Оно чрезвычайно уязвимо, так как не обладает необходимым житейским опытом, чтобы понять, например, что некие «национальные проекты» уже имели место в новейшей российской истории и об их впечатляющих результатах по каким-то причинам широко не сообщалось; что почти столь же эффективными оказались «майские указы» 2012 г.; что пенсионная реформа 2018 г. делает весьма проблематичным будущее минимальное благосостояние сегодняшней молодёжи, продолжительность жизни которой якобы

несомненно повысится (понятно, что об этом нынешние юноши и девушки станут всерьёз задумываться лишь через несколько десятилетий), и т. п. Дезориентации способствуют и новейшие аксиологические установки, утверждаемые в молодёжном сознании (см., например, [Васильев 2013: 173–186; 476–479]).

Небезынтересно при этом, какие перспективы предлагаются детям *простых людей*. Так, в послании президента Федеральному собранию 2012 г. сказано: «Мы поставили задачу к 2020 г. создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест <…>. Мы можем помочь людям найти хорошую и интересную работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния граждан» [http: / / www.kremlin.ru. / / transcripts / 17118]; вряд ли сто́ит комментировать степень реализации декларированной задачи. В том же выступлении сообщается о необходимости поддержать «идею создания ассоциаций студенческих спортивных клубов. Эта организация призвана <…> и стать в известном смысле социальным лифтом для талантливой, целеустремлённой и активной молодёжи» [Там же]. Несколько позднée (02.08.16) резонансным стал ответ председателя правительства на вопрос молодого дагестанского учителя о чрезвычайно низких (например, по сравнению с представителями силовых ведомств) зарплатах педагогов; Д. А. Медведев вполне разумно и доброжелательно заявил: «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес…» [https: // www. gazeta.ru / business / news / 2016 / 08 / 03 / n_8953517.shtml].

Приведём информативный фрагмент выступления главы Сбербанка (бывшего министра экономического развития) Г. Грефа на Петербургском экономическом форуме, успешным модератором которого он был: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего Я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда имеют знания. Как управлять ими?» (цит. по [Губарева 2012: 4]). Хотя затем тот же оратор заявил, что «это-де у него шутка юмора» такая, что это он «подзаводил дискуссию» и «разогревал» участников и его не так поняли [Там же],

некоторые приоритетные векторы российской внутренней политики он сформулировал весьма отчётливо.

Действительно, «шутки юмора» иногда бывают высокозначимыми. В фантастическом романе описывается, как люди, обживая некую планету, обнаружили там услужливых аборигенов-гуманоидов, хорошо владевших искусством суггестии, тщательно скрывавшимся ими от их номинальных хозяев. Через два столетия р'хнехры (гуманоиды), старательно перенимавшие от своих якобы господ насущные цивилизационные познания, восстали и превратили людей в рабов, часть из которых употребляли в пищу после разделки на специальных бойнях. При этом у р'хнехров было довольно изощрённое чувство юмора; по словам одного из освобождённых людей, к тому же прошедшего целебную психотехническую обработку, «они [р'хнехры] ничего не скрывали, наоборот, были счастливы нас помучить. И ни о каком возмущении не могло быть и речи! С самого детства, ещё до пробуждения сознания, они нас гипнотизировали, воспитывали, внушали нам, что хотели. Позднéе время от времени какой-нибудь р'хнехр смеха ради открывал нам истину. Мы страдали день, другой, а потом он приказывал нам забыть. Всё остальное время мы жили в твёрдой уверенности, что мы – господа, а они – наши слуги. Это их забавляло» [Карсак 1987: 136]. Ср. генеральную установку бывшего министра образования РФ А. Фурсенко (затем – советника президента РФ): «Недостатком советской системы образования была попытка воспитать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других» [http: / / newsedu.ru / blig / 701.html (дата обращения: 27.07.12)] (правда, не вполне понятно, откуда возьмутся эти «другие», – видимо, ими станут потомки и наследники сегодняшних *элитариев*).

В последнее время всё более частотными становятся не вполне ординарные высказывания представителей *элиты*, позволяющие довольно чётко характеризовать отношение этой социальной группы к *простым людям* и их насущным заботам. Небезынтересно, что подобные речевые акты, ранее единичные и как будто спорадические, обретают константный характер и выстраиваются в некий вербальный массив, общественный резонанс которого не подлежит сомнению.

По всей вероятности, высказывания, подобные приводимым далее, имели место и ранее, однако не обретали пристального общественного внимания, по крайней мере, вследствие двух причин экстралингвистического свойства: во-первых, существенно выросла роль интернета как относительно пока независимого и объективного (как представляется многим его пользователям) источника информации; во-вторых, в последние годы заметно изменился – и не в лучшую сторону – уровень благосостояния огромного большинства населения страны, которое в качестве причины этого почему-то нередко видит действия государственной власти в целом и её носителей в частности. Впрочем, некоторые граждане под влиянием собственного опыта ежедневного бытия склонны по-своему интерпретировать речевые акты даже «лидеров нации» (как их именуют некоторые политологи и проч.). Ср. воспроизведение решительных высказываний первого российского президента, которому сегодня за счёт госбюджета воздвигают грандиозные мемориалы, – и их толкование «уважаемыми россиянами»: *«Реформы начали работать! Это – главное!»* – «Видишь, говорит: мыло надо закупать, соль, спички». – *«С первого числа! зарплату! всем вовремя!»* – «Денег, говорит, нету». – *«Беру! Под личный, понимаешь, контроль»*. – «Вот как! Нету, говорит, денег и не будет» (цит. по [Семенюк 2001: 275]).

Приведём ряд цитат из выступлений российских элитариев, в целях упорядоченности дифференцировав их вербальные акты тематически.

Демография. О. Глацких, директор департамента молодёжной политики Свердловской области, 4 ноября 2018 г. на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировограде заявила, в частности: «Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать»; к тому же у её коллег зарплаты «трёхкопеечные», то есть эти должностные лица трудятся почти на общественных началах и подают окружающим достойный пример альтруистического бескорыстия [Глацких].

Представители *элиты* душевно переживают и за материальное, и за интимное благополучие малоимущих (конечно, по собственной вине) матерей. Так, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области М. Антимонова, адресуясь к мате-

рям-одиночкам, беззастенчиво претендующим на увеличение и без того непомерно высоких пособий (в сумме 1700 рублей), резонно ответила через твиттер в декабре 2018 г.: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!» [Антимонова]. В дополнение к этому, весьма целесообразно выйти замуж за кого угодно, лишь бы обеспечить содержание детей; буквально: «Почему семью полную не создаёте?! Очень плохо! Понимаю, чтоб в семье жить, нужно поступаться своим ЭГО?! <…> Есть вечные истины: материнство – это жертвенность! Мать ради ребёнка жертвует свободой, привычками, образом жизни, увлечениями» [Там же].

Депутат Государственной Думы трёхкратный олимпийский чемпион А. Карелин (кажется, не самый бедный из российских граждан) затронул тему в более широком нравственном и даже национально-ментальном аспекте, сказав по поводу пенсионной реформы: «…Это необходимо было делать <…>. Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос <…>. Ещё я считаю, что младшие должны помогать старшим. Я говорю о своём здравствующем папе <…>. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство» [Карелин].

Здравоохранение. Когда 13 апреля 2018 г. в Госдуму был внесён проект закона, в котором в ответ на злостные американские санкции против некоторых сверхсостоятельных «россиян» предлагалось, в частности, запретить в РФ ввоз лекарств из США и их сторонников, президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Б. Надеждин эгоистически заявил: «Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии». В ответ депутат ГД П. Толстой 14.04.18 вполне доброжелательно предложил Надеждину использовать недорогие и испытанные лекарственные средства: «А вы выплёвывайте, выплёвывайте (импортные таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплёвывайте» [Толстой]. Конечно, этот добрый совет депутата продиктован

искренней заботой о поддержании здоровья пожилых российских граждан, к тому же – с помощью очевидно доступных им снадобий.

В том же тематическом русле – заботы о здоровье *населения* (о современном характере употребления этого слова см. [Васильев 2013: 296–320]) – находятся тревожные констатации министра здравоохранения РФ В. Скворцовой 13 декабря 2018 г. по поводу рискованных гастрономических предпочтений масс: «Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», отсюда – рост числа разнообразных заболеваний [Скворцова].

Во многих случаях благожелательные рекомендации *элитариев* насчёт здорового образа жизни для *простых людей* сопряжены с психотерапевтическими консультациями. Так, многолетняя активная соучастница российских реформ Е. Лахова, ныне – член Совета Федерации, возражая против зловредных предложений повысить стоимость потребительской корзины в России, провела убедительную историческую параллель: «…Я всё время думаю о тех, кто прошёл войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина! Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» [Лахова]. Видимо, испытываемые многими на протяжении последних десятилетий стрессы всё же недостаточны для достижения нужной степени разумности, а потому логично их интенсифицировать.

Нередко выясняется, что гастрономические вкусы российских граждан каким-то образом зависят от их реальных доходов, и это обстоятельство также становится известным *элитариям*. Ещё в 2015 г. свердловский депутат И. Гаффнер советовал: «Если денег мало, надо задуматься о здоровье и поменьше питаться!» [Гаффнер].

Такие гуманистические подходы довольно последовательны. Так, Н. Соколова, министр труда и занятости Саратовской области, после заседания комитета облдумы по социальной политике 11 октября 2018 г. констатировала, что 3,5 тысячи рублей в месяц – вполне нормальная сумма для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» и сама она «запросто просидит на макарошках и фруктах». «Макарошки сто́ят всегда одинаково. А кефир? Всё равно это очень дёшево <…>. А как же 40 дней поста, и все только становятся здоровее» [Соколова].

Экология. Жителям Красноярска хорошо знакомо наукообразное словосочетание *режим чёрного неба*, псевдоэвфемистически обозначающее нередкие периоды, когда над городом нависает плотный смог, заметно затрудняющий дыхание жителей. Борьбу с чрезмерной задымлённостью местные власти ведут различными способами. Например, «первая леди края» (как пафосно выражаются труженики местных СМИ), то есть супруга тогдашнего главы администрации Красноярского края, Н. Толоконская, имеющая медицинское образование и учёную степень, 17 июля 2016 г. рекомендовала красноярцам (причём совершенно безвозмездно) оригинальный аутотерапевтический метод: «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным! Могу научить как врач!» [Толоконская].

По тому же са́мому поводу 26 ноября 2018 г. было обнародовано и технологически инновационное предложение российского министра природных ресурсов и экологии Д. Кобылкина, с энтузиастической благодарностью воспринятое местным руководством: «…Не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а именно большие. Подумайте <…> украсить их в ночное время, чтобы они светились» [Кобылкин]. Конечно, уровень государственного мышления доступен далеко не каждому.

Относительно причин некоторой специфики высказываний народных избранников допустимо предположить, что они коренятся в оправданно высокой самооценке депутатов разных уровней. Так, 3 апреля 2018 г. стало наконец известно, что, по информации депутата Свердловского областного законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» А. Жуковского, «депутат – это переходная ступень между человеком и ангелом» [Жуковский].

Если представители законодательной власти олицетворяют собой высшее звено эволюции, то персонажи, трудящиеся во власти исполнительной (а они безусловно являются людьми честными, порядочными и ответственными в абсолютном большинстве своём – см. выше), наверняка предельно дисциплинированны и неукоснительно следуют векторам, задаваемым словесными актами высшего руководства.

Таково прозвучавшее в 2016 г. своеобразным камертоном суждение вице-премьера РФ И. Шувалова: «Кажется смешным, но квартиры по 20 квадратных метров очень популярны» [Шувалов].

Возможно, однако, что импульсом, ещё более стимулирующим вышеприведённые высказывания *элиты*, стало широко известное ре-

чение премьер-министра Д. Медведева во вновь обретённом Крыму [24.05.16], жители которого нескромно пожаловались на якобы мизерные размеры пенсий и получили ободряющее напутствие: «Д е н е г н е т сейчас, найдём деньги – сделаем индексацию. В ы д е р ж и́ т е с ь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» [Медведев 2016]. Через несколько дней президент РФ счёл нужным прокомментировать это задушевное пожелание следующим образом: «Я не видел, чтобы Дмитрий Анатольевич говорил по этому поводу. Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из того общего разговора: тоже по словам всё может совпадать, но по духу смысл, может быть, как-то иначе смотреться» [Путин 2016а]. Иначе говоря, допускается, что имело место преднамеренно искажённое цитирование, извратившее добросовестно выраженную интенцию адресанта (ср.: «Побольше цинизма. Людям это нравится» [Ильф, Петров 1957а: 188] – и реакцию крымских *простых людей*: «Честный ответ премьера понравился публике, за что ему сказали «спасибо»), то есть произошла квазицитация [Васильев 2013а: 82–111].

При этом надо учитывать, что Д. Медведеву приходится время от времени общаться с *населением*, очевидно обременённым ущербным менталитетом: «Базовые ценности сформулированы человечеством уже давно. Но применить их к российской специфике порой бывает проблемой, и главный вопрос в том, чтобы сделать так, чтобы наши национальные традиции совместились с фундаментальным набором демократических ценностей» [Медведев 2008]*.

* Наверное, поэтому при общении с представителями этого *населения элитарии* вынуждены использовать языковые единицы, которые безусловно понятны *простым людям*. Например, А. Усс, губернатор Красноярского края, а до того – многолетний председатель местного Законодательного собрания, отвечая на вопрос жительницы затопленного райцентра, опасающейся широкомасштабных последствий стихии, ободряюще произнес: «Что вы хотите мне сказать? *Права* мне *качнуть?* Я тоже вам могу *качнуть*» [http://www.trk7.ru/news/97619.html]. – Ср.: «*качать права* – 1) ‘разрешать на воровской сходке споры, доказывать правоту’; 2) ‘добиваться своего превосходства’» [Жаргонные слова 1997: 92]. Затруднительно определить совершенно точно, какие именно факторы предопределили выбор адресантом этого фразеологизма: наличие учёной степени доктора юридических наук, желание быть понятным *населению*, малоосознанное стремление имитировать некоторые речекоммуникативные черты высокого эталона (ср. «мочить в сортире» и проч.). Кстати, см. недавнее высказывание последнего: «Это просто признак очень низкого уровня культуры, когда более сильная особь начинает *качать права* с помощью кулаков» [РГ – Неделя. № 288. 20.12.19. С. 4].

Вероятно, эту генеральную управленческую тенденцию безошибочно уловили многие нижестоящие *элитарии* и приняли её как инструкцию, пусть и не документированную официально. Весьма симптоматично, что такие высказывания происходят на фоне сверхчастотной употребительности глагола *признаться*, который на протяжении приблизительно десятилетия успешно вытесняет из коммуникативного оборота остальные глаголы речи (см., например, [Васильев 2014: 169–179]).

Следует вновь подчеркнуть чрезвычайно важное обстоятельство: высказывание, включенное в речевой оборот адресантом, имеет, с точки зрения адресата, вполне законченную и самодостаточную форму. Иначе говоря, как бы затем ни комментировал своё речение благонамеренный, но малоуспешный адресант (вероятно, вовсе не случайно глагол *пояснить* сегодня занимает одно из лидирующих мест среди глаголов речи, хотя и в инициальной позиции, ранее ему противопоказанной логически [Васильев 2014: 178–179]), как бы ни пытался оправдать своё высказывание тем, что оно якобы «вырвано из контекста» (как правило, дополнительная проверка никаких искажений не обнаруживает, и аудитория со смешанными чувствами констатирует «опять-таки случай так называемого вранья» [Булгаков 1990, 5а: 122]), публичный эффект речевого произведения, оказавшегося коммуникативно неудачным, вряд ли может быть откорректирован.

Рассмотрение даже относительно немногочисленных речевых актов, объединяемых социальным статусом их авторов, порождает ряд вопросов, возможные ответы на которые не могут не быть вариативными – прежде всего потому, что действительные интенции адресантов остаются неизвестными аудитории, и она воспринимает в первую очередь то, что принято называть «планом выражения».

Считаем допустимым предложить несколько версий, объясняющих вышеприведённые фрагменты современной российской культурно-речевой ситуации.

Наверное, проще всего было бы говорить о, скажем так, довольно дискуссионном интеллектуальном уровне членов определённой социальной страты, который в силу обстоятельств иногда эксплицируется в их более или менее спонтанных речевых актах. Но такое объяснение вряд ли совершенно обоснованно и, кроме того, попросту

обидно, причём не только для *элитариев*, но и для *простых людей*, которым невольно приходится строить вульгарные предположения о некоторых механизмах российской кадровой политики.

Сюда же можно отнести малосостоятельную гипотезу о слабом владении рядом носителей языка его литературными нормами, так как вышецитированные высказывания в общем-то не содержат нарушений этих норм.

Следует исключить, по всей вероятности, и некое корпоративно обусловленное пренебрежение ораторов к аудитории. Напомним, что ещё в 2012 г. президент РФ чётко предостерёг высших государственных служащих: «Власть не должна быть изолированной кастой» [Путин 2012]; хорошо известно, что буквально все распоряжения цитируемого речедеятеля тщательно и неукоснительно выполняются его подчинёнными; это можно наблюдать повсеместно (ср. хотя бы опыт воплощения традиционных «майских указов»).

Может быть, каким-то загадочным образом на «всю королевскую рать» магической аурой снисходит та самая «эпифания божества», которую социум издревле проецирует на властителя [Хёйзинга 1997: 168], – но это всё-таки чересчур мистично.

Слишком смелым было бы допущение о присутствии в приведённых цитатах неких изощрённых квазириторических приёмов, например, с целью привлечения повышенного внимания аудитории к каким-то кардинально важным проблемам: как следует из многочисленных комментариев, благодарная аудитория не нуждается в дополнительных катализаторах своего интереса к афоризмам глубоко симпатичных ей персонажей.

Таким образом, целесообразно всё же рассматривать вербальные феномены, как представленные здесь, так и ситуативно и авторски-статусно подобные им, прежде всего в аспекте социолингвистическом. Заметим, что эта постановка вопроса далеко не нова, но в связи с социальной природой и функционированием языка как основного средства общения сохраняет свою непреходящую актуальность.

Напомним, что к этой проблематике обращался в разное время ряд выдающихся отечественных лингвистов.

Л. В. Щерба обоснованно полагал: «…Всякая система выразительных средств, образующая литературный язык, носит на себе тот

или другой отпечаток идеологии господствующих классов и что она обыкновенно бывает приспособлена прежде всего для выражения именно этой идеологии» [Щерба 1974б: 267] (кстати, ср.: «Философия социал-дарвинизма <…> актуальна как никогда. Мало того, она и есть – наша государственная идеология. В качестве идеологии социал-дарвинизм не озвучивается, но, безусловно, подразумевается» [Прилепин 2009: 37]).

Несколько ранее Е. Д. Поливанов, рецензируя известную книгу А. М. Селищева, отмечал, в частности, что основной объект его описания можно определить и как «социально-групповой диалект»: «язык культурной верхушки современной Советской России, – язык, которым говорят и пишут революционные деятели наших дней, т. е. активная верхушка ВКП(б) прежде всего» [Поливанов 2001: 336]; верно оценена ведущая роль, «которая принадлежит в языковых процессах революционной эпохи этой верхушке» [Там же]. По-прежнему заслуживает внимания и то, что «мы можем констатировать типичнейший для истории языковых культур случай, когда новый класс, приходящий к политическому господству на место другого, ранее господствовавшего <…> механически перенимает у последнего и внешние признаки его привилегированности (в том числе и языковую традицию)» [Поливанов 2001: 324] (см. также [Романенко 2003; 2008]).

Можно сказать, что цитированные мнения специалистов взаимно дополняют друг друга, ориентируя тем самым исследователей именно на социолингвистические изыскания в области публичной речевой деятельности. Если предположить в качестве первопричины устойчивых и константно возобновляемых вербальных феноменов всё усугубляющуюся дифференциацию общества по статусно-имущественному признаку, то неизбежно и чёткое обособление уже сформировавшихся групп, в том числе и по речевому маркеру, причём возникновение диглоссии в её привычном понимании вовсе не обязательно.

Однако уже сегодня в русскоязычном дискурсе присутствуют весьма симптоматичные феномены, когда с помощью, казалось бы, одних и тех же слов как звукобуквенных комплексов именуются совсем разные, а подчас и противоположные, взаимоисключающие понятия. Примерами могут служить такие изыски российского офи-

циоза, как фактически легитимизированные его персонажами варианты применения слов *проект*, *амбициозный*, *оптимизация* (когда доходит почти до энантиосемии) [Васильев 2013: 543–575] и проч. Или: многолетние ламентации по поводу *кризиса* время от времени уравновешиваются ободряющими *простых людей* сообщениями о двукратном росте числа долларовых миллиардеров в России и о замечательных прибылях некоторых российских банков, то есть – о росте благосостояния *элиты*. Аналогичным образом стремлением к *справедливости* объясняются, с одной стороны, отказ от введения прогрессивной ставки подоходного налога для *элиты*, с другой – перманентное поднятие для *населения* жилищно-коммунальных тарифов, платы за электроэнергию и т. п. поборов. Складывается новейшая омонимизация: *кризис*[1] – и *кризис*[2*], *справедливость*[1] – и *справедливость*[2], и т. д.

Следовательно, социально-иерархически детерминированное варьирование речекоммуникативного применения ресурсов национального языка действительно имеет место. Поскольку же у доминирующей страты, кажется, ещё есть формальная потребность в том, чтобы остальные были способны адекватно интерпретировать вербальные акты властителей, то это подчёркивает необходимость интенсивного проведения широкой разъяснительной (может быть, точнее – герменевтической) деятельности с целью просвещения масс. Причём здесь вряд ли вполне уместны рекомендации вроде: «Но как узнать мнение начальства? Нам скажут: оно видно из принимаемых мер. Это правда… Гм! нет! Это неправда! Правительство нередко таит свои цели из-за высших государственных соображений, недоступных пониманию большинства <…>. Никогда не понять ему их, если само правительство не даст ему благодетельных указаний» [Прутков 1976: 139] – ср. так называемую пенсионную реформу 2018 г., пропагандистское обеспечение необходимости которой было столь слабым, что производило впечатление чего-то ненужного.

В данном случае речь идёт о следующем. Допустимо предположить, например, что использование некоей группой речедеятелей

* Не следует исключать и возможностей вербально-магического подхода к номинациям реалий, ср.: «Е с л и м ы для себя р е ш и м , что это *кризис*, то он и будет. Е с л и м ы р е ш и м , что это **не** *кризис*, то и *кризиса* не будет» [Артамонов]. О подобных экспериментах см., например, [Васильев 2013: 568–575 и др.].

части ресурсов национального языка имеет определённым образом ориентированный характер. Иначе говоря, это нечто вроде особого социолекта, обладающего сакральностью, доступной лишь посвящённым, но совершенно недосягаемой для профанов, то есть широких масс носителей того же языка. Однако в таком случае не вполне понятно, к кому именно обращены вышецитированные дискурсивные фрагменты. Если только к членам гомогенной социальной группы, то вовсе не обязательно широкое тиражирование их речений через каналы СМИ («канализация»), поскольку так называемое *население* всё равно не способно постичь высокие человеколюбивые замыслы своих руководителей – а об этом непонимании свидетельствуют странные на первый взгляд реакции многочисленных адресатов – *простых людей*. С другой стороны, общение власти с подданными – необходимый элемент жизнедеятельности демократического государства.

Возможно допустить также, что, по крайней мере, у некоторых лексических единиц в речи *элиты* имеются смыслы, далеко отстоящие от семантики тех же слов в более или менее традиционном понимании *населения* (см. [Васильев 2018: 112–121]). Одной из действенных мер, способствующих устранению причин гипотетических коммуникативных барьеров в таком случае, могла бы стать активизация научно-лексикографических усилий в истолковании ключевых лексем, употребляемых *элитой*. Предлагаемые изыскания, конечно же, должны производиться за счёт средств государственного бюджета (поскольку рассматривается специфика речевой деятельности государственных людей) и увенчиваться постоянно дополняемыми изданиями соответствующих словарей для са́мого широкого круга пользователей. Ещё более продуктивным стал бы соответствующий правительственный сайт.

Такой подход будет весьма эффективным в преодолении «смысловых ножниц» между высказываниями *элиты*, исполненными самых благих намерений, и адекватным их восприятием *простыми людьми*, сегодня зачастую искренне не способными понять доброжелательные интенции властей предержащих.

Совсем недавно стало известно, что предприняты некие конкретные шаги, так сказать, во встречном направлении: «Российских чиновников научат правильно говорить с журналистами и *обычными гражданами*. Высшая школа госуправления РАНХиГС запустила

специальный образовательный курс “Государство говорит!”, рассчитанный на региональных госслужащих <…>. Экспертами и преподавателями стали известные журналисты, блогеры, пресс-секретари» [Герейханова 2019: 2]. Поскольку уровень культуры речи многих таких наставников хорошо известен, то несомненно, что уже в ближайшее время они «чиновников научат говорить простым и понятным языком» [Там же].

Социолингвистические исследования в этой ситуации приобретают особую значимость. Поэтому изыскания в данном направлении должны быть продолжены, тем более, что о недостатке фактического материала говорить пока не приходится.

P. S. Необходимо помнить, что самые катастрофичные угрозы для страны исходят вовсе не извне. Оказывается, «если мы сейчас просто возьмём и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний», «мы просто не найдём достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным компаниям или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны…» [В. Путин. Прямая линия 20.06.19 – http: / / www.kremlin.ru / events / president / news / 60795]. Нельзя же допускать, чтобы зарубежные государства резко разбогатели за счёт привлечения талантливых менеджеров-эмигрантов, в то время как Россия останется без мудрых руководителей-патриотов.

2. Коннотативные трансформации словосочетания *простой человек* в истории русского языка

Всяк сверчок знай свой шесток.

Пословица

Хорошо известно, что самым динамичным уровнем любого языка является лексико-фразеологический, наиболее непосредственно связанный и с мышлением человека, и с многообразной жизнедеятельностью социума. Любые эволюции, происходящие в нём, получают свое воплощение в семантике и / или в коннотации слов и устой-

чивых словосочетаний. Подчеркнём, что для называния каких-либо новых феноменов вовсе не требуется сложение ранее не существовавших лексико-фразеологических единиц с помощью уже имеющихся в данном языке морфем, тем более – введение в автохтонный языковой массив иноязычных заимствований (как это без особой видимой необходимости делается в сегодняшней России); гораздо активнее происходит переосмысление лексем, зачастую издавна и хорошо известных [Трубачёв 1984: 49]. Не стал исключением и современный нам период.

Предварительно отметим два обстоятельства, представляющиеся важными. Прежде всего, лексическое значение субстантивного компонента данного единства, то есть существительного *человек,* несмотря на сегодняшнюю популяризацию сексуальных патологий, не играет определяющей роли для речекоммуникативного обращения фразеологизма в целом: его основной смысловой вес приходится именно на адъективную часть (прилагательное *простой).* Кроме того, несомненно продуктивно сопоставительное изучение языковых единиц, например, в составе синонимических рядов или же антонимических пар. Очевидно активно противопоставляемой сегодня *простому человеку (простым людям)* лексемой сегодня выступает *элита*; современная семантика и прагматика этого слова были достаточно подробно анализированы нами ранее [Васильев 2013: 447–459], что позволяет сосредоточить здесь внимание на первой из упомянутых номинаций, привлекая для анализа прежде всего лексикографические источники.

Прилагательное *простой (простый)* имеет весьма длительную историю, восходя к праславянскому лексическому пласту [Фасмер 1971, 3: 380], [Черных 1993, 2: 72].

В исторических словарях русского языка оно представлено как сверхмногозначное, что, может быть, отражает его более ранний синкретизм. Ср.: *простый* – «прямой»; «прямой, стоящий», «твердый, стойкий», «свободный», «ненагруженный, не несущий тяжести», «первичный, имеющий начало в самом себе», «преисполненный», «чистый», «простодушный», «скромный», «извинительный», «простирающийся, длящийся», «неразумный, бессмысленный», «простой, понятный», «обыкновенный», «незначительный, ничтожный», «неважный», «простой, принадлежащий к простому народу»,

«мирской, не принадлежащий к духовенству» [Срезневский 1958, 2: 1582–1583] – и *простой (-ый)* – 1) «стоящий прямо, прямой»; 2) «прямой (о волосах)»; 3) «свободный»; 4) «пустой, не занятый, ничем не заполненный»; 5) «открытый для прохода, незапертый»; 6) «обычный»; 7) «чистый»; 8) «принадлежащий к простому народу»; 9) «простодушный»; 10) «глупый, недалекий»; 11) «лишенный или лишившийся чего-либо; 12) «первичный, имеющий начало в самом себе (о Боге)»; 13) «один, сам по себе»; 14) «мирской, нецерковный, не принадлежащий к миру»; 15) «малый, незначительный»; 16) «непритязательный, скромный» [СлРЯ XI–XVII вв. 1995, 20: 233–234].

По обоснованному суждению В. В. Колесова, у прилагательного *простой* «семантический синкретизм корня усложняет определение смысла, особенно в устойчивых формулах речи, которые проходят через столетия без видимых изменений» [Колесов, 2004а: 290]; к числу подобных выражений цитируемый автор относит и *простъ человѣкъ* [Там же], подтверждая свое мнение рядом примеров из средневековых памятников письменности [Колесов 2004а: 291]. Тот же исследователь полагает также, что древнерусский *простой человек* в первую очередь *простой* – «по смыслу слова “открыт” навстречу всем влияниям и зависимый от обстоятельств жизни <…>. Это человек из толпы, который не имеет отличительных признаков, но вовсе не так прост» [Колесов 2004б: 154–155].

Конечно, следует учитывать и подобные оценки, однако нас более интересуют возможности именно социально-статусной характеристики человека с помощью прилагательного *простой (простый)*. Такие случаи для древнерусского периода весьма частотны.

Так, в материалах Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. [КДРС] обнаруживаем: «… На месте, зовомо Колочка, идеже жилище имый некий человек, земледелец *прост,* поселянин и убог сый, именем Лука» [Пов. о Луке Кол., XVII в.]. – «[1015:] Тако бо Исаия рече: согрѣшиша отъ главы и до ногу, еже есть отъ цесаря и до *простых людей*» [Лавр. л. 3, 137]. – «Вѣмы бо многи невѣгласы бывша <…> овии от сановитыхъ, а другия от *простыа* чади» [Прол.14в., л.142]. – «Да король же польской къ гетману Хмельницкому посылалъ отъ себя съ тайнымъ письмомъ *простаго* мужика» [АМГ, 2, 319. 1653]. – «Собрашася <…> попове и бояре и *простии* людье…» [Ипат. лет., с. 208]. – «… Отъ боляръ и отъ купець великихъ, и отъ

священниковъ и отъ *простыхъ* людеи…» [Ерм. лет.,157]. – «И повелѣ избити плѣнъ *простыхъ* людей, а воеводъ и бояръ и лучшихъ людей поведе съ собою въ Кіевъ» [Ник.лет. 9в, 157. XVII в. – под 1153г.]. – «Отца имѣаше (Ольга)… от рода не от княжеска, ни от велмож, но от *простых* бяше человѣкъ» [Ольг. П., 380]. – «Яко еще воинъ, или купець, или *простыи* чл҃къ» [Кормч. Балаш., 214, перв. чет. XVIIв.]. – «Безчестно есть се и от *простых*, не токмо от начальных» [Пов. об осаде Пск., с.162, к.XVII в.]. – «Ведь дати воля царю – ино и псарю; дати слабость вельможе – ино и *простому*» [Ив. Гр. Посл., 173. 1573г.]. – «Восе ещо братъ нашъ не учнешь насъ писати всеа Русіи или учнеть насъ писати Иваномъ, как *простого* человѣка» [Пам.дипл. МГ (П.-Лит.) 3, 293. 1563г.] и мн. др. [КДРС].

Примеры употребления прилагательного *простой (простый)* в интересующем нас значении встречаем и в Картотеке Словаря русского языка XVIII в. [КСлРЯ XVIII в.]: «*Простый* – худородный, простаго рода» [Вейсм. Лекс. 1731: 240]. – «Изъ *простыхъ* людеи бываютъ часто знатные» [т. ж.: 546]. – «Бѣдные люди <…>, *простой* народъ» [Лекс. Волчк. 1755, 1: 274]. – «Не *простыи* только народъ, но и высокий принцы и духовныя власти…» [Ф. Пркп. Отзыв…1733]. – «*Простый* народъ всѣ оные роды грибовъ означаетъ однимъ названиемъ поганыхъ» [Живописец 1772: 54]. – «*Простой* народъ не вѣдаетъ, како разнствуетъ власть духовная отъ Самодержавной» [Дух. Регл. 1721, М. 1776: 10] и проч.

Русская академическая лексикография конца XVIII в. представляет структуру многозначного прилагательного *простый* так: «1) неосложненный; 2) порожній, не занятый ни чѣмъ; 3) обыкновенный, не имѣющій прикрасъ; 4) нетрудный, незапутанный; 5) *безпритворный, безковарный, чистосердечный, нелукавый; 6) *непросвѣщенный наукам, неученый; 7) *глупый, оплошный; 8) *низкий, неотличный. Произошелъ отъ простаго рода. Простой народ» [$САР_1$ 4, стлб. 1091]; та же иерархия дефиниций и их формулировки сохраняются в $САР_2$ [$САР_2$, 5, 1822, стлб. 645] и – с весьма незначительными изменениями – в [Сл. Соколова]; во всех этих словарях характеристика социального статуса находится на последнем месте.

Несколько иная картина дана в хронологически следующем словаре; здесь *простый* – «1) не имеющий в себе особенного достоинства или прикрасы; обыкновенный; 2) нетрудный, не запутанный; 3) л о г.

несложный; 4) не занятый ничем; порожний, пустой; 5) непросвещенный, неученый; 6) церк. не причастный коварству; чистый; 7) имеющий ограниченный ум, недогадливый; 8) незнатный; 9) церк. прямой; 10) стар. свободный, не подлежащий задержанию или какому-л. препятствию»; в качестве устойчивого приводится словосочетание *простый народъ* – «люди низшего сословия; чернь» [Сл. 1847 г.].

Из обширной статьи [Сл. Даля] приведем лишь выдержки: «*Простой* народъ, податной, чернь, крестьянство» [Даль 1955, 3: 512]; ср. здесь «*простолюдинъ* <…> *простолюдство* – человек или люди простого рода, чернь, податное сословье, или крестьяне» [Даль 1955, 3: 514].

Первый большеобъемный советский толковый словарь [Сл. Ушакова] предложил следующие дефиниции, также иерархически организованные: «*простой* – 1) элементарный по составу, однородный, не составной <…>; 2) безыскусственный, не вычурный, не затейливый, не замысловатый; 3) грубый по качеству, не первосортный; 4) добродушный, не церемонный <…>; 5) глуповатый, недалекий по уму (разг.); 6) ничем не выделяющийся из остальных, самый обыкновенный, обыденный; 7) принадлежащий к непривилегированному классу, сословию (дореволюц.; первонач., недворянский) // в знач. сущ. *простой* – человек, принадлежащий к непривилегированным классам (дореволюц.); 8) пустой, порожний (устар. и обл.)» [СУ 1939, 3. стлб. 1009-1010].

Хронологически следующий советский академический словарь [БАС$_1$] так характеризовал семантику прилагательного *простой*: « 1) не содержащий многих элементов, частей; не составной, не сложный <…>; 2) нетрудный, несложный для понимания, разрешения, осуществления, выполнения и т. п.; 3) не замысловатый, не вычурный, без особых украшений; 4) недостаточно обработанный, отделанный; грубый по качеству; 5) обыкновенный, ничем не выделяющийся из других; заурядный; 6) принадлежащий к непривилегированному классу, сословию; 7) прямой, бесхитростный, простодушный; 8) недалекий по уму, глупый; 9) устар. и обл. непокрытый (о волосах); 10) обл. пустой, порожний» [БАС$_1$, 1961, 11, стлб. 1394–1398].

Однако представляется, что и в последнем цитируемом издании не отмечена по времени почти совпадающая с ним заметно возросшая благодаря официозным агитпроповским текстам частотность употребления прилагательного *простой* в значении, которое тради-

ционно, начиная с первых русских академических словарей, задвигается лексикографами на одно из иерархически последних мест – то есть «принадлежащий к непривилегированному классу, сословию».

Понятно, что по причинам социально-идеологического характера оно как будто стало уходить на периферию словарного состава – под аккомпанемент лозунгов всеобщего равенства и проч.

Но постепенно слово *простой* начинает обретать несомненно мелиоративную окрашенность, выступая вербальным символом некоего особенного – и притом высокого достоинства, и не только отдельной личности, а общественной макрогруппы. Об этом можно судить по многочисленным примерам из официальных речей, публицистических и литературно-художественных опусов, содержащихся в [БКСО].

Вот лишь некоторые из них: «*простые* граждане» [Ленин. Речь 26.11.20] (возможно, это высказывание послужило образцом-первоисточником для дальнейшего тиражирования); «*простые* советские *люди*» [Известия, 25.06.50]; «*простой человек* труда» [Известия, 13.10.50]; «животворные идеи Ленина и Сталина о социалистическом соревновании одухотворили и возвеличили труд миллионов *простых людей*» [Правда, 29.04.52]; «Все выступления рабочих, колхозников, интеллигенции проникнуты чувством законной гордости советских людей, живущих в стране, где забота о благе *простого человека* превыше всего» [Правда, 02.04.53]; «Будущее определяется не высокими словами о благе людей <…> а кропотливой и повседневной заботой о каждом без исключения *простом человеке*» [Паустовский. Синева, 1954]; «И те люди, которых принято [!] называть *простыми* обыкновенными *людьми*, скромными тружениками, – девушка-сталевар, машинист со Сталгрэса, рабочие-ополченцы, партийные работники…» [Гроссман. За правое дело, ч. 2, 1955: 359];

«По полюсу гордо шагает,
Меняет движение рек,
Высокие горы сдвигает –
Советский *простой человек*!
Отбросивши сказки о чуде,
Отняв у богов небеса, –
Простые советские *люди*
Повсюду творят чудеса!»

[Лебедев-Кумач. Советский *простой человек*. (Кн. песен 3)] и мн. др. [БКСО].

Осознание непреложности и, главное, обоснованности этого социального статуса убедительно поддерживалось и позднее́, деятелями культуры, сочинявшими песни, в которых «рабочий малый» уверенно заявлял: «...А без меня И солнце б утром не вставало <…>, Когда бы не было меня» (сл. Л. Ошанина), а также книги – вроде тех, «где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нём перед Иваном Грозным, чем окончательно убедил комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства» [Платонов 1977: 55].

По-видимому, труженики агитпропа довольно быстро сообразили, что сделанное ими устойчивым и в высшей степени положительно оценочным (чуть ли не дифирамбическим) словосочетание *простой человек* может быть успешно применено и по отношению к зарубежным братьям по классу – и ввели эту экстраполяцию в повседневную речевую практику, которой придерживались и советские руководители (хотя возможна и обратная последовательность действий, но это не принципиально).

Об этом свидетельствуют многие примеры из [БКСО]: «Миллионы *простых людей* стоят на страже мира и безопасности» [Внешняя политика СССР 1949: 672]. – «*Простые люди* всего мира прекрасно понимают, что урегулирование советско-американских отношений представляет собой центральную проблему» [Внешняя политика Советского Союза 1950: 484, изд.1953]. – «*Простые люди* во всех странах мира <…> решительно осуждают политику американских агрессоров» [Маленков, Речь на собрании избирателей. 09.03.50]. – «*Простые люди* всего мира» [Большевик. 13.04.50], то же – [Правда. 05.03.52]. – «*Простые люди*, которые составляют громадное большинство населения во всех странах, хотят только того, чтобы возможности пользования благами всего мира были как можно более прочными» [Молотов. Вопросы внешней политики, 272]. – «Трудящиеся стран народной демократии, миллионы *простых людей* в наших странах…» [Хрущев, речь 1954]. – «Счастливый путь стране единственной,

Чей жаркий свет в любой дали
Неугасим, как светоч истины,
Для всех *простых людей* земли!»

[А. Жаров. Счастливый путь (1, 67), 1954] и т. п. [БКСО].

Вполне возможно, что именно эта высокая частотность употребления словосочетания *простой человек (простые люди)* стимулировала создателей последнего академического толкового словаря советской эпохи к формулировке ранее не отмечавшегося значения. Иерархия получилась такой: «*простой* – 1) не сложный, не трудный, легко доступный для понимания, выполнения, управления и т. п.; 2) элементарный по составу, однородный, не составной; 3) безыскусственный, не замысловатый, не вычурный; 4) обыкновенный, ничем не примечательный; 5) обычный для какого-л. вида предметов <…>; 6) ничем не осложненный, понимаемый в прямом смысле; 7) открытый, бесхитростный, прямой, не церемонный; 8) разг. недалекий, наивный; 9) недостаточно обработанный, отделанный, грубый по качеству; 10) устар. принадлежавший к непривилегированному сословию; 11) принадлежащий к трудовой части общества; трудящийся. *Простые люди* всего мира» [МАС$_2$ 1983, 3: 526–527].

Заметим, что, кроме введения в статью (пусть и на финальной позиции, что, впрочем, оправдывается хронологической приуроченностью) толкования, оказавшегося востребованным, произошла и некоторая существенная, но малоуловимая взглядом корректировка: причастие в дефинициях *простой* 7 [Сл. Ушакова] и 6 [БАС$_1$] («принадлежащий к непривилегированному классу, сословию») обрело наконец форму прошедшего времени в знач. 10 [МАС$_2$]. По-видимому, этой деталью манифестировалась декларированная в ряде тогдашних официальных документов социальная однородность советского общества, более не дифференцированного на эксплуататоров и эксплуатируемых. Казалось, что достигнутый результат исторически окончателен.

Однако относительно недавно в СССР, а затем и в России произошли радикальные изменения, вследствие которых была возрождена даже не селекция членов общества (насколько еще возможно так называть получившийся социальный феномен), но глубочайшая пропасть между имущими и неимущими, т. е. между «элитой» и «простыми людьми». Собственно, первая группа приватизировала (попросту – беззастенчиво присвоила) то, что́ в течение десятилетий создавала вторая.

Приведём лишь некоторые примеры современной речекоммуникативной практики, свидетельствующие о новейшем социальном расслоении: «Интересы государства не совпадают с интересами *простых людей*» [Вести. РТР. 09.11.98]. – «Кто будет звонить [по т. н. «прямой линии»]: *простые люди*, или представители власти, или предприниматели?» [КГТРК. 18.11.98]. – «Группа ”Сектор газа” рассчитана на *простых людей*, но нравится и политикам, и милиционерам, и профессорам...» [Башня. РТР. 27.11.98]. – «*Простой народ* был запуган этими терминами – «инфляция», «эмиссия» … – и не знал, что они значат» [Подробности. РТР. 28.11.98]. – «Изменение тарифов на телефонную связь ударит по карману <…> *простых граждан*» [Доброе утро. ОРТ. 28.01.98]. – «Кошельки *простых граждан* пополнятся [в результате повышения минимальной зарплаты] не раньше первого июля – пенсии, стипендии, пособия, зарплаты бюджетникам...» [Новости. RenTV – 7 канал. 13.02.99]. – «Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и главный газпромовец Алексей Миллер, обычно неприступные, а тут [на стадионе] не отличаются от *простых* фанатов» [Новости. ТВК. 30.08.08]. – «Важно, какое отношение к этому явлению [коррупции] среди чиновничества и среди *обычных* людей» [Д. Медведев. Сегодня. НТВ. 07.04.10]. – «Законы должны быть действенны для всех <…>, чиновник, бизнесмен или *простой* гражданин Российской Федерации» [М. Прохоров. Сегодня. НТВ. 17.02.08]. – «И здесь не имеет значения, депутат ты или *просто* человек» [С. Вострецов, депутат Госдумы. ОТР. 03.10.18] и т. п.

Можно заметить, что некогда пафосное звучание, которым советская пропаганда наделила словосочетание *простой человек (простые люди)* и под., сегодня решительно утрачено.

Глубокая социальная дифференциация, выразившаяся в оппозиции *элита / простые люди*, влечет за собой серьезные последствия. Ранее было верно замечено: «Мы знаем политиков наперечет, они давно утратили авторитет в обществе. А других нет… Частным случаем этой трагедии <…> стало исчезновение *простого человека* с экранов телевизора и с газетных страниц. *Простой человек* как символ какого-то движения общества» [Богданов 2007: 30].

Допустимо предположить, что несколько двусмысленная коннотация словосочетания *простой человек* (*простые люди*), сложившаяся в последние годы в результате постоянного контрастирования между

традиционным в советское время почти пафосным ореолом и утвердившимся затем чуть ли не пейоративным оттенком, стала доступна пониманию некоторых инстанций. Поэтому в российском официозном дискурсе происходит его замещение иным, но семантически подобным: ср. варианты *рядовой человек*, *рядовой гражданин*. Ср.: «<…> Осуществляя масштабный план развития железнодорожного транспорта, мы никогда не будем забывать о *рядовых людях*, которые работают на дороге» [В. Путин, 24.10.07 – https: / / kremlin.ru / events / president / transcripts / 24619]. – «Это очень важно, чтобы мы все, и *рядовые граждане*, и те, кто занимается какими-то руководящими функциями <…> чтобы мы понимали динамику происходящих событий… <…> Всё-таки главный герой этого фильма [«Президент»] должен был быть *рядовой человек*» [https://special.kremlin.ru/events/president/news/49358]. – «…Если мы хотим, чтобы люди нам доверяли <…>, нужно чувствовать, как *рядовой человек* живет» [16.04.15 – URL:http:kremlin.ru/2/ 49261]. – «Я знаю, что здесь собрались не какие-то большие чиновники и начальники <…> здесь *рядовые люди*, *рядовые дагестанцы*…» [В. Путин, 13.03.18 – https://special.kremlin.ru/events/president/news/57050] – и: «Сегодня миллионы *рядовых людей* говорят Вам спасибо за страну …» [Н. Меркушкин, бывший глава Самарской областной администрации, 02.11.17 – https: / / special.kremlin.ru / events / president / transcripts / 55988] и под.

Объективности ради, отметим, что социально ориентированное употребление словосочетания *простой человек* спорадически встречается в речевых актах носителей языка старшей возрастной страты, то есть усвоивших эту прагматику ещё с советских лет, например, «… Для *простого человека*, который всю жизнь работал, это [получение российской пенсии трудовыми мигрантами из ЕАЭС] очень важно» [В. В. Путин. Новости. RenTV. 29.05.19].

Причём в дискурсе этого коммуниканта (безусловно одарённого оратора) также используются вариативные обозначения того же именуемого объекта, ср.: «Представим себе, что министр будет получать, как *рядовой работник* <…>. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы *рядового работника* повышались <…>. В том же здравоохранении или даже в образовании первые лица получают в 10 раз больше <…>, чем *рядовой сотрудник* больницы какой-либо или образовательного учреждения» [Прямая линия с Владимиром Путиным. 20.06.19 – http:/ www.kremlin.ru/ events/president/ news/60795].

Впрочем, недавно стали известны и несколько иные варианты именования представителей низших социальных страт, заметно отличающиеся от официозных в коннотативном аспекте. Это высказывания начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области И. Алашкевич по поводу местных жителей, пострадавших от наводнения 25 июня 2019 г., с которыми встретился В. Путин. «Люди, вся эта *бичевня*, пришли – вы бы видели, как они одеты <…>. Увидев президента, это *быдло* было готово кипятком описаться от счастья» [https://www.svoboda.org/a/30112898.html].

Данные цитаты, вероятно, заимствованы из фрагмента внутриэлитарного дискурса, потому были бы чрезвычайно информативны для понимания реального, а не официально декларируемого отношения к плебсу. Однако в силу ряда довольно очевидных обстоятельств подобные факты практически недоступны для исследования.

На основании вышесказанного допустимо заключить, что в России действительно существует дифференциация общества, состоящего из двух частей, не равных между собой по важнейшим признакам.

Первая – *элита* – сформировавшись в единое целое по ряду параметров (главным образом – по праву на собственность и власть), довольно уверенно движется по вектору языковой обособленности, о чём свидетельствуют многие высказывания её представителей.

Вторая, количественно гораздо бóльшая, стабильно остаётся в статусе *простых людей*, озабоченных в основном весьма реальной перспективой своей скорой маргинализации.

Между двумя названными частями российского социума со временем минимализируется возможность полноценной взаимной речевой коммуникации.

Глава 14

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Именование какого-либо объекта (будь то антропоним либо топоним) выполняет прежде всего важнейшую идентификационную функцию: становясь номинацией этого объекта, выделяет его из массы ему подобных и / или каким-то образом контактирующих либо соотносимых с ним.

Относясь к географической единице, топоним или микротопоним участвует в паспортизации ландшафта, тем самым способствуя обеспечению одной из главнейших потребностей человека – успешности попыток безошибочной ориентации в пространстве.

Антропоним же становится чрезвычайно значимым компонентом социализации его носителя, участвуя не только в идентификации, но и в самоидентификации личности своего владельца.

С учетом этих кардинально важных функций, трудно переоценить высочайшую роль имён собственных в различных процессах межличностных связей, бесперебойной деятельности общественных, государственных и подобных механизмов, в познании окружающей действительности и прочее. Неудивительно, что попытки именования кого-, чего-либо изначально были окружены некими вербально-магическими ореолами, со временем как будто менявшими свои источники, но в сущности нередко остающимися константными и по наши дни включительно. Об этом свидетельствуют самые разнообразные, иногда, казалось бы, до взаимной противоположности, весьма многочисленные примеры именований. Их порождают на первый взгляд совершенно различные причины, типологически, однако, довольно сходные между собой. Некоторые из таких традиций наречений рассматриваются в данной главе.

1. Специфика имён собственных

Что в имени тебе моём?
А. С. Пушкин

Имена собственные вследствие очевидной многосторонности и разнообразия выполняемых ими функций неоднократно рассматривались в различных аспектах, устанавливаемых прежде всего исходными методологическими позициями.

Иногда информативная значимость имени собственного – например, антропонима – может быть предельно минимизирована. Такой подход очевидно проявился в некогда хрестоматийном суждении: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с её природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом» [Маркс 1952, 1: 107] (между тем, можно заметить, что антропоним *Яков* содержит хотя бы сведения о половой принадлежности его носителя, а в некоторых ситуациях общения это уже немало).

Совершенно иной точки зрения придерживался П. Флоренский, по существу, признававший высокую сакральность имени собственного. Например: «Именем выражается тип личности, онтологическая форма её, которая определяет далее её духовное и душевное строение <…>. Когда пытаются умалить ценность имён, то совершенно забывают, что имён не придумаешь и что существующие имена суть некоторый наиболее устойчивый *факт* культуры и важнейший из её устоев. Воображать себе отвлеченную возможность придумывания имён есть такая же дерзкая затея, как из существования пяти-шести мировых религий выводить возможность сочинения ещё скольких угодно <…>. Имена гибки и ёмки, способны вместить самые различные частые обстоятельства, в которых живёт данная личность <…>. Перемена места в мире, новое онтологическое и мистическое, а отчасти и просто общественное соотношение с миром, влечет за собою *переименование*, или, с иной точки зрения, переименование производит такой перелом в жизни» [Флоренский 1993: 70; 80; 96; 99].

В стихотворении «Над озером» А. А. Блока описывается, как романтически настроенный поэт наблюдает за одинокой «тоскующей

девушкой» с «легким профилем», которая совершенно (как ему кажется) чужда обыденной пошлости, и восхищается незнакомкой:

«О, нежная! О, тонкая! – И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
Да, Теклой!..»
[Блок 1955, 1: 247].

Однако, когда идеализируемый объект поэтической симпатии проявляет видимую благосклонность к какому-то очень заурядному офицеру, эмоции рассказчика резко меняются:

«Я хохочу! <…>
Кричу: “Эй, Фёкла! Фёкла!”»
[Там же].

Минимальная, казалось бы, трансформация именования лица позволяет выразить совсем иное отношение к нему. Причина этого состоит в различных социальных регистрах потенциальных носительниц схожих, но разных имён.

Ещё А. С. Пушкин, оправдывая свой выбор имени для героини «Евгения Онегина», говорил в примечании к роману: «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фёкла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами» [Пушкин 1978, V: 166]. В тексте это подтверждается эпизодом, в котором суеверная Татьяна пытается узнать имя суженого:

«Чу… снег хрустит… прохожий; дева
К нему на цыпочках летит,
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон»
[Пушкин 1978, V: 89].

Этимологически имена *Текла* и *Фёкла* глубоко родственны: известное издание от первого из них отсылает ко второму: «*Те́кла* <…> см. *Фёкла*» [Справочник 1979: 524], а «*Фёкла* рус. [из греч. Thekla: theos бог + kleos слава]» [Справочник 1979: 527].

Ранее указывалось на высокую частотность в русской деревне XVIII в. некоторых женских имён, среди которых и *Фёкла* [Никонов 1974: 55]; естественно, у дворян имелись иные вкусовые пред-

почтения. Другой автор полагает, что социальная дифференциация при выборе имени была гораздо более тонкой и существовало значительное различие в этом отношении между дворянством столичным и провинциальным [Лотман 1983: 197].

В любом случае поиски имени для своего персонажа блоковским героем обусловлены либо симпатией к объекту именования – и тогда она достойна высокого *Текла*, либо антипатией – и в этом варианте её принижает *Фёкла*.

Иначе говоря, номинация кого-либо сторонним наблюдателем, не знающим имени объекта, может определяться его реальными или мнимыми личными достоинствами.

Известны нередкие случаи, когда фамилии людей, обретших широкую популярность в какой-либо сфере деятельности или благодаря лишь случайной причастности к каким-то событиям и ситуациям, перестают соотноситься с их реальными обладателями (впрочем, далеко не всегда даже визуально знакомыми аудитории) и получают дискурсивное бытие как символы, совершенно не сопрягающиеся с живой действительностью, но чрезвычайно активные в виртуальном мире средств массовой информации.

Так, например, в «ложно умную, ложно занимательную игру» творцов газетных текстов политической тематики «вовлекались разнокалиберные символы», среди которых «совершенно потерявшие человеческий облик отдельные имена: Гинденбург, Маркс, Пенлеве, Эррио» [Набоков 1990, 3: 33–34]. Активные потребители печатной периодики (они «трусы, малодушны и мистичны*») детально обсуждают неведомого им Бисмарка и прочих персонажей газет [Чехов 1955, 3б: 446–450]; мелкий, даже «ничтожный» чиновник вне службы публично разглагольствует: «Гамбетта помер! <…> Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был себе на уме! <…> Он был француз, но у него была русская душа» и т. п. [Чехов 1954, 2а: 15].

Не менее любопытно, что исчезновение привычного для читателя имени государственного деятеля с газетной полосы стимулирует потребителя информации к построению различных гипотетических предположений о судьбе объекта повышенного общественного вни-

* Ещё ранее чтение газет и упорные попытки осмыслить их тексты усугубляют психическое расстройство несчастного Поприщина [Гоголь 1952, 3а: 187–188]

мания. Ср. диалог: «Ну, что Кобургский?» – спросил чёрный купец у рыжего. – «Да ничего сегодня про него не пишут. Второй день уж не пишут. Надо полагать, уж не отменили его. Да и пора. Надоел. Ну что ему мотаться в политическом гарнизоне. Побаловал, да и будет». – «Да нешто это можно, чтобы отменить?» – «Отчего же? Бисмарк всё может» и т. п. [Лейкин 1982: 49]. Иными словами, досужий интерпретатор чьих-то сообщений, из которых в его сознании конструируется призрачный ландшафт мироздания, населенный фамилиями дистанционно (даже от своих фамилий) существующих лиц, допускает частичную трансформацию этого миражного бытия вследствие предполагаемого исчезновения одного из его обитателей – и даже не его самого, но соответствующего ему антропонимического ярлыка. Это, с одной стороны, напоминает трансформацию пропагандистского героя в «нелицо» (см. [Оруэлл 1989: 47–48]); с другой – безудержные и безответственные словесные извержения сегодняшних так называемых «политологов».

Однако возможны и варианты развития событий в, так сказать, обратном направлении: когда случайное упоминание в печати имени какого-либо ничем не примечательного индивидуума способно моментально и значительно повысить его самооценку.

Например, некий неприметный чиновник, в нетрезвом виде попавший под лошадь извозчика, демонстрирует газетную заметку об этом происшествии родственникам и знакомым, «не в силах держаться на ногах от счастья <…>: “Ведь теперь меня знает вся Россия! <…> Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!”» [Чехов 1954, 2: 11–12].

Более того, публикация чьего-либо имени в газете делает совершенно неоспоримым сам факт существования именуемого объекта, даже в том случае, когда газетная заметка документирует прекращение его земного бытия. Так ничем не примечательный и мало кому прежде известный заядлый поглотитель прессы претерпевает чудесную метаморфозу, выпав (или выбросившись) из окна гостиницы: «Да, Просстак любил новости – и вот он сам стал новостью (девять строчек в “Таймсе”), когда разбился о бруклинский асфальт <…>. Он уже не просто “ещё один парень”, он теперь совсем особенный, Тот Самый. С. Просстак стал Человеком!» [Вулф 1982: 435; 445].

2. Основные факторы выбора имени

> Карло <…>, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу. «Как бы мне её назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство – всех их звали Буратино: отец – Буратино, мать – Буратино, дети – тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…».
>
> А. Н. Толстой

По мнению известнейшего этнолога Дж. Дж. Фрэзера, «первобытный человек, не будучи в состоянии проводить чёткое различие между словами и вещами, как правило, воображает, что связь между именем и лицом или вещью, которую оно обозначает, является не произвольной и идеальной ассоциацией, а реальными, материально ощутимыми узами, соединяющими их столь же тесно; что через имя магическое воздействие на человека оказать столь же легко, как через волосы, ногти или другую часть его тела. Первобытный человек считает своё имя существенной частью самого себя и проявляет о нём надлежащую заботу» [Фрэзер 1983: 235]. Эта забота выражалась в самых разных формах, и прежде всего – в табуировании либо околоэвфемистических актах, эксплицированных в речевом общении путём замены реальных имён на некие их субституты.

Так, у представителей совершенно разных культур имели место процессы, направленные по одному и тому же вектору, то есть – сокрытия в тайне истинного имени его носителя и использования в коммуникативном обороте чего-то вроде общедоступного дубликата подлинного антропонима. Подобное имело место у австралийских аборигенов (где тайное, или священное, имя человека скрывалось от колдунов, представителей чужих, а значит – чуждых кланов, дабы они не могли навредить их обладателю; в обиходе же употреблялся заменитель «священного» имени); то же происходило в практике многих других племён. Даже в Древнем Египте, казалось бы, стоявшем на гораздо более высокой ступени цивилизации, у каждого было два имени: «истинное и доброе или, иначе, большое и малое. Доброе, или малое, имя было известно всем; истинное же, или боль-

шое, имя египтяне держали в глубокой тайне» [Фрэзер 1983: 236]. См. там же ещё более усложнённые модификации таких же подходов к использованию антропонимов: табуирование имён умерших, родственников, правителей и иных священных особ, наконец, богов [Фрэзер 1983: 239–251].

Приведём по поводу последней группы, подлежащей номинации, хотя и древний, но доселе актуальный пример, содержащийся в императивах одной из мировых религий – в иудаизме. «…Знание имени божества даёт магическую власть над самим божеством <…>. Овладев именем, можно овладеть прерогативой бога – способностью созидать живое <…>. Магические действия с именем бога запрещены ещё в ветхозаветной книге Иова (20, 7) <…>. Ибо мифологические имена служили тому, чтобы впустить через потайной вход изгнанные языческие представления о возможности для смертного получить власть над богом» [Иудаистическая мифология 1987, 1: 589].– «Элохи́м, Элоги́м (евр. ĕlōhîm); одно из обозначений бога в ветхозаветной мифологии (встречается в библии до 2 тысяч раз). Слово «Э». будучи формой множественного числа, несёт в себе отчасти память о древнейшем многобожии еврейских племён. Однако сама эта форма, согласующаяся в Библии почти всегда с глаголами и прилагательными в единственном числе, выражает, скорее, значение квинтэссенции, высшей степени качества, полноты божественности в лице единого Бога, вобравшего в себя всех до того бывших богов [Мейлах 1988, 2: 660] – «Я́хве, Иа́хве, Я́гве, (евр. YHИH), в иудаизме н е п р о и з н о с и м о е имя бога <…>. В соответствии с запретом в практике иудаизма (фиксированным десятью заповедями) на произнесение имени бога «всуе» (Исх. 20, 7; Втор. 5, 11), Я. <…> долгое время, по преданию, произносилось вслух не слышно для окружающих раз в году (в День очищения) первосвященником, причём тайна его звучания устно передавалась по старшей линии первосвященнического рода. С III века до н. э. произнесение этого имени было полностью табуировано, там же, где оно встречается в текстах, вместо него произносится Адонай (в русском переводе, исходящим из греческого перевода Библии, т. н. Септуагинты, передаётся как “Господь”» [Мейлах 1988, 2: 687].

Несомненные отголоски этих верований иногда слышатся и сегодня, даже на уровне публичного разговорного общения. Напри-

мер, учитель истории из Москвы Т. Эйдельман в телевизионном «Пресс-клубе» решительно заявила следующее: «Мы привыкли, что Великая Отечественная война – это святое… Святое – это то, о чём не говорят. И чем меньше мы будем говорить о святынях, тем больше шансов, что они у нас появятся…» [ОРТ, 22 апреля 1997 г.]; собственно, данное высказывание гармонично соответствовало общей тональности этой телепередачи, посвящённой явно санкционированной свыше генеральной цели тогдашней пропаганды: дискредитации всего сколько-нибудь советского, а шире – и всей отечественной истории вообще как некоей тупиковой ветви эволюции (не только социально-политической, но и этнической) – истории русских в фундаментальной роли государствообразующей нации. Один из краеугольных постулатов иудаизма оказался здесь в агитационном отношении весьма уместным. А ведь забвение народом своего прошлого обрекает этот народ на более чем туманное будущее, включая потенциальное исчезновение этноса.

В Древней Греции имена детям давали совершенно произвольно, часто придумывая новые, не встречавшиеся ранее, но связанные с какими-либо обстоятельствами рождения ребёнка, или с какой-нибудь характерной чертой, которая его выделяла уже при появлении на свет или же которую родители хотели видеть в нём впоследствии; в последнем случае несомненно можно наблюдать воплощение вербальной магии: попытка придания желаемых свойств именуемому маленькому человеку. Ещё более наглядно такое стремление к прямому включению в антропоним сакрального компонента проявлялось и при несколько ином подходе к именованию: «Немало имён было образовано от имён богов или богинь – так называемого ономататеофора. Твердо веря, что каждое имя содержит в себе нечто магическое, греки называли детей даром того или иного божества, как бы передавая тем самым ребёнка под опеку его бессмертного тёзки. Среди «ономататеофора» весьма распространены были такие: Диодор (дар бога Зевса), Аполлодор (дар бога Аполлона), Артемидор (дар Артемиды, но, может быть, и дар Артемиде), Диоген (происходящий от Зевса)» [Винничук 1988: 183–184].

Столь же вербально-магическим подходом к наречению младенца был и такой, в соответствии с которым избранное для ребёнка имя безусловно должно было помочь родителям в воспитании у его

обладателя той или иной положительной (социально полезной) черты характера или же обеспечивавшее именуемому успех и благополучие. Здесь можно встретить такие понятия, как мудрость, доброта, сила, справедливость, благочестие, а также победа и слава [Винничук 1988: 184], вроде Софокл – «славный мудростью», Фемистокл – «славный справедливостью», Елена – «светлая» и т. д.

Чрезвычайно интересно, с ономастической точки зрения, что исконный антропоним, данный ребёнку, мог с течением времени утратиться – что, собственно, и происходило в реальной жизни великого множества конкретных людей. «Если в дальнейшем, подрастая, юный грек получал ещё и прозвище благодаря каким-либо особенностям своего характера [которые родители нередко пытались запрограммировать путём почти волшебного акта именования! – А. В.] или внешности, прозвище, которое он сам принимал и признавал, то в Элладе, в отличие от других стран, оно закреплялось за ним навсегда, настоящее же его имя вскоре забывалось. Так, знаменитый Платон первоначально звался Аристоклом (славный своим совершенством) – такое имя дали ему родители. Со временем же его прозвали Платоном, то ли за сильную, широкую грудь, как полагают одни, то ли за высокий лоб, как думают другие» [Винничук 1988: 184–185].

В Древнем Риме антропологическая система была совсем иной, нежели в Элладе: римляне гораздо большее значение, чем греки, придавали «фамилиям» – родовым именам, переходящим от поколения к поколению. Это было связано прежде всего с существовавшими в Риме изначально социальными и политическими различиями между полноправными патрицианскими родами и родами плебейскими, которые ещё должны были добиваться в городе политического равноправия [Винничук 1988: 187], иначе говоря, влиться в привилегированный сегмент общества, став для него «своим». Первоначально римлянин носил два имени: личное (преномен) и родовое (номенгентиле); в эпоху республики к ним добавлялось семейное прозвище (когномен), а иногда человек получал и ещё одно – индивидуальное (агномен). Последнее подчеркивало признанно высокий социальный статус его носителя, поскольку присваивалось за выдающиеся подвиги или за образцовое, а потому оставшееся в памяти граждан исполнение должностных обязанностей. Так, Публий Кор-

нелий Сципион, победитель Ганнибала, получил почётное прозвище Африканский; подобных случаев было много.

Небезынтересно, что «стать членом чужого рода римлянин мог путём усыновления («адапуно») [то есть буквально перейти из макросоциума «чужих» в микросоциум «своих». – А. В.], при этом он принимал полное трехчленное имя усыновителя, а своё собственное родовое имя сохранял как второй когномен с прибавлением суффикса *-ан*. Так, Павла Эмилия, после того, как он был усыновлен Публием Корнелием Сципионом, стали называть Публий Корнелий Сципион Эмилиан» [Винничук 1988: 189].

Социальный статус аутентичного римского гражданина был весьма высоким (что, конечно же, акцентировалось его свободами и привилегиями), а потому «немало иностранцев стремились любой ценой выдать себя за римских граждан и, возможно, поэтому охотно принимали римские имена, особенно родовые. Лишь император Клавдий строго запретил людям иноземного происхождения присваивать себе римские родовые имена, за попытку обманным путём выдать себя за римского гражданина виновный подлежал смертной казни» [Винничук 1988: 190]. Иными словами, стали сурово пресекаться попытки самозванства, имевшие целью из массы «чужих» войти в относительно узкий круг «своих», что совершалось с помощью простейшего вербально-магического приёма – произвольного переименования.

По мнению Н. К. Фролова, «общепризнано считать специфичной харизму антропонима, в широком смысле личного имени человека, естественного среди номинативных явлений, но отличающегося особым набором речевых функций. Антропонимическая единица идеальна в языковом сознании, этнически закодирована в мышлении, материальна в живой речи» [Фролов 2005а: 28].

Эти ипостаси антропонима самоочевидны, хотя и вполне могут быть рассмотрены под несколько иными углами зрения – в зависимости от исходных позиций наблюдателя. Так, П. А. Флоренский в трудах по ономатологии (он использовал такой термин) писал, в частности: «…Есть что-то, ускользающее от рационалистического анализа. <…>. Если мы знаем в себе что реальное, то это есть наше собственное имя. Ведь около него именно оплотняется наша внутренняя жизнь, оно – твёрдая точка нашей текучести, в нём находит

себе объективный устой и неизменное содержание нашего Я. <…> Именем выражается тип личности, онтологическая форма её, которая определяет далее её духовное и душевное строение <…>. Имя есть последняя выразимость в слове начала личного <…> нежнейшая, а потому наиболее адекватная *плоть* личности» [Флоренский 1993: 61; 70–71].

По решительной оценке сугубого материалиста В. А. Никонова, при изучении антропонимов на первый план выступает социальный фактор, так как «личные имена существуют только в обществе и для общества, оно и диктует неумолимо выбор их, каким бы индивидуальным он ни казался. Личные имена социальны все и всегда» [Никонов 1974: 8].

Впоследствии же, когда христианство стало официальной римской религией, оно, чтобы исключить влияние язычества, стало вводить в набор антропонимов искусственно созданные конструкции, восходящие к христианским богослужебным формулам, вроде Адеодата – «богом данная», Деограциас – «благодарение богу», Квадвультдеус – «то, чего хочет бог» [Винничук 1988: 190].

Нечто подобное затем возымело место и в Древней Руси.

Изначально существовавшая здесь антропонимическая система была освящена долгими языческими традициями и включала в себя многочисленные имена, которые, как известно и из аналогичных примеров европейской дохристианской истории, давались в силу действия двух факторов (иногда, возможно, сопряженных). Во-первых, имя могло возникнуть как отражение каких-то внешних признаков человека, вроде Беляна, Черныш; во-вторых, как название определённых качеств, желательных для нарекаемого, – например, Голуба, Лебедь, Милава, или: Горд, Владимир, Ратибор и т. п. [Фролов 2005а: 37–38]. Легко заметить, что именно во втором случае антропоним предназначен выполнять прежде всего магическую функцию, становясь вербальным оберегом его носителя.

Однако многое в этой ономастической сфере начинает меняться с воцарением на Руси православия, которое, естественно, не могло не уделять самого ревностного внимания укреплению своих идеологических позиций в столь важной области. Следует учитывать, что «церковное имя при крещении даётся в честь кого-либо из святых угодников божьих, который с этого момента становится нашим не-

бесным покровителем <…>. Для этого по церковному календарю определяется ближайший день памяти святого с этим именем после дня рождения крещаемого <…>. Наречение именем совершается священником, благословляющим крещаемого и читающим над ним особую молитву» [Православие 2007: 198–199]. Таким образом, и крещение – сугубо магический обряд, правда, замешенный на иных основах, нежели более ранние наречения. Иначе говоря, бывшее сакральное всячески подавляется и закономерно переходит в статус профанного, а вновь насаждаемое водворяется на его место как уже несомненно, безусловно и окончательно сакральное.

Впрочем, несмотря на активную деятельность церковнослужителей, сопротивление приверженцев «языческого суеверия» было несомненно упорным – в том числе и в отношении принятия, а точнее – неприятия христианских имён. «Борьба между старыми русскими “мирскими” именами и новыми календарными продолжалась в течение семи столетий. В XI–XII вв. христианские имена, даваемые при крещении, сравнительно редко употреблялись в быту. Они заменялись языческими во всех слоях общества, в том числе и среди духовенства <…>. С XIII в. князья и бояре начинают в письменных источниках называться двумя именами: христианским и мирским вместе. Это, по-видимому, было связано с двоеверием и древней традицией иметь тайное имя во избежание колдовства [то есть так называемого «сглаза» – А. В.]: княгиня Ольга стала в крещении Елена, а князь Владимир – Василием» [Фролов 2005а: 38–39]. Таким образом смешивались две вербально-магические системы: языческая и христианская.

По мнению П. А. Флоренского, имя, даваемое при крещении, несомненно выполняет некую магически-прогностическую функцию: «Имена распределяются в народном сознании на группы. Если священник даёт крещаемому имя преподобного, это обещает ему счастливую жизнь, а если имя мученика, – то жизнь сойдет на одно сплошное мучение. Обычное подчёркивание в имени его царственности, нищелюбия и других качеств <…>. В житиях, прологах, церковных песнопениях многочисленные указания о ярком выражении святым духовной сущности своего имени. “По имени и житие” – стереотипная формула житий; по имени – житие, а не имя по житию» [Флоренский 1993: 34].

Следует, однако, учитывать и то, что далеко не все антропонимы христианского именника были одинаково употребительны (а их насчитывается до двух тысяч). По сведениям исследователя, «большинство имён из православных святцев в России не использовано, видимо, ни разу. Не известны случаи употребления, например, таких имён: мужские – Абклюдий, Алгабдил, Бабнозий, Бастолимоний, Варахисий, Вусирис, Гавиний, Гугсучатазад, Доцент, Ебсой, Епафродит, Етимасий, Издериос, Кондесс, Лампад, Либерал, Милион, Нисирий, Папа, Пип, Пистимон, Примитив, Промах, Раврава, Реститут, Сакирдон, Сукцесс, Теклагавварайат, Титир, Фрукт, Херимон; женские – Аксуя, Аммонария, Бистимона, Еротинда, Кридула, Мастридия, Плакалла, Просирия, Рогатилла, Симфороза, Скалодотия, Схоластика, Трифоза, Феолистия <…>. В употреблении фактически обращалась всего лишь сотня женских имён, немного больше – мужских, и то в городах, а в деревне – вдвое меньше <…>. Круг вектора совсем сужался церковной традицией давать имя в честь того святого, день чествования которого совпадает с днём крестин. Чтобы не растерять приверженцев, церковь в этом пункте давно шла на уступки» [Никонов 1974: 143].

Приведём здесь лишь единственный, но при этом хрестоматийный пример такого подхода.

«Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени <…>. Родился Акакий Акакиевич против ночи <…> на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка <…>. Родильнице предоставили на выбор любое из трёх, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребёнка во имя мученика Хоздазата. “Нет, – подумала покойница, – имена-то всё такие”. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. “Вот это наказание, – проговорила старуха: – какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы ещё Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий”. Ещё переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. “Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше

будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий”. Таким образом и произошёл Акакий Акакиевич. Ребёнка окрестили, причём он заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник» [Гоголь 1952, 130].

Следует также добавить, что и здесь самым очевидным образом сказалась магически-прогностическая функция наречения, как будто закономерно предвозвестившего и нелёгкий жизненный путь, и печальную кончину Акакия Акакиевича Башмачкина.

Ср. подобный пример – не самого распространённого имени литературного персонажа, впрочем, осознаваемого им самим как нечто роковое: «Сестра его [Паклина] была девушка умная и недурная лицом <…>, но несчастный её горб сокрушал её, отнимал всякую самонадеянность и весёлость, сделал её недоверчивой и чуть не злою. И имя ей попалось премудреное: Снандулия! Паклин хотел было перекрестить её в Софию; но она упорно держалась своего странного имени, говоря, что горбатой так и следует называться Снандулией» [Тургенев 1954, 4: 311]. Однако брат её, рассуждая далее о прихотливости и предначертанности судьбы, заявляет: «Добрей и лучше моей сестры… Снандулии… на свете женщины нет; а вот она – и горбатая, и Снандулия. И всегда так на свете бывает! А впрочем, ей и след так называться. Вы знаете ли, кто была святая Снандулия? – Добродетельная жена, которая ходила по тюрьмам и врачевала раны узникам и больным» [Тургенев 1954, 4: 327].

По всей вероятности, далеко не всегда носитель крестильного имени был вполне им доволен, ощущая смутную надежду на совсем иной образ жизни, в случае переименования. Так, о радикальных антропонимических трансформациях для себя мечтает капитан Лебядкин (впрочем, кажется, не вполне уравновешенный психически): «…Я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принуждён носить грубое имя Игната, – почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя, – почему это?» [Достоевский 1957, 7: 187].

Возможно, социально-эстетические оценки имён были довольно распространены. По мнению крепостного лакея Григория Видоплясова, «неприличное имя Аграфена-с <…>. Аделаида, по крайней

мере, иностранное имя, облагороженное-с*; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с» [Достоевский 1955: 49].

Подобными мотивами могли руководствоваться и помещики по отношению к своим крепостным.

Интересен эпизод, в котором бывшая светская модница, увезённая в деревню нелюбимым мужем, в начале совершенно новой для неё жизни пытается сохранить хотя бы внешние черты привычного мирка, прибегая в том числе к приёмам вербальной магии:

«Звала Полиною Прасковью <…>;
Но скоро всё перевелось;
<…> стала звать
Акулькой прежнюю Селину...»
[Пушкин 1978, V: 44],

причём отказ от элементов галломании, вынужденный радикальной переменой обстоятельств бытия, сказался в общем и окончательном «опрощении» модели поведения Лариной-старшей, которая, в ходе активной хозяйственной деятельности, ещё и «служанок била осердясь» [Там же].

Чрезвычайно любопытен тот факт, что в первые послереволюционные годы активно предпринимались попытки взамен христианского обряда наречения насадить в обществе иной ритуал. Впрочем, по-своему это было логично и вполне закономерно: советская власть последовательно заменяла традиционную религию коммунистической идеологией.

Появились так называемые *октябрины*: «*октябрины* (нов. истор.). В СССР – существовавший недолго революционный обычай взамен крестин торжественно, на широких собраниях, давать новорожденному имя» [СУ1938, 2: 798]; «*октябрины* – существовавший в СССР в первые годы революции обычай взамен крестин торжественно, приглашая гостей, давать новорожденному имя. «Года два назад в газете “Рабочая Москва”, по поводу начинавшего в то время распространяться обычая “октябрин”, взгорелся спор об обрядах вообще. – Верес. О обрядах. «И на шестой день, когда Катя чуточку поправилась, когда у неё на щеках заиграл румянец, были назначены октябрины. Панфёров. Бруски» [БАС$_1$ 1959, 8: 829].

* Здесь любопытно также привычное проявление пиетета к экзогенному; в данном случае номену: «иностранное» = «благородное».

В антиутопии В. Войновича «Москва 2042», где в фантастическом государстве руководящие документы «торжественно провозглашали присоединение Церкви к государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога» [Войнович 1990: 563], «родившись, комунянин подвергается обряду з в е з д е н и я» [Войнович 1990: 565], в чём можно усмотреть, с одной стороны, аллюзию на *крещение* (причём персонажи романа постоянно *звездятся*), с другой – отсылку к *октябринам*, оказавшимся исторически совсем недолговечными (см. также [Бондаренко 2013]).

С другой стороны, вследствие отделения церкви от государства, обряд наречения утратил свой исконно сакральный характер. С этим был связан своеобразный взрыв номофильства, имевший место во второй половине 1920-х – 1930-е гг. Выделяют ряд мотивов появления совершенно новых для русского антропонимикона имён, которые становятся чем-то вроде лаконичной присяги на верность новой власти – и в этом, собственно, тоже можно усмотреть ритуально-прогностические свойства.

1. Отражение революционных событий и новой идеологии: Идея, Искра, Декрета, Революция, Баррикада и т. п.

2. Именования в честь вождей революции: Владилен, Владилена, Вилен (Владимир Ильич Ленин), Мэлор (Маркс, Энгельс, Октябрьская революция), Ивистина (Иосиф Виссарионович Сталин), а также Роблен (рожден быть ленинцем) и проч.

3. Имена от нарицательных (иногда – и собственных) слов, отражающие какие-либо примечательные события и реалии новейшей отечественной истории: Смена, Смычка, Мартен и др. В их числе было немало имен-аббревиатур: Ревдит (революционное дитя), Желдора (железная дорога), Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике), Оюшминальда (Отто Юльевич Шмидт на льдине), Пятвчет (пятилетку в четыре года) и под.

4. Имена, заимствованные из произведений искусства: Аэлита, Аида, Эсмеральда, а также: Новелла, Поэма, Идиллия и др.

5. Дохристианские славянские имена: Вячеслав, Лада, Рогнеда, Роксана и др.

6. Именования, возникшие как результат контаминации частей имён родителей: Таив (Тамара + Иван), Тиан (Тимофей + Анна) и др.

7. Имена, показавшиеся родителям эстетически привлекательными: Эмбрион, Комментария, Баядера, Винегрет, Молекула и т. п. (подробнее см. [Фролов 2005а: 68–69], [Никонов 1974: 146–149]).

Конечно, в таких случаях, как Баядера, Портфель, Эмбрион, сказался тогда ещё относительно невысокий культурно-образовательный уровень населения, и далеко не все такие псевдокрасивые имена удержались затем в русском антропонимиконе.

При этом достаточно активным был и процесс переименования – по желанию обладателей имён, представлявшихся их носителям неблагозвучными, несовременными и т. п.: «в газете “Известия” в конце 1930-х гг. регулярно *публиковались бюллетени* о смене имён и фамилий» [Фролов 2005а: 69]*.

Ср. эпизод пьесы 1931 г., в котором описывается «заседание колонии» немногих выживших после мировой войны: «А д а м . У кого есть текущие дела? Скорее. Коротко <…>. М а р к и з о в . У меня есть заявление. (*Вынимает бумагу, читает*.) Прошу о переименовании моего имени Захар в Генрих. <…> Адам. Основание? М а р к и з о в . Н е ж е л а ю ж и т ь в н о в о м м и р е с н е п р и л и ч н ы м н а з в а н и е м – З а х а р . А д а м (в недоумении). Нет возражений! Переименовать. М а р к и з о в . Напиши здесь резолюцию. *Адам пишет. Маркизов прячет бумагу»* [Булгаков 1990, 3: 368] – и далее: «П о н ч и к . <…> И Захар Маркизов, бывший член профсоюза <…>. М а р к и з о в . Я Генрих, а не Захар! Это постановлено с печатью, и я просил не называть меня Захаром. П о н ч и к . Чего ты бесишься? <…> Ну, ладно, ладно. Глупая фантазия: Генрих, Генрих…» [Булгаков 1990, 3: 371]. Драматург сатирически изобразил современный ему поток легитимизированных самопереименований, экстраполировав его на фантастическую перспективу, где в «новом мире», благодаря усилиям уцелевшего активного коммуниста (он же и возглавляет «колонию»), по-прежнему действенны рудименты советской модели социальной организации, логичным правопреемником которой оказывается «новый мир».

* Ср. одну из оценок результатов этого бурного процесса в устах литературного персонажа романа 1936–1937 гг. – «старушки»: «Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменил. Теперь и разбери-ко, кто он такой!» [Булгаков 1990, 4: 487].

Однако есть некоторые основания полагать, что этот феномен имел место уже в более ранний период. Приведём лишь некоторые примеры из произведений писателя, бывшего не только очевидцем, но и непосредственным участником событий начала советской эпохи – А. П. Платонова.

Вот диалог персонажей повести «Ювенильное море» (1934): «<…> Я всё знаю – я культурная старушка». – «Ты, наверно, Кузьминишна?!» – догадывался Умрищев. – «Нет, батюшка, – ответила старушка, – я Федератовна. Кузьминишной я уже была» [Платонов 1988б: 18]. Иначе говоря, пожилая активистка в данном случае из идейных (то есть сакрализуемых) установок меняет даже не имя, но отчество («отречемся от старого мира» и т. п.).

Ещё более информативный пример содержится в романе «Чевенгур» (1927). «Хромого звали Фёдором Достоевским: так он сам себя зарегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя – в Фёдора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища – удовлетворяют ли они их, – имея в виду необходимость подобия новому имени. Фёдор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозовется Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник – Пётр Грудин – Францем Мерингом: по-уличному Мерин. Фёдор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в волревком – были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа волревком ещё не прислал. Степан Чечер и Пётр Грудин жили почти безымянными.

«Раз назвались, – говорил им Достоевский, – делайте что-нибудь выдающееся». «Сделаем, – отвечали оба, – только утверди и дай справку». «Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по-старому». «Нам хотя бы устно, – просили заявители» [Платонов 1988а: 291].

Вряд ли в этом эпизоде можно увидеть лишь саркастически описанный пример многих абсурдистских явлений периода «военного коммунизма» – скорее всего, писатель не слишком чрезмерно их гиперболизировал. Гораздо важнее другое: в полубезумном и как будто совершенно *инновационном проекте* (как выразились бы сегодня на новорусском) «Фёдора Достоевского» воплотилась неразрывная связь с древнейшей вербально-магической традицией наречения. Имя должно стимулировать его носителя к определённому образу поведения – иначе оно будет «изъято».

Кроме того, и случайные сочетания имён в то время могли показаться чересчур бдительным контролёрам подозрительными, хотя по отдельности были самыми заурядными: «Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на её мужа и целый месяц шло расследование, – даже к имени придирались: почему и Лев [т. е. как Троцкий] и Ильич [т. е. как Ленин]?» [Платонов 1988в: 104].

В светском обществе при выборе имени зачастую руководствуются эстетическими либо псевдоэстетическими установками (стремление к благозвучности), либо некими модными веяниями (см. об этом [Никонов 1974: 142–154]), либо значительную роль играют какие-то семейные традиции. Нередко эти факторы вступают в противоречие друг с другом.

Ср. удачный беллетристический пример:

«…Иван пошёл к другу детства Девятому Василию. Пришёл, а у Девятовых – дым коромыслом: Василий спорил с женой, как назвать новорождённого сына.

– Ванька!.. – кричала жена Настя. – Где это ты их видел нынче, Ванек-то?! Они только в сказках остались – Вани-дурачки. Умру, не дам Ванькой назвать.

– Сама ты дура, – тоже резко говорил Василий. – Сейчас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах…

– На черта он мне сдался, твой город! Там с ума начнут сходить, и ты за ними?

<…> – Что за шум, а драки нет?

– А вон – сына не дает Ванькой назвать.

– И не дам, – стояла на своём Настя.

– А как ты хочешь? – спросил её Иван.

– Валериком.

<…> – Назовите в честь деда какого-нибудь, – посоветовал Иван. – В честь твоего отца или твоего.

– Да они обои – Иваны! – воскликнул Василий. – В том-то и дело!» [Шукшин 1980а: 165–166].

Отметим также интересное наблюдение писательницы: «…Почему одному человеку “идёт” имя Александр, а другому Сергей? Чем вы это объясните? Какие данные и приметы должны быть у того и у другого? А между тем это так» [Тэффи 1991а: 357]. Действительно, подобное иногда случается, однако труднообъяснимо и с психолингвистических позиций. По-видимому, существуют некие смутные ассоциации между внешностью человека и будто бы идеально «подходящим» ему именем. Возможно, при этом играют определённую роль смысловые связи, порождаемые памятью о когда-то знакомом человеке, носителе того же имени и обладателе наружности, которые в двуединстве запечатлелись у наблюдателя и стали устойчивыми.

3. Искусственные заместители оригинального антропонима

Коротка
  и до последних мгновений
нам
    известна
            жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
            товарища Ленина
надо писать
            и описывать заново.
                В. В. Маяковский

Оригинальные имена (то есть официальные, крестильные, юридически значимые, данные по обычаям этносоциума и т. п. наречения человека) могут быть в силу каких-либо обстоятельств заменены на искусственные субституты, которые и включаются в коммуникативный оборот, становясь иногда, в отличие от исконных, чрезвычайно известными.

Такие имена-заместители могут быть дополнительно подразделены на псевдонимы и прозвища. Их дифференцирующим признаком выступает инициативный источник переименования. В первом случае это чаще всего организация, действующая во имя эффективности своих замыслов (политическая партия, специальное ведомство, коммерческая группа, например, в шоу-бизнесе, и проч.), или член такой организации. Возможно и самопереименование, особенно в среде т. н. «творческой интеллигенции». Во втором случае заменитель оригинального имени исходит от сторонних лиц, их микро- и макрогрупп, запечатлевающих таким образом характерные черты внешнего и внутреннего облика человека, подвергаемого переименованию (зачастую – без его ведома). Они также могут обрести известность, прежде всего тогда, когда прозвищами наделяют царственных особ, крупных феодалов, президентов, губернаторов и властителей рангом пониже (вроде руководителей трудовых коллективов, непосредственных начальников и т. д.).

Псевдонимы (греч. pseudos – ложь) определяют как вымышленные имена, фигурирующие в общении вместо «законных» имён либо наряду с ними, это имена-заменители, дублеты, искусственные номинаторы; считают, что среди антропонимических номинативных единиц они занимают особую нишу. «Как и всякий антропоним, псевдоимя <…> выполняет прежде всего номинативную функцию, обладая тайным, или эзотерическим свойством. Однако номинативно-эзотерическая роль псевдонима не исключает, а дополняет социально-оценочную, экспрессивную и фатическую функции имени собственного <…>. Функции псевдоимени находятся в определённой связи с профессией, занятиями, национальностью именуемого лица и особенно часто используются писателями, артистами, журналистами, а среди народов – евреями» [Фролов 2005а: 115–117].

Имя может быть индикатором этнической принадлежности его носителя, однако далеко не всегда, и это касается прежде всего фамилий. Ср. хрестоматийное: «Нынче поутру зашёл ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец» [Лермонтов 1948, 4: 73]. Однако иногда и, казалось бы, специалисты поддаются обаянию таких построений; так, в качестве типичных примеров «специфического

для р у с с к и х именования по имени и фамилии» приводят, в частности, «Леонид Утёсов, Аркадий Райкин» [Непокупный 1986: 202].

Подобная мимикрия может достигаться за счёт частичной модификации исконной фамилии с целью нивелировать её по образцу модели, доминирующей у другого, пусть и близкородственного этноса, с целью получения неких преференций. Например: «<…> Можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на *о*, слог *въ*. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же, как и все малороссийские старинные и коренные фамилии» [Гоголь 1952, 2а: 9] (вполне вероятно, что и за такие суждения как-то не очень любят великого писателя сегодняшние непомерно гордые потомки древних укров).

Однако весьма часто происходит полная замена исконной фамилии на другую, которая является характерной для представителей иного народа. Это также делается в целях обретения каких-либо выгод.

Так, несомненный эзотерический подтекст обнаруживают в псевдонимах революционных вождей и политических деятелей (Каменев – Розенфельд, Литвинов – Валлах, Троцкий – Бронштейн, Ярославский – Губельман, Мартов – Цедербаум и проч.)*, а в псевдонимах эстрадных исполнителей – подтекст эстетический или этнический (Лариса Долина – Лариса Миончинская, девичья фамилия Кудельман, Вера Брежнева – Вера Киперман и др.) – см. [Фролов 2005а: 117–118].

Отметим попутно, что поиски благозвучного, то есть предназначенного вызывать приятные ассоциации, псевдонима, что в резуль-

* Ср. реплику, свидетельствующую о распространённости такого приёма псевдонимизации: «… Она рассказала, что очень подружилась со знаменитым шахматистом Лужиным. “Наверное, псевдоним, – сказала мать <…> какой-нибудь Рубинштейн или Абрамсон”» [Набоков 1990, 2г: 61].

тате будто бы может сделать личность его носителя более симпатичной для окружающих, были известны задолго до советской эпохи.

Например, руководствуясь собственными эстетическими воззрениями и поощряемый своим хозяином, по словам последнего, лакей Видоплясов для себя фамилии «всё такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов… <…> Сначала ты просил, чтобы тебя называли “Верный”; потом <…> самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму “скверный”. <…> Наконец, пришёл просить, чтобы тебя звали “Уланов” <…>: прибрали тебе рифму: “болванов” <…> Затем Танцев <…>. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя» [Достоевский 1955: 132]. Окончательным – «новым именем-с, облагороженным-с» – для Видоплясова оказывается трансформированное название парфюмерной фирмы – Жесбукетов [Там же]. В финале этот персонаж оказывается в «желтом доме» и, кажется, там и умер [Достоевский 1955: 213].

Впрочем, иногда возникновение псевдонима может иметь совершенно случайные причины. Так, в автобиографичном рассказе повествователь, вынужденный житейскими обстоятельствами поступить на сцену, тут же изобретает себе «театральную фамилию, не особенно громкую, простую и красивую – Осинин», однако недослышавший помощник режиссёра сразу же переиначивает её; «таким-то образом из Осинина я и сделался Васильевым и остался им до самого конца моей сценической деятельности, в ряду с Петровым, Ивановым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и др. Неопытный актёр – я лишь спустя неделю догадался, что среди этих громких имён лишь одно моё прикрывало реальное лицо. Проклятое созвучие погубило меня!» [Куприн 1953, 2: 369–397].

Весьма плодотворными в области сотворения псевдонимов оказались первые послереволюционные годы: «Прикинув все “за” и “против”, Еропкин [бывший приказчик, уволенный из командиров продотряда за «бессмысленное самоуправство», т. е. за несанкционированный массовый расстрел] стал поэтом, благо грамотой владел и почерк имел писарский. Оставалось только подобрать псевдоним, ибо без оного и соваться в молодую пролетарскую литературу было как-то неловко. На дворе стояла эпоха псевдонимов, вся страна, начиная с Ленина и заканчивая каким-нибудь последним Сашей Красным, сочинявшим подписи к революционным плакатам, носила

псевдонимы. И, вспомнив испуганно крестившихся при его появлении мироедов, Еропкин подписал свои первые стихи “Чурменяев”. Да так и остался в литературе. <…> Некоторые его собратья по перу, поленившиеся взять псевдонимы, кончили плохо – Есенин, Маяковский, Мандельштам и другие…» [Поляков 2010: 297].

Ср.: «<…> Иван Николаевич Понырев, пишущий “чудовищные” стихи под псевдонимом Бездомный <…>, типичен для эпохи, как и его псевдоним, образованный по популярному идеологическому шаблону: Максим Горький (Алексей Пешков), Демьян Бедный (Ефим Придворов), Голодный (Эпштейн), Беспощадный (Иванов), Приблудный (Овчаренко) и т. п.» [Лесскис 1990: 632].

«Образование псевдоимён отражает стремление носителя вымышленного имени найти выразительный номинативный знак, который бы соответствовал ситуации доверительного общения с читателем, потенциальным собеседником [и, по всей видимости, – с широкой аудиторией или определёнными её сегментами, которые избраны носителем псевдонима в качестве объектов его манипуляций. – А. В.] и не выходил за рамки семантики и словообразования антропонимической системы того или иного языка» [Фролов 2005а: 119–120].

Таким образом, самопровозглашение индивидуумом псевдонима – это тоже частный случай магического действа, когда исконно «чужой» волшебным образом превращается в «своего» (нередко сохраняя, однако, все имманентные свойства «чужого»).

Известна классическая оценка способности давать прозвища, представленная к тому же как уникальная черта национальной ментальности: «Произнесенное метко всё равно что писаное, не вырубливается топором <…>. Нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, одной чертой обрисован ты с ног до головы!» [Гоголь 1956: 103].

Среди иллюстраций этого положения – рассказ другого отечественного классика о жизненном пути его персонажа, не самого значительного в романе, но очевидно необходимого для понимания произведения в целом.

Персонаж этот, «весовщик, по прозвищу Валет» [Шолохов 1956, 2: 116] (ср.: «*валет* – ‘младшая из фигур в игральных картах; холоп, хлап, холуй, хам’» [Даль 1955, I: 161]), попадает под влияние социал-демократической пропаганды и, по канонам доминировавшего

тогда в литературе соцреализма, должен бы стать одним из героев в борьбе за советскую власть; он даже совершает на фронте интернациональный подвиг, помиловав классово близкого немецкого солдата [Шолохов 1957, 3: 38–40], однако эти заслуги совершенно не меняют сущности Валета, столь удачно выраженной в прозвище. Он «маленький <…>, заросший до скул ежистой дымчато-серой щетиной», у него «узко посаженные злые глазки», «крохотная ежиная мордочка», «сухонькие плечи» [Шолохов 1957, 3: 30–31]; о его мужской привлекательности можно судить по реплике казачки: «Ты б нам хучь Валета ссудобил. Всё помог бы курень прибрать!» [Шолохов 1957, 3: 337]. Об иных человеческих качествах говорит готовность немедленно расправиться с тем, кто превосходит его физически: «А Гришка … подлец он <…>. Обидел он меня, сволочь! Рад, что сильнее… Винтореза при мне не было – убил бы…», – сказал он хлипким голосом. Мишка <…> глянул на его ежистую, вздыбленную щетину, подумал: «А ить убил бы, х о р ё к !» [Шолохов 1957, 3: 335]. Если политический единоверец так ёмко характеризует Валета (правда, лишь мысленно), то темпераментный Григорий Мелехов не стесняется в образных выражениях: «…Гадёныш! Сопля паршивая! Огрызок человечий! <…> Чтоб тобой и не воняло тут!» [Шолохов 1957, 3: 333]. Лишь один из идейно близких Валету персонажей, Иван Алексеевич, отвечает на вопрос земляка: «Ить это Валет?» – «Ч е л о в е к это» [Шолохов 1957, 3: 31]. По всей вероятности, бывший весовщик-пролетарий, успевший побывать и красногвардейцем (правда, он «сам себе написал отпуск» [Шолохов 1957, 3: 330], то есть дезертировал), мог бы стать в дальнейшем одним из героев романа, но логика писателя, учитывавшая правду созданного им характера, не дала ему совершить такой ход, наверняка выигрышный и, по меньшей мере, правильный с точки зрения идеологически выдержанной критики того времени. Валет («мужик», т. е. не полноценный казак) бесславно погибает от казачьей пули, причём даже не в бою [Шолохов 1957, 3: 395], так навсегда и оставшись безымянным.

Судьба Валета представляет собой одновременно пример и полумистической предначертанности жизненного пути персонажа, маркированного столь удачным прозвищем, и связи между внутренним обликом – и выражением его в физической внешности, что в гармоничном двуединстве нашло такое меткое вербальное обозначение.

Однако не во всех случаях выбор прозвища зависит от конкретных внешних данных либо черт характера объекта. Иногда предпочтению дополнительного именования способствуют некие детали личности человека, которые чрезвычайно нелегко формулировать словесно.

Например: «Её [Наташу] называли “восточная кобылица”. На лошадь она, между прочим, совсем не была похожа: среднего роста, стройная, с движениями лёгкими и мягкими, с лицом совсем уж не лошадиным, недлинным, с тёмными тихими глазами. Но, странное дело, прозвище это всё-таки подходило к ней. Может быть, определяло какой-то душевный склад её. Объяснить это трудно» [Тэффи 1991а: 357].

Тенденция к аббревиации, чрезвычайно активизировавшаяся с первых советских лет, оказалась настолько широкой и мощной, что проявила себя и в создании прозвищ.

Об этом можно судить, например, по известному произведению, посвященному «Школе социально-индивидуального воспитания имени Достоевского», «позднее сокращённой её дефективными обитателями в звучное “Шкид”» [Пантелеев, Белых 2002: 7]. «А почему вы школу зовете Шкид?» – спрашивал Колька <…>. Воробышек ответил: «Потому что это, брат, по-советски. Сокращенно. Школа имени Достоевского. Первые буквы возьмёшь, сложишь вместе – Шкид получится <…>. Колька <…> спросил: «А как зовут заведующего?» – «Виктор Николаевич». – «Да нет… Как вы его зовёте?» – «<…> Мы Витей его зовём». – «А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?» – «Сорокин» <…>. – «Ну вот: Вик. Ник. Сор. Звучно и хорошо» <…>. Попробовали сокращать и других, но сократили только одну немку. Получилось мягкое – Эланлюм [от Элла Андреевна Люмберг]» [Пантелеев, Белых 2002: 16–17]. Впрочем, впоследствии «советские» прозвища получили ещё два учителя: Александр Николаевич Попов – Алникпоп и Константин Александрович Меденников – Косталмед [Пантелеев, Белых 2002: 81], а также кастелянша, однако её имя в создании аббревиатуры не было актуализировано, поскольку были сокращены ранее данные ей прозвища: Лимкор (Лимонная корочка) и Амвон (Американская вонючка) [Пантелеев, Белых 2002: 166].

Цитируемому источнику вполне можно доверять: книга была написана в 1926 г. бывшими воспитанниками этого заведения.

Заметим также любопытную деталь: судя по тексту произведения, аббревиированные прозвища не применялись учениками школы по отношению друг к другу, но лишь к представителям педагогического и обслуживающего персонала – вероятно, потому, что в них видели представителей советской власти, столь интенсивно использовавшей аббревиацию для называния своих учреждений.

4. Корректность употребления антропонима: этический аспект

> … Совсем недавно его [сапожника Уклейкина] никто и по имени-то не называл <…>. Заказчики обыкновенно говорили: «Ну ты … как тебя… Ты!». Заказчики из начальства <…> не называли никак, а издавали неопределённый звук – «гм»…
>
> И. С. Шмелёв

Во многом пиетет к антропониму – и не только принадлежавшему какому-либо выдающемуся деятелю – объясняется рядом взаимосвязанных причин. Антропоним является одним из (само) идентификаторов человека и значим юридически. Ошибочное употребление имени обычно вызывает у его носителя более или менее негативную реакцию – как симптом пренебрежительного отношения окружающих к его персоне, как сигнал недооценки его социальной роли, как преднамеренное оскорбление и т. п. С другой стороны, диапазон антропонимикона обычно довольно ограничен, а следовательно, личные имена не могут не повторяться у совершенно разных их обладателей и потому их идентификационный статус низок: они, как правило (у многих народов), не называют действительных физических и духовных качеств носящих их людей, а значит, никак не соответствуют некоторым их характеристикам и не индивидуализируют именуемых.

Тем не менее ошибки в употреблении антропонима способны вызывать у именуемых далеко не положительные эмоции, особенно – в ситуациях интимного общения; поэтому предусмотрительный адре-

сант пытается их избегать. Примеры подобных ситуаций содержатся иногда в нескольких произведениях одного автора.

Так, в рассказе Тэффи «Вендетта» описан некий Мишель Серебров, который, «как настоящий донжуан …никогда не называл по имени женщин, за которыми ухаживал. Это очень опасная штука: при широко поставленном деле легко можно ошибиться и спутать. А женщина, если она, например, Манечка, почему-то ужасно обижается, когда любимый человек называет её Сонечкой или Танечкой. Точно уж это такая большая разница! Так вот, во избежание неприятностей Мишель Серебров называл близких своему сердцу женщин или “детка”, или “котка”, или какими-нибудь лошадиными именами: “игрунка”, “ласкунка”, “смехуночек”. Выходило приятно и ни к чему не обязывало” [Тэффи 1991б: 90].

Персонаж позднейшего рассказа того же автора «О вечной любви» – некто, «кого здесь прозвали Петронием* за гетры и галстуки в тон костюма, и который только такую [т. е. вечную любовь] и встречал. Попадались исключительно вечные» [Тэффи 1991г: 229]. Он говорит своей очередной знакомой: «И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас – непостоянство любви! Сегодня романчик с одной, завтра – с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно. Столько хлопот, передряг. То имя перепутаешь – а ведь они обидчивые все, эти “предметы любви”. Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья» [Тэффи 1991г: 230].

Тот же деликатный приём замены антропонима на некое универсальное псевдоимя использует и персонаж прекрасного пола для своих многочисленных близкознакомых мужчин в пьесе А. Вампилова «Утиная охота» 1968 г., причём в тексте (по крайней мере, в цитируемом далее издании) нивелирующее полуимя-полупрозвище даётся то как собственное – с прописной буквы, то как нарицательное – со строчной, и это обыгрывается соответствующим образом.

Итак, «появляется Вера. Ей около двадцати пяти. Она явно привлекательна, несколько грубоватая, всегда в форме. Сейчас она в ко-

* «Петроний Арбитр… был принят в узкий круг приближенных императора Нерона, который ценил его как законодателя хорошего вкуса и арбитра изящества» [Дуров 1989: 23].

стюме продавца промтоварного магазина. А вообще она одевается красиво и носит неизменно роскошную прическу. В е р а . Привет, алики (*Зилову и Саяпину*)… О ф и ц и а н т (*Вере*). Привет, малютка. В е р а . …Здравствуй, алик (*Зилову*). Смотри, алик, я найду себе другого» [Вампилов 1982б: 167]. Почти сразу даётся нечто вроде объяснения, помогающего зрителю представить себе отношение Веры к сильному полу: «С а я п и н . Слушай, что это ты всех так называешь? В е р а . Как, алик? С а я п и н . Да вот аликами. Все у тебя алики. Это как понимать? Алкоголики, что ли? З и л о в . Да она сама не знает. С а я п и н . Может, твоя первая любовь – Алик? В е р а . Угадал. Первая – алик. И вторая алик. И третья. Все алики» [Вампилов 1982б: 168]. Появляется начальник Зилова и Саяпина Кушак – «мужчина солидный, лет около пятидесяти … В е р а (*Кушаку*). Выпейте. И знаете, что? Я буду называть вас аликом. Не возражаете? К у ш а к . Аликом?.. Но почему Аликом? В е р а . Вам не нравится? К у ш а к . Я не знаю, право… В е р а . Ну, пожалуйста… К у ш а к . Алик… Странно… Но для вас… Если вам нравится… В е р а . Давно бы так. (*Дотронулась пальцем до его носа*). Алик» [Вампилов 1982б: 170]. Более того, даря Зилову (своему недавнему любовнику) на новоселье «большого плюшевого кота», она говорит: «Представьте, я дала ему имя. Г а л и н а [жена Зилова]. Интересно, какое? В е р а . Я назвала его Аликом. З и л о в . О, боже мой… К у ш а к (*укоризненно*). Верочка… В а л е р и я . Алик. Чудное имя. (*Галине и Зилову*). Он принесёт вам счастье. З и л о в . Уже чувствуется» [Вампилов 1982б: 176–177].

Продолжающаяся таким образом словесная игра, подтекст которой гораздо более понятен многим из присутствующих мужчин, нежели дамам, вступает в очередной этап: «В е р а (*Кузакову*). А вы? (*Подвинулась на скамейке*). Садитесь, алик, не стесняйтесь. К у з а к о в . Спасибо. (*Садится*). Но вы ошиблись. Мое имя Николай, а вы назвали меня Аликом. В е р а . **Ну, какая разница**. К у ш а к (*удивился*). Верочка? В а л е р и я . Совершенно верно. Он похож на кота. (*Кузакову*). Не спорь, ты на него похож. Покажите-ка… Копия» [Вампилов 1982б: 179–180]. Смысл поголовного обезличивания мужчин для Веры с помощью универсального именования *алик* раскрывается не только в её реплике «Ну, какая разница», но и в сцене скандала

в кафе, когда после слов Зилова в адрес Веры: «Спросите-ка, с кем она здесь не спала», она защищает его от приятелей, говоря: «Не трогайте его! Не будете же вы бить пьяного… И потом он… Он говорит правду» [Вампилов 1982б: 226].

Почти подобное введение имени собственного, якобы позволяющего включить его носителя в состав совершенно определённой социальной группы, имеет место и в раннем (1959) рассказе А. Вампилова «Глупости». Тётке девушки Лили не нравится (причём «заочно», на основании рассказов племянницы) её случайный знакомый: «Таких, милая, гнать надо… Он случайно не Эдик? Мне почему-то кажется, что в с е Э д и к и ходят в узких штанах и все – негодяи» [Вампилов 1982а: 518].

Для осмысления резко негативной реакции персонажа следует учитывать, по меньшей мере, два обстоятельства. Во-первых, имя Эдуард относят к новшествам в русской антропонимии 1930-х годов: «самые многочисленные среди новых имён иностранные личные имена, заимствованные преимущественно через литературу, печать и кино: Август, Альберт, Арнольд, Артур, Роберт, Рудольф, Эдуард…» [Никонов 1974: 67], т. е. это имя новомодное, обладающее «экзотичными» фонетическими признаками [Никонов 1974: 67], во-вторых, оно вполне могло принадлежать так называемому «стиляге»: «В послевоенные годы среди некоторой части нашей молодёжи пышно расцвело увлечение “западной” танцевальной музыкой; кривлянье под крикливые звуки американского джаз-банда стало модой… Однако стоило Токареву надеть узкие брюки, как вся его внешность стала предметом пристального изучения. – Стиляга! – решили комсомольские руководители. И тотчас был брошен клич: – Все на борьбу!» («Комсомольская правда». 5 апреля 1958 г.) …Советские люди ведут решительную борьбу с влиянием вкусов и нравов буржуазной «золотой молодёжи», и в этой борьбе играет свою роль и ставшее литературным слово *стиляга*, резко отрицательно окрашенное» [Костомаров 1959: 170, 174–175]. Кстати, об этой «решительной борьбе», равно как и о её участниках, можно кое-что узнать из недавнего российского фильма «Стиляги», где, конечно же, как положено в таких шедеврах реформаторов, полюса поменялись местами: туповато-косные

приверженцы официальной идеологии и доминирующей культуры терроризируют светлых и чистых молодых людей, демонстрирующих – в том числе и внешним видом, и манерами поведения – неприятие бесчеловечных коммунистических установок. Нередкими были случаи, когда стиляги, недовольные своими «простыми» именами, заменяли их на более «красивые», вроде Арнольд, Эдуард и т. п. Поскольку такие имена оказались своеобразно маркированными и прецедентными, то понятна тревога вампиловской Надежды Ивановны за свою племянницу, познакомившуюся с уже хорошо известным по обличительным фельетонам типичным молодым человеком «с моралью, чуждой нашему обществу» [Костомаров 1959: 168].

Интересны примеры устойчиво некорректного употребления имени и отчества героя-повествователя, драматурга, при его упоминании другим значительным персонажем, официально признанным великим режиссёром, которому никто из театрального окружения не смеет возражать. Путаница начинается буквально с первой личной встречи и третьей реплики живого классика: «Ваше имя и отчество? – ласково глядя на меня, спросил Иван Васильевич. – Сергей Леонтьевич. – Очень приятно. Ну-с, как изволите поживать, Сергей Пафнутьевич?» [Булгаков 1990, 4а: 482] – и продолжается в течение всего эпизода: «А ваш батюшка, Сергей Панфилыч, кем был? – Сергей Леонтьевич, – ласково сказал я. – Тысячу извинений! – воскликнул Иван Васильевич» [Булгаков 1990, 4а: 483]. Появляется тётушка Настасья Ивановна: «Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу? – Леонтий Сергеевич <…> пьесу мне принёс. – Чью пьесу? <…> – Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу <…>. Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил! <…> Батюшка Сергея Сергеевича умер <…> Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю. – А ваше-то имечко как же? – сказала Настасья Ивановна, – то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? <…> – Я – Сергей Леонтьевич, – сказал я сиплым голосом. – Тысячу извинений! – воскликнул Иван Васильевич, – это я спутал!» [Булгаков 1990, 4а: 486–487].

И далее: «Знаете что, Лео… знаете что, вы эту сцену вычеркните» [Булгаков 1990, 4а: 488]. Лишь в конце диалога гений режиссуры оказывается точен: «Ваше счастье, Сергей Леонтьевич, – сказал

Иван Васильевич, единственный раз попав правильно» [Булгаков 1990, 4а: 488].

Почти то же чуть было не происходит в эпизоде совещания со старейшинами театра («основоположниками»): «А! Лео!.. – начал было Иван Васильевич. – Сергей Леонтьевич, – быстро вставил Княжевич» [Булгаков 1990, 4а: 500].

Любопытно, однако, что и другой персонаж, режиссёр того же театра, но не жалуемый автором, отправляя рассказчику письменное приглашение посетить Ивана Васильевича, обращается к адресату: «Глубочайше уважаемый Леонтий Сергеевич!..» [Булгаков 1990, 4а: 479]. Это вызывает смутные догадки драматурга: «Почему, чёрт возьми, им хочется, чтобы я был Леонтием Сергеевичем? Вероятно, это удобнее выговаривать, чем Сергей Леонтьевич?..» [Там же]. Хотя первый из режиссёров, обратившийся к Максудову, точно обозначает его имя и отчество [Булгаков 1990, 4а: 402].

Комическая же сторона общения повествователя с Иваном Васильевичем, у которого, как обнаруживается со временем, «глаза совсем не ласковые» [Булгаков 1990, 4а: 490], а «злые огненные» [Булгаков 1990, 4а: 504], объясняется, по-видимому, вовсе не смешными обстоятельствами, а тем, что, во-первых, Максудов – автор начинающий и пока не заслуживающий уважения; во-вторых (и это, наверное, главное), что великий режиссёр совершенно не склонен учитывать текст, созданный драматургом, но намерен переделать пьесу по своему усмотрению, прежде всего, чтобы занять в спектакле старейшин-основоположников [Булгаков 1990, 4а: 512–513].

Фамилия персонажа может быть нарочито искажена его идейным противником в целях уничижения оппонента – и при этом используется подлинная этимология антропонима, умышленно скрываемая поколениями его носителей.

Такова ситуация, в которой оказывается Семён Петрович Калломейцев, «настоящий петербургский “гранжанр” высшего полёта» [Тургенев 1954, 4: 220]. «Фамилия Семёна Петровича происходила от простых огородников. Прадед его назывался по месту происхождения: Коломенцов … Но уже дед его переименовал себя в Коломейцева; отец писал: Калломейцев, наконец Семён Петрович поставил букву *ять* на место *е* – и, не шутя, считал себя чистокровным аристократом; даже намекал на то, что их фамилия про-

исходит собственно от баронов фон Галленмейер, из коих один был австрийским фельдмаршалом в Тридцатилетнюю войну. Семён Петрович служил в министерстве двора, имел звание камер-юнкера» [Тургенев 1954, 4: 221].

«Гранжанр» ожесточённо спорит с механиком Соломиным (который для фабричных рабочих «точно был их – и ихний» [Тургенев 1954, 4: 345]): «Вы, вероятно, господин Соломин, не отдаёте себе отчёта в том, что вы изволите говорить? <…> – Отчего вы так полагаете, господин Колóменцев? (Калломейцев даже дрогнул, услышав подобное «искажение» своей фамилии)» [Тургенев 1954, 4: 354].

5. Топонимы как сакральные маркеры участков пространства

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия…
А. С. Пушкин

Хорошо известно, что многие естествоиспытатели склонны давать открытым (обнаруженным) ими объектам мироздания названия, либо в какой-то мере символичные, либо имена духовных, политических и прочих выдающихся особ – в целях увековечения их славных деяний. Правда, подобные подходы к принятию номинаций могут быть вариативны.

Пример по-своему добросовестного и ответственного подхода к наречению элементов флоры, фауны и т. п. содержится в рассказе литературного персонажа о своём отце, путешественнике и натуралисте. «И во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия, ибо другие натуралисты именем его называли кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет, – последнее, кстати сказать, его сердило: «Выяснить и сохранить давнее туземное название перевала <…> всегда и научнее и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомого» [Набоков 1990, 3: 102].

Вероятно, такая позиция оправдана и научно, и этически. Однако далеко не всегда осуществить её представляется возможным, например, в случае физического исчезновения коренного населения

с «открываемой» территории «первооткрывателям» остаётся лишь именовать её и расположенные на ней объекты по-своему.

Например, в одном из известнейших научно-фантастических* произведений земные космонавты, оказавшись на Марсе (где задолго до их прибытия существовала чрезвычайно высокоразвитая цивилизация, создавшая замечательную культуру), дают привычные для американцев имена марсианским объектам, нередко понимая при этом, что у них уже были иные названия: «Вот этот канал назван в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулидж, но <…> у каждого места уже есть своё, *собственное* имя» [Брэдбери 1988: 77]. Следует заметить, что марсиане вымерли от ветряной оспы, занесенной предыдущими экспедициями землян [Брэдбери 1988: 73] совершенно случайно, хотя известно, что цивилизаторы нередко использовали искусственные вспышки эпидемий как бактериологическое оружие против докучливых туземцев; например, [Лондон 1971: 677]); см. также [Брэдбери 1988: 126; 1989: 208] и др.

В качестве одного из примеров семантически нагруженных топонимических именований / переименований приведём следующий – беллетристический.

По словам писателя, первичная номинация вымышленного им города имела весьма прозрачную внутреннюю форму: «А как не умели вы жить по своей воле и сами, г л у п ы е , пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами» <…>. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами» [Салтыков-Щедрин 1953: 14–15] (здесь интересна последовательная детерминированность номинаций: *глуповцы* – название племени по его основному отличительному признаку → *Глупов* – название города, заложенного глуповцами, → *глуповцы* – название жителей города Глупова).

По прошествии весьма длительного времени градоначальником многострадального Глупова становится Угрюм-Бурчеев, который «составил в своей голове целый систематический бред <…>. Пред-

* Так обычно определяют жанр произведений Р. Брэдбери, хотя, конечно, он писал преимущественно о современных ему США и американцах.

стояло урегулировать внутреннюю обстановку <…>. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной <…>. Затем следует собственно *Город*, который из Глупова переименовывается в “вечно достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича” город Непреклонск» [Салтыков-Щедрин 1953: 159–160].

По-видимому, причины такого переименования можно понимать двояко. Возможно, это – воплощение фундаментальной черты характера Угрюм-Бурчеева: «Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма» [Салтыков-Щедрин 1953: 151]. С другой стороны, поскольку этот персонаж вознамеревался город «возвести на степень образцового» [Салтыков-Щедрин 1953: 159], то в планируемом им переименовании скрывается и некий магический смысл: новый топоним должен стать символом высокой значимости нового города – и, несомненно, своеобразным ориентиром, к достижению которого надлежит непреклонно стремиться.

Ранее было замечено также [Иванов 1976: 591], что характеристика образа бытового поведения Угрюм-Бурчеева, который «спал на голой земле <…>, вместо подушки клал под голову камень <…>, вставал с зарёю, <…> ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы» [Салтыков-Щедрин 1953: 155], перекликается с рассказом Н. М. Карамзина о князе Святославе: «…Суровою жизнию он укрепил себя для трудов воинских, не имел ни станов, ни обоза; питался кониною, мясом диких зверей и сам жарил его на углях; презирал хлад и ненастие северного климата; не знал шатра и спал под сводом неба; войлок подседельный служил ему вместо мягкого ложа, седло изголовьем» [Карамзин 2010: 62]. Вероятно, поэтому Угрюм-Бурчеев и избирает в качестве важнейшего элемента топонима «вечно достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича».

Вербально-магический смысл революционных микротопонимических переименований хорошо показан в рассказе Е. И. Замятина «Десятиминутная драма» (1928): «Начало драмы возвестил кондуктор церковным возгласом: «Бывшая Благовещенская площадь – площадь Труда!». В этом возгласе – как в прологе – символически уже

раскрывалась основная коллизия: с одной стороны – труд, с другой стороны – явно нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, с неожиданным известием представшего деве Марии» [Замятин 1989а: 461–463].

Таким образом наглядно демонстрируется, как ранее сакральное (то есть обязанное своим возникновением христианской религии) именование площади становится профанным («бывшая»); одновременно же ранее профанное («труд») теперь сакрализуется и доминирует над прежним названием.

Конечно, далеко не все исконные носители русского языка относились к подобным топонимическим новациям энтузиастически либо хотя бы равнодушно. Следует считать вполне естественными реакции, запечатлевшиеся, например, в дневниковых записях И. А. Бунина, чутко ощутившего в таких переименованиях внешние признаки радикального разрушения традиционной (т. е. сакральной для писателя – и многих других) культуры и одновременно свидетельство воцарения чуждой культуры, которую можно было бы считать экзогенно-профанной, но – претендующей теперь, с благословения и усилиями нового государства, на статус единственно сакральной.

«5 мая (22 апреля 1918 г.). <…> Вместо Немецкой улицы – улица Баумана! О! И этого простить нельзя» [Бунин 1990б: 62]. – «Художественный театр им. Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, – в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием <…>» [Бунин 1990а: 176].

Несколько более эмоционально сдержанно, тонко-иронично отзывался о советских переименованиях социально-культурно близкий Бунину В. В. Набоков, писавший в воспоминаниях, в частности: «<…> Я со сверхчувственной ясностью видел её [матери] санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивлённый Герцен)»

[Набоков 1990, 4а: 148] (комментарий: «Проспектом имени 25 октября Невский проспект назывался с 1918 по 1944 г. На Невский проспект выходит улица Герцена, бывшая Морская, где располагался особняк Набоковых» [Дарк 1990, 4: 465]). Ср. в другом набоковском тексте изображение проходного персонажа – дамы, приехавшей в Берлин из России, где она, видимо, удачно мимикрировала и приспособилась к советским порядкам: «Она <…> с холодной лёгкостью произносила “Ленинград” [Набоков 1990, 2г: 126] – может быть, потому, что у неё были «беспощадно глупые глаза» [Набоков 1990, 2г: 129].

Иногда упоминания нововведённых микротопонимов могут вносить дополнительный комизм в описание ситуации. Так, после заседания тайного антисоветского общества, где были избраны новые местные руководители – на случай скорого и неминуемого свержения большевиков, «сияла звезда. Ночь была волшебная. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой» [Ильф, Петров 1957а: 160].

Интересна также сконструированная теми же авторами микротопонимическая контаминация, в которой ёмко воплотились старые и новые аксиологические ориентиры: «[Адам Казимирович] весь день бесплодно простоял на Спасо-Кооперативной площади» [Ильф, Петров 1957б: 356].

Типологически иной, но интенционально аналогичный пример:

«К и р и . Я, Кири-Куки Первый, объявляю вам свой первый декрет. В знак радости переименовываю наш дорогой Остров, во времена Сизи-Бузи носивший название Туземного Острова, в Остров Багровый. Т у з е м ц ы л и к у ю т » [Булгаков 1990, 3б: 174].

Кстати: в письме правительству СССР от 28 марта 1930 г. М. А. Булгаков писал, в частности: «Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что “Багровый остров” – пасквиль на революцию. Это несерьёзный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых <…> я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности её, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком – не революция» [Булгаков 1990, 5: 446].

В то же время, как видим, сатирик Булгаков совершенно точно уловил и едко спародировал одну из кардинально важных черт лю-

бой революционной эпохи, то есть неуёмную, а зачастую и попросту неумную тягу вновь воцарившейся власти к переименованиям всего и вся в духе возобладавшей идеологии. В этих процессах сакрализации прежде профанного чётко выразился один из постулатов вербальной магии: якобы некая реалия радикально изменит свою глубинную сущность, сто́ит лишь дать ей совсем другое, «правильное» название (см. об этом также: [Васильев 2013: 568–574; 2014: 184–191]).

Те же вербально-магические приёмы иногда приобретали такие гротесковые формы, что их совокупная частотность позволила исследователю применить определение «официальный пуэрилизм (от лат. puer – ʻотрокʼ; то есть поведение безответственного, несдержанного юнца): «Газета *Правда* от 9 января 1935 г. сообщала, что в Курской области местная советская власть за недостачу в поставках зерна переименовала три колхоза – *Имени Будённого*, *Имени Крупской* и *Красная Нива* – в *Лодырь*, *Саботажник* и *Бездельник*» [Хёйзинга 1997: 195].

Несомненно, исторически мгновенные, а потому не успевшие как следует усвоиться перекраивания микротопонимической системы заметно затрудняли для обывателей возможность безошибочно ориентироваться в ранее вполне привычном пространстве: «<…> Валяй на улицу Плеханова. Знаешь? <…> – «А раньше как эта улица называлась?» – спросил извозчик. – «Не знаю». – «Куда же ехать? И я не знаю». Тем не менее Остап велел ехать и искать. Часа полтора они проколесили по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова – не иначе, как бывшая Губернаторская. «Ну, Губернаторская! Я Губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую». – «Ну, и езжай!» Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. Но не нашел её <…>. «Вези в “Сорбонну”! – крикнул он. – Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!» [Ильф, Петров 1957а: 125] (кстати, здесь же ещё один пример ретивости переименователей улиц города Старгорода – кажется, за ним всё-таки сохранилось исконное название: «Он [Бендер] прошёл Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Коо-

перативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошёл: в городе было д в е Советских улицы» [Ильф, Петров 1957а: 43]).

Следует сказать, однако, что и перестроечно-реформаторские годы, по-своему революционные (или, может быть, контрреволюционные), тоже ознаменовались множеством переименований, подаваемых как некое «возвращение исторических названий». Они производились, в сущности, по тому же самому вектору, что послеоктябрьские: запечатлённые в микротопонимах сакральные символы прежней советской доминировавшей идеологии были успешно низвергнуты, а вместо них были внедрены добольшевицкие вербальные знаки. Масштабность и скоропалительность этих мероприятий тоже не добавила жителям сколько-нибудь зримых удобств. Ср. в тексте современного писателя: «<…> Где поликлиника?» – «Большой Златоустинский переулок». – «Что-то знакомое…» – «Это как от Маросейки идти к Мясницкой. Слева по ходу будет арка…» – «Погоди! Златоустинский… Как он раньше-то назывался?» – «Большой Комсомольский». – «Так бы сразу и сказал: иду по Большому Комсомольскому от Богдана Хмельницкого к улице Кирова…» [Поляков 2006а: 53].

Надо отметить также, что декларированное «возвращение исторических названий», по крайней мере, в некоторых случаях оказалось более чем спорным. Так, «возвращение» в 1991 г. названия «Санкт-Петербург» взамен «Ленинград» вряд ли может быть оценено позитивно с точки зрения реальной истории этого многострадального города, поскольку действительно первичным названием было шведское «Ниеншанц», то есть «Невская крепость». Впрочем, реформаторы постоянно трактуют и интерпретируют историю в соответствии лишь с собственными интересами. Любопытно, однако, заговорят ли когда-нибудь в России публично и официально о «блокаде Санкт-Петербурга»?

То же относится и к городу Волгограду: пока ещё довольно известно, что там была Сталинградская битва. Не придёт ли в светлые головы неуёмных реформаторов переделать её в «Волгоградскую» – благо советских воинов, сражавшихся тогда на Волге, осталось сегодня в живых, увы, совсем немного…

6. Ономастические изыски новейших манипуляторов

> До революции <…> был небольшой казачий посёлок Сторожевой <…>. В конце 20-х поблизости от Лассаля (так переименовали посёлок после революции в честь знаменитого революционера) нашли ценнейшие полезные ископаемые <…>. Во время войны в Мехлис (так к тому времени переименовали город в честь главного редактора газеты «Правда») эвакуировали оборудование <…>. А в начале 60-х в Степногорске (так переименовали город после разоблачения культа личности) открыли педагогический институт <…>. Дальше – больше. Оказалось, президент [Каралукии] <…> прямой потомок великого Темучина <…>. Этот факт стал известен буквально на следующий день после разгрома в Москве ГКЧП. И Степногорск стал называться Темучином.
>
> Разговаривать по-русски на улицах стало опасно.
>
> Ю. М. Поляков

Лексика, теснейшим образом связанная и с мышлением людей, и с жизнью социума, его многообразной деятельностью и духовным миром человека, чрезвычайно динамична. Отсюда и глубоко традиционная, вовсе не сегодня возникшая тенденция к использованию слов и устойчивых словосочетаний для обработки в нужном кому-то направлении индивидуального и общественного сознания (т. е. вербальная магия в её различных модификациях). Это вполне закономерно: формируются смысловые ассоциации, возникающие прежде всего как результаты реализации номинативной функции слова.

Однако есть весьма обширный пласт лексики, в котором данная функция, если и присутствует, то выступает своеобразно, явно в сравнительно ослабленном виде. Таковы имена собственные, образующие в разных языках более или менее оригинальные антропонимиконы и топонимиконы.

Правда, полагают, что «имена собственные, как и местоимения*, в отличие от имён нарицательных <…>, называют предметы,

* Это сравнение далеко не случайно: лишь в определённых ситуациях местоимение способно указывать на нечто конкретное, п о ч т и называя его, ср.: «Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, Вся обомлела, запылала И в мыслях молвила: вот о н !» [Пушкин 1978, V: 61].

различные по их предметной отнесённости. Например, имя *Маша* может стать именем любого человека женского пола; именно этот смысл является его лексическим значением, но закрепляется оно за определённым человеком» [Кодухов 2003: 162]. Но ведь имя собственное, за исключением, может быть, этимологического значения (которое применительно к конкретному владельцу имени говорит о нём иногда ничтожно мало, а точнее – и совсем ничего), сообщает о своём носителе минимальную информацию – скажем, о его половой принадлежности, да и то не во всех языках – либо и совсем нулевую.

Несомненно, иногда бывает, что «даже в антропонимах (фамилиях) она [внутренняя форма] не остаётся полностью нейтральной. Конечно, фамилия Волков не вызывает волчьих ассоциаций, но в жизни имена с живой внутренней формой подчас используют для разного рода стилистических целей» [Комлев 2003: 38] (например, приводимые здесь же «говорящие фамилии» литературных персонажей, вроде Яичница, Молчалин, Очумелов и пр.). Более того, подчас возникает невольная и обычно малоосмысленная симпатия к тёзкам и однофамильцам.

Вот, например, как Чичиков пытается произвести приятное впечатление на Коробочку и завязать с нею доверительные отношения: «А имя и отчество?» – «Настасья Петровна». – «Настасья Петровна? Хорошее имя. У меня тётка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна» [Гоголь 1956: 46].

Причём известно, что в духе вербальной магии имена собственные способны выступать, по выражению П. Флоренского, явно «знаменательными»: «Когда распространяется в обществе некоторое имя, то это во всяком случае происходит в силу внимания к нему и положительной его оценки… <…> …Убежденность, что имена, если не все, то, по крайней мере, вот это, высоко ценимое, есть действительно нечто, действительный дар и что оно, блистательно явленное известным историческим лицом, способно перенести с этого лица хотя бы часть его превосходства на крещаемого с этим именем младенца. Многочисленные Катерины XVIII века, по убеждению их отцов, в самом деле должны были явить собою какие-то отображения Матушки-Екатерины силою полученного ими имени» [Флоренский 1993: 45].

Вполне устойчивые ассоциации способны вызвать и некоторые топонимы и микротопонимы. Скажем, «слово *Кремль* ведёт наше воображение к архитектурно-урбанистическим представлениям, т. е. к денотату» [Комлев 2003: 52] (хотя, конечно же, такими представлениями вовсе не исчерпываются смысловые импульсы, возникающие от этого слова в сознании коренного носителя языка, – ведь для русского оно несомненно обладает также коннотациями историко-культурного и сугубо политического характера. Ср.: «Москва… к а к м н о г о в этом звуке Для сердца русского слилось! К а к м н о г о в нём отозвалось!» [Пушкин 1978, V: 134] или: «Что Чесма, Рымник и Полтава?» [Лермонтов 1970, 1а: 127] и т. п.).

Таким образом, действительно, «может быть, имена ничто, но их признают народы за нечто и в силу этого признания имена ведут себя в жизни общества как некие фокусы социальной энергии» [Флоренский 1993: 45].

Несомненная значимость указанного «признания» выражается не только в самих именованиях людей и называниях населённых пунктов, их частей и прочих объектов. Не менее явно это наблюдается в фактах смены антропонимов (псевдонимизации) и радикальной трансформации топонимов, причём эти акты также носят очевидный вербально-магический оттенок, хотя иногда и имеют некое подобие реализации квазиэстетических запросов. Такие случаи нередки и в реальной жизни, и в литературно-художественных текстах.

Ничуть не менее символичными (или «знаковыми», как сегодня предпочитают говорить – «озвучивать» – некоторые наши современники) зачастую оказываются смены эргонимов. Ср. пламенный призыв Троцкого (1922): «Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад разбивались о высокомерные главкократии и непонимание п с и х о л о г и ч е с к о й и д а ж е п о л и т и ч е с к о й с т о р о н ы этого дела… <…> П о р а д а т ь, наконец, заводам и фабрикам с о в е т с к и е и м е н а» (цит. по [Флоренский 1993: 45–46]).

Итак, оказывается, что и антропонимы, и топонимы значимы во многих отношениях. Более того, они вполне могут обретать статус символичных – хотя бы некоторые отечественные примеры: Александр Невский, Иван Грозный, Пётр Первый, Суворов, Кутузов, Ленин, Сталин и т. п., или: Полтава, Бородино, Сталинград, теперь

ещё, вероятно, и Крым, и пр. Поэтому они, несомненно, являются прецедентными. А «вербальные или вербализуемые прецедентные феномены в наибольшей степени «концентрируют» в себе культурно значимую информацию и служат для её актуализации в коммуникативном взаимодействии» [Гудков 2004: 24]. Следовательно, прецедентные имена собственные могут быть использованы в манипулятивных операциях.

Замечено, что в информационной войне «большинство выпадов делается только для того, чтобы увидеть реакцию противника на те или иные входные данные, осмыслить её и, собрав по крупицам все доступные знания, создать адекватную информационную модель, которая позволит в дальнейшем получить ответы на вопросы типа: «А что будет, если…?» и т. п.» [Расторгуев 2003: 342].

Вот недавний пример: телеканал «Дождь» предложил своей аудитории ответить на вопрос, не надо ли было сдать немцам Ленинград и сберечь таким образом тысячи жизней. В вопросе, по самой своей сути кощунственном, в общем-то и был заложен, по очевидному замыслу телеканальских деятелей, прогнозируемый в духе «общечеловеческих ценностей» (см. об этом: [Васильев 2013: 186–201]) положительный ответ. Понятно, что у очень многих российских граждан (для которых Ленинград – не просто какой-то заурядный топоним, но великий символ героизма) такая формулировка никаких позитивных откликов не вызвала. Совершенно закономерно, что почти незамедлительно ряд операторов отказался от трансляции передач либеральнейшего, но при этом впечатляюще занудного телеканала. Впрочем, обнаружились и глубоко родственные ему по духу защитники. Так, всячески саморекламирующийся юрист М. Барщевский, занимающий удивительную должность полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях (чем, наверное, подчёркивается конституционно установленная независимость власти судебной от власти исполнительной), квалифицировал «дождливую» анкету не как «преступление», но как «глупость», за которую, конечно же, и наказывать не следует, несмотря на многочисленные исковые заявления как отдельных граждан, так и организаций [Сегодня. НТВ. 02.02.14]. А ведь то, что проделал «Дождь», – очевидный разведывательно-провокационный выпад для зондажа общественного мнения, чётко соответствующий тактике информационной войны.

Вовсе не важен конкретный результат описанного манёвра, важно то, что он оказался возможен и осуществим.

Естественно, что высоко значимый топоним *Ленинград* охотно использовался агентами агрессора и в других случаях. Например, известный ранее журналист А. Бабицкий высказывался буквально так: «Ситуация [в Грозном], конечно, не та, что в блокадном Ленинграде, но чем-то её напоминает» [Четвертая власть. Ren TV. 05.02.00]. Действительно, внешние аналогии вроде бы налицо: оба города оказались полуразрушенными в результате артиллерийских обстрелов и авиабомбардировок. Однако это лишь чисто внешнее сходство, поскольку речь идёт о типологически совершенно разных первопричинах. *Ленинград* – советский (и, наверное, не только собственно советский) символ нигде в цивилизованной Европе времён Второй мировой неизвестных стойкости и мужества людей, которые предпочли тяжкие мучения и страдания, смерть, наконец, сдаче своего города жестокому агрессору (между прочим, вовсе не считавшего ленинградцев, как и прочих русских, полноценными людьми). Интенция адресанта совершенно прозрачна: Ленинград и Грозный, по сути, одно и то же. Следовательно, происходившее в Чечне – это межгосударственный военный конфликт; т. е. «Республика Ичкерия» имплицитно объявляется суверенным государством, миролюбивые и беззащитные граждане которого подверглись неспровоцированному нападению другого государства (России, солдат которой малоуважительно именовали «федералами»). Отсюда телезритель, даже не склонный к логическим построениям, сделает подсказываемый ему единственно возможный вывод: «федералов» надо незамедлительно вывести с осаждаемой ими территории (а ещё бы и наказать за «преступления против человечности», как это проделали с полковником Будановым), а перед благородными свободолюбивыми чеченцами хотя бы извиниться*.

Другой пример культурно-топонимических параллелей – и по поводу тех же событий. Л. Канфер повествует о том, как некий чеченец «приехал посмотреть, что осталось [от родного села] после того, как воюющие устроили там свое маленькое Бородино» [24. Ren TV. 23.04.03]. Опять же: в качестве источника сравнения выступает

* Ср. типологически подобное сравнение: «… Когда я летал над Грозным, он был весь, просто до основания разрушенный, как Сталинград» [Путин 2018: 56/58].

в высшей степени символичный для русского языкового сознания топоним, ассоциативно прочно соотносимый с воинским подвигом во имя защиты Отечества от иноземных интервентов. Но в данном случае факты представлены так, что чеченцы оказываются невинными жертвами беспричинно нападающего на них оккупанта (т. е. совсем другого государства, коварной России) и вынуждены от него обороняться. Понятно, что адресант таким образом даёт понять телеаудитории, на чьей стороне историческая справедливость.

Подобным же образом нередко используются прецедентные антропонимы. Например, в репортаже с выставки, посвященной 285-летию Екатеринбурга, один из её организаторов заявляет: «Экспонаты выставки можно пробовать на вкус… <…> …торт «Павлик Мороженый» [24. Ren TV. 18.08.08]; здесь же следует комментарий столь же прогрессивного («продвинутого») журналиста, автора сюжета: «Ещё никогда пионеры-герои не были такими сладкими». Вполне понятно, что здесь имеется в виду многократно оболганный Павлик Морозов. И здесь интенция адресантов несомненно прозрачна: в русле настойчивой дегероизации советского прошлого запрограммировать и предотвратить появление каких бы то ни было героев среди подрастающего поколения – за исключением, может быть, так называемых звёзд российского шоу-бизнеса, да ещё, наверное, выдающихся представителей криминалитета. Приведённый выпад логично согласуется с постулатами творцов словесных опусов времен «перестройки» и начала великих реформ, инноваций, оптимизаций и т. д. Напомним дифирамбическую эпитафию одному из многочисленных представителей этого племени, пропагандистски обеспечивавших вожделенные ими социальные перемены: «Григорий Горин – человек, у ч и в ш и й с т р а н у с м е я т ь с я н а д н е с м е ш н ы м и в е щ а м и» [24. Ren TV. 12.03.10]. Уже избыточно здесь говорить, какому «семантическому заражению» (термин М. Бреаля) подверглись такие прецедентные антропонимы, как Ленин, Сталин, Дзержинский и многие другие.

В свете вышесказанного можно сделать вывод о том, что прецедентные имена собственные, топонимы и антропонимы, будучи используемыми в соответствии с замыслами манипуляторов, константно выступают в функции эффективных составляющих арсенала информационной войны.

Специфика имён собственных во многом сохраняет древнейшие черты. Это способность воплотить в слове вполне прагматичное стремление в придачу к некоему общему обозначению маркировать какой-то объект для более точного, в идеале – безошибочного указания на него. В то же время здесь присутствует и некий мистический элемент, то есть попытка связать, соотнести именуемое земное с надмирным, вечным, нетленным, и тем самым утвердить уникальность называемого. Совмещение профанной необходимости и сакральной ауры и выражается в имени собственном.

Этим обстоятельством предопределяются многие формы и аспекты функционирования антропонимов: их конкретный выбор, изобретения псевдонимов и прозвищ, требование точности употребления имени. Несоблюдение последнего критерия можно расценивать и как попрание прав личности, и как посягательство на её законную нишу в социальной общности, и т. п. В то же время псевдонимы, выступая в роли словесной маски-личины, имеющей с её носителем ещё меньше точек соприкосновения, нежели оригинальный антропоним, весьма близки к атрибутам карнавального действа, отчего ситуации, в которых участвуют их обладатели, исподволь обретают какой-то ирреальный, хотя зачастую и трагический подтекст.

Подобным образом и замены традиционно привычных топонимов, особенно производимые сиюмоментно и в широких масштабах, несомненно имеют символичное значение. Они трансформируют пространство, среду обитания человека, мгновенно лишая его устоявшейся возможности к безошибочной ориентации, и сигнализируют о замещении прежних сакральных ценностей новыми. Обычно инициаторы и исполнители переименований не склонны интересоваться мнениями о них у остальных сограждан, используя собственные вкусовые предпочтения и властные полномочия. Понятно, что решительный («непреклонный») административный подход способен одновременно произвести довольно противоречивые эффекты. С одной стороны, замысел переименования исходит с верхних ступеней социальной лестницы, что вроде придаёт ему авторитетность (или хотя бы её подобие); с другой – его осуществление доставляет обывателям дополнительные неудобства, но – как ни парадоксально – подспудно внушает гражданам требуемое убеждение в безграничном могуществе власти. А это, конечно же, – уже слагаемое представления о сакральности высших социальных сфер.

Глава 15

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ

Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и чрез которое на неё смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя.

В. О. Ключевский

I. Лица и личины

1. Наружный облик человека как экспликация его сущности

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов <…>. Его походка была небрежна и ленива, но <…> он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера <…>. В его улыбке было что-то детское…

М. Ю. Лермонтов

Сложный характер противопоставления внутреннего и внешнего (соответственно, по крайней мере, отчасти – своего и чужого, сакрального и профанного) состоит не в одной лишь их полярности. Очевидно существует и некое фундаментальное единство между ними, которое делает реальным и само их существование, и создаёт возможность взаимных переходов между ними. Эта связь воплощается в самих выражениях компонентов оппозиций, то есть буквально обретает какую-то плоть – идёт ли речь о конкретном предмете как

фрагменте материального мира или же о слове как звукобуквенном комплексе, вследствие чего оно и доступно восприятию через физические ощущения.

Считают, что «выражение есть всегда синтез чего-нибудь внутреннего и чего-нибудь внешнего. Это – т о ж д е с т в о внутреннего с внешним <…>. Самый термин *выражение* указывает *на некое активное самопревращение внутреннего во внешнее*» [Лосев 1991: 45].

Такова природа лексических единиц, которая, как полагают, в отдалённые эпохи воспринималась совсем иначе, чем впоследствии: «… В старину он [человек] только менее отделял от него [слова] свою мысль. Потому слово <…> понималось в теснейшей связи с тем, что выражает» [Буслаев 1848: 8]. Закономерно поэтому, что «н а з ы в а н и е е с т ь т в о р е н и е – в высшей степени обычная мифологема у всех народов» [Дьяконов 1990: 32].

Здесь кроются корни вербальной магии, активно эксплуатируемой для манипуляций сознанием и сегодня (разумеется – с широким применением новых технических средств передачи и хранения информации). Суть вербально-магических действий состоит в том, что путём переименования возможно радикально изменить глубинное естество какого-либо человека или явления.*

Примеры таких подходов к будто бы решительной трансформации действительности общеизвестны. Наиболее наглядный случай подобного проявления государственной мудрости – это, конечно, переименование по высочайшему указанию-мановению российской *милиции* в *полицию*. Разумеется, не стало другим ни само ведомство, ни образ поведения его сотрудников, но ведь эпохальная *реновация* произошла (см. об этом: [Васильев 2014: 179–191].**

* Ср. диалог между молодым помощником присяжного поверенного и его многоопытным патроном: «Но ведь в действительности она [оправданная по приговору] виновна?» – «В действительности! <…> Откуда мы можем знать, что происходит в действительности? <…> И н е т н и к а к о й д е й с т в и т е л ь н о с т и , а е с т ь о ч е в и д н о с т ь» [Андреев 1957: 94].

** «…Разговор состоялся <…> между пилотом вертолёта (условное имя – Дедал) и штабом главнокомандующего (пароль – Диомед) операцией «КП» <…> – «Космический пришелец». Этим привлекательным термином военные власти назвали всю операцию <…>. Придумав три таких звучных названия, <…> власти получили полное основание считать, что сделали уже многое» [Родари 1987а: 271].

Или: недавно обнародована информация об исключении из официального реестра профессий, по которым в России ведётся подготовка специалистов, *маляров-штукатуров*, *программистов* и *парикмахеров* – и о введении взамен их *мастеров декоративных работ*, *администраторов баз данных* и *стилистов* [RenTV. Новости. 06.09.19]; это ощутимо напоминает чудесное превращение советских времён – *доярок* в *операторов машинного доения*.

Примечательны в этом аспекте указания профессий многих участниц телевизионных ток-шоу, обычно даваемых синхронно с их выступлениями в титрах, вроде *общественная деятельница*, *светская дама* и *светская львица*, предоставляющих зрителям широкие возможности для догадок об источниках доходов героинь, явно не стеснённых в материальных средствах. Правда, иногда о некоторых из этих особ сообщается, что она, например, певица (которую никто никогда не слышал), или балерина (давно покинувшая сцену во благо последней), или уж совсем модель…

Такие социально-статусные маркеры далеко не новы; ср.: «Вокруг него [железнодорожного начальника] <…> за толстыми книгами сидят дамы. Одеты эти дамы шикарно <…>. Как они умеют мирить внешний шик с нищенским женским жалованьем, понять трудно. Или они служат здесь от нечего делать, с жиру <…>, или же тут бухгалтерия есть только дополнение, а подлежащее и сказуемое подразумевается» [Чехов 1955, 4а: 504–505]. Ср. суждение персонажа автора, некогда популярного в нашей стране: «Я не моралист, <…> но если козырять тем, что тебе всё нипочём, то не исключено, что на вершине общественной иерархии окажется шлюха» [Райнов 1970: 78]. Конечно, морализаторство – занятие малопродуктивное, но можно констатировать довольно уверенно, что сегодняшняя российская ситуация именно такова: вершину социальной пирамиды, наряду с чиновниками и нуворишами, занимает проститутка как образцовый пример успеха, достигнутого половым путем (излишне упоминать здесь о типологически подобных гомосексуалистах).

В то же время непреходяще актуальной категорией общественного поведения продолжает оставаться лицемерие – правда, демонстративное благочестие далеко не всегда производит на аудиторию эффект, предполагавшийся адресантом: слушатели, даже юные, могут быть хорошо знакомы с социальными механизмами достижения

успеха. Так, некий богач-меценат на роскошном «кадиллаке», заработавший «кучу денег на похоронных бюро <…>, через которые можно хоронить своих родственников по дешевке – пять долларов с носа <…>. Ручаюсь, что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в речку <…>, стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или ещё чего никогда не стесняется – станет на колени и помолится богу. И нам тоже советовал всегда молиться богу <…>. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойников» [Сэлинджер 1975: 677].

Впрочем, известны примеры подлинно виртуозного лицемерия субъекта, которое производит на окружающих требуемое и притом долговременное впечатление (в данном случае не касаемся манипулятивной деятельности политиков, властителей и под. – см., в частности [Васильев 2013: 44-50 и др.]) на уровне межличностных отношений.

В этом аспекте чрезвычайно интересным представляется рассказ князя Валковского о его «приключении» с некоей барыней – «первостепенной красавицей». «Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своею грозною добродетелью <…>. Не было во всём её круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своём кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали её, даже заискивали в ней. <…> Молодые женщины трепетали её взгляда и суждения <…>, боялись её даже мужчины» [Достоевский 1956, 3: 274-275].

И при такой тщательно выстроенной и фундаментально прочной репутации (то есть совокупности явных внешних и якобы соответствовавших им внутренних качеств) «не было развратницы развратнее этой женщины <...>. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться» [Там же].

Однако наивысшее удовлетворение даме доставляло ощущение глубокого контраста между «внешним» (её публичном декоративном обликом) и «внутренним» (её подлинном нравственном содержании). «...Самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении – была его таинственность и наглость обмана.

Эта насмешка над всем, о чём графиня проповедовала в обществе как о высоком, недоступном и ненарушимом <…>, – вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения <…>. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная…» [Там же]*.

Писатель подчеркивает социальную обусловленность модели поведения персонажа: эта модель определяется правилами «своего круга» и значима именно лишь для чётко ограниченной страты общества. Подобные ситуации известны по многим другим текстам.

Евгений Онегин – хрестоматийный пример светского молодого человека первой трети XIX в. Его образ как представителя русского столичного общества того времени складывается из трёх главнейших компонентов: совершенное владение французским языком, знание светских обычаев и соблюдение их и умение одеваться по моде.

Легко заметить, как сообщаются здесь «внутреннее» и «внешнее». Знание какого-либо языка содержится в памяти, а обнаруживается в речекоммуникативных актах; усвоенные правила поведения реализуются в межличностном общении; одежда – некий набор символов, зримо предъявляемых окружающим.

Онегин, проводя по три часа перед зеркалом, стремится совершенствовать свой наряд прежде всего для того, чтобы выглядеть «своим» среди людей определённого круга: его мнение для Евгения, хотя и начитавшегося зарубежных писателей, славивших индивидуализм, демоническую личность и проч. [Пушкин 1978, V: 128–129], кардинально важно. Dandy чрезвычайно заботят суждения (или пересуды) людей социальной страты, к которой он принадлежит, пусть и весьма критично к ней относится, понимая, что́ представляют собой эти люди. С одной стороны, «шёпот, хохотня глупцов» [Пушкин 1978, V: 107], с другой всё-таки – «боясь ревнивых осуждений…» [Пушкин 1978, V: 17], и опасение последних оказывается решающим: он не может рисковать своим душевным комфортом, хоть в малейшей мелочи нарушив критерии, по которым вычисляются «свои».

* В подобном отношении небезынтересно было бы сопоставить дискурсивные акты некоторых публичных речедеятелей, предназначенные для широкой аудитории, – и их же высказывания, адресованные представителям «своего круга». Впрочем, понятно, что такой анализ невозможен по ряду причин.

Ведь и в финале романа Евгений, некогда остановивший страстный порыв скромной провинциальной барышни, пленяется Татьяной – однако ставшей совсем иной. Теперь это уже не просто божественная красавица, царящая в свете (опять же – в «своём кругу»), но притом и «du comme il faut...». Гармония безупречного вкуса, выдержанных манер заставляет предполагать и наличие высоких личностных достоинств героини; всё это, вместе взятое, и делает её идеальным воплощением дамы высшего общества (олицетворением сакрализованного социального стереотипа), а значит – естественным объектом интереса пресыщенного Онегина [Пушкин 1978, V: 147-162].

Ср. то, что пришлось пережить другому литературному персонажу, ложно обвинённому в шулерстве коварным Арбениным: «[3-й гость:] Вы знаете, князь Звездич проигрался. [4-й гость:] Напротив, выиграл – да, видно не путём, И получил пощёчину. [5-й гость:] Стрелялся? [4-й гость:] Нет, не хотел. [3-й гость:] Каким же подлецом Он показал себя!.. [5-й гость:] Отныне незнаком Я больше с ним. [6-й гость:] И я! Какой поступок скверный. [4-й гость:] Он будет здесь? [3-й гость:] Нет, не решится, верно. [4-й гость:] Вот он! (Князь подходит, ему едва кланяются. Все отходят, кроме 5 и 6 гостя. Потом и они отходят)» [Лермонтов 1948, 3: 85–86]. Иначе говоря, Звездич, объявленный сплетниками подлецом, потому что (якобы) отказался защищать свою честь на дуэли, оказывается исключённым из круга «своих» – теперь он для них «чужой».

Пример того, как внешнее сходство между людьми (пусть даже и далеко не полное) стимулирует заинтересованного наблюдателя искать между ними и сходства внутреннего, содержится в эпизоде романа, в котором некая дама, старательно культивирующая в себе память о тяжёлой утрате – юном сыне, покончившем самоубийством, при первой же встрече с молодым поэтом «пошла повторять: «Боже мой, как вы мне напомнили его, как напомнили!» [Набоков 1990, 3: 34]. Но, несмотря на этот «восторг скорби» [Там же], рассказчик вполне здраво понимает: «мы с ним были мало схожи (куда меньше, чем полагала она, вовнутрь продлевая совпаденье наших внешних черт, которых она к тому же находила больше, чем их было на самом деле, а было, опять-таки, только то не-

многое на виду, что соответствовало немногому внутри нас)» [Набоков 1990, 3: 35].

Ещё один пример совершенного соответствия внешнего и «внутреннего» – описание путём сравнений персонажа, играющего в рассказе не самую симпатичную роль: «Рожа у студента Окулова была здоровая, красная, темнее волос, и выражение было на ней такое, какое бывает у человека, приготовившегося дать кому-нибудь по физиономии: рот распяленный, ноздри раздутые, глаза выпученные. Словно природа зафиксировала этот предпоследний момент, да так и пустила студента вдаль по всей жизни» [Тэффи 1991д: 175].

В этом отношении интересен обратный пример – несоответствия между визуальным обликом человека и его личностью в фантастическом романе, ряд персонажей которого принадлежит к эсперам (от англ. extrasensory perception – «сверхчувственное восприятие»), то есть обладают телепатическими способностями, а потому могут наблюдать глубинную сущность человека: «Она зашла на кухню, в зрительном восприятии маленькая, а в мысленном – высокая, осанистая. Темноволосая смугляночка внешне, а в душе холодная, морозно-белая, как монахиня в белоснежной одежде. Но ведь не то реально, что мы видим. Внешность обманчива» [Бестер 1992: 24].

А. Ф. Лосев подробно рассматривал эту проблему. «Личность есть всегда *телесно* данная интеллигенция [т. е. *самосознание* – с. 74] <…>. Личность человека <…> немыслима без его тела <…>, по которому видна душа. Что-нибудь же значит, что одни московский учёный вполне похож на сову, другой на белку, третий на мышонка, четвёртый на свинью, пятый на осла, шестой на обезьяну. Один, как ни лезет в профессора, похож целую жизнь на приказчика. Второй, как ни важничает, всё равно – вылитый парикмахер <…>. Тело <…> всегда *проявление* души <…>. На иного достаточно только взглянуть, чтобы убедиться в происхождении человека от обезьяны <…>. Тело – живой лик души» [Лосев 1991: 75].

Отсюда – и порождение многочисленных стереотипов, отражающихся в восприятии человеком окружающих.

Так, Бобчинский, в числе прочих взбудораженный вестью о скором появлении в городе чиновника-инкогнито, принимает за него некоего молодого человека, внешне предположительно соответствующего облику столичного ревизора: он «недурной наружности, в партику-

лярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение … физиономия … поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я будто предчувствовал…» [Гоголь 1966: 32].

Ср.: «У нас есть глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для неё содержания, и мы непременно должны сделать некое усилие, «дерзнуть», разбить эту форму, отбросить её, если почуем, что она лжива, и всегда идём на это «дерзание» с трудом и неохотой.

Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля – как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак…» [Тэффи 1991а: 396].

Приблизительно подобные метаморфозы предположительно происходят при изменении человеком своей внешности. По всей вероятности, частично – это отголосок древних поверий о полнейшем балансе между «натурой» индивидуума, то есть его психической сердцевиной, – и наружностью.

По справедливому мнению В. В. Колесова, «идея “лица” отталкивалась от предметности реального и связана с общей антропоморфной установкой древнего языческого общества. Мир тогда измерялся “от человека” <…>. Лицо в этом случае занимало особое место. Оно было как бы главным признаком самого человека в пространстве существования, поэтому именно оно и стало впоследствии признаком этическим и эстетическим <…>. При описании человека “лицо” – не обязательно только лицо; это – весь внешний вид, представляющий в общей картине данную личность <…>. Лицо, по смыслу древнего слова, есть нечто явное, явленное, поскольку и значит “внешняя сторона”, а у человека это и есть л и ц о» [Колесов 2001, 2: 164; 166].

В немалой степени с этим связаны давние и многократные попытки познать и объяснить внутреннюю сущность человека прежде всего с помощью наблюдений за его лицом как наиболее доступной и открытой для изучения – и притом будто бы самой значительной части его физического естества.

Поиски и мнимое нахождение упомянутого выше баланса чрезвычайно характерны для сферы интимных отношений.

Иногда подобную квазилогическую модель мыслительных операций приписывают исключительно женщинам. Вот реплика Крес-

сиды, которая, по мнению позднейшего комментатора, «воплощает в себе чистую женственность со всеми её положительными и отрицательными проявлениями» [Смирнов 1959: 625]:

«О слабый пол! Все наши заблужденья
Зависят от игры воображенья.
Наш ум глазам подвластен, потому
Никто не верит женскому уму»
[Шекспир 1959, V: 449].

Однако вряд ли это действительно узкогендерный феномен: многочисленные примеры свидетельствуют о том, что и представители т. н. «сильного пола» в высшей степени подвержены таким же псевдорациональным построениям, не приводящим ни к чему, кроме пустых иллюзий.

Ср.: «…Было четыре дочери, все удивительно красивые <…>. Особенно старшая, немного склонная к полноте блондинка с правильным профилем, с целой кучей золотистых волос на затылке и с таким выражением глаз, как вот у знаменитой Cléo de Mérode [французская балерина, известная главным образом как модная красавица] <…>… Въехало мне в голову, что блондинка эта должна быть одним из самых сердечных, умных и талантливых существ, и, главное, въехало без всякого основания…» [Лазаревский 1982: 355].

Или: «По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу» [Чехов 1956, 8а: 66]. Однако нравственный облик и жизненные цели этой особы оказываются совсем иными, нежели представлялись воображению влюблённого. Кроме того, в черновике рассказа описываются и другие черты героини, ставшие по мере знакомства с ней совершенно явными: «И в умственном отношении тоже это была настоящая дикарка <…>. Логически мыслить она не умела. Её ум был блестящим, поскольку он был хитростью, в тех же случаях, когда она не хитрила, приходилось изумляться её невежеству и дикости» [Чехов 1956, 8а: 516].

Одна из наиболее известных в мировой литературе попыток показа полного соответствия физического облика персонажа и его мо-

рального портрета – это, конечно, изображение Шекспиром герцога Глостера, затем – короля в драме «Ричард III».

Трагедия и начинается с монолога будущего венценосца, который, не жалея для себя жестоких слов, произносит беспощадную (а потому и объективную) развернутую самооценку:

«...Я не создан для забав любовных <…>,
Я груб <…>;
Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан и до срока
Я послан в мир живой; я недоделан, –
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают»
[Шекспир 1957, 1: 433-434].

По-своему логична и избранная им модель поведения: «Решился стать я подлецом» [Там же], и по ходу пьесы Ричард следует ей неукоснительно. Королева Маргарита, осыпая бранью виновников её несчастий, не забывает проклясть и Глостера, именуя его, в частности: «Горбун ты, недоношенный свиньей» [Шекспир 1957, 1: 458].

Шекспировская характеристика Ричарда III прочно укрепилась не только в широком общественном мнении, но поддерживалась и литературной традицией. Один из ряда примеров – известный многим поколениям читателей роман Р.Л. Стивенсона «Чёрная стрела»; последняя часть, где фигурирует герцог Глостер, и называется «Горбун» [Стивенсон 1960: 377]. Отталкивающая внешность этого персонажа (конечно же, гармонично согласующаяся с его поступками) многократно подчеркивается и в его репликах, и в словах других действующих лиц, и в авторской речи. Ср. в первом случае: «Я <…> горбат». – «Я единственный горбун во всей армии» [Стивенсон 1960: 380, 419]. Во втором: «...Наш Горбун <…>. Горбатый Дик Глостер!» – «...Кто едет за горбатым Диком...» [Стивенсон 1960: 389, 398]. В третьем: «Ричард Горбатый». – «Горбун <…>; горбатый Дик». – «Ричард Горбатый». – «Горбун» [Стивенсон 1960: 379, 391, 396, 418, 420]. Справедливости ради, за герцогом признаю́т и некоторые личные достоинства: мастерское владение оружием, талант полководца и яростную храбрость. Но перевешивает, конечно, акцентируемое

писателем уродство; о том же говорится и в примечании, и в послесловии; ср. «уродливый горбун» [Стивенсон 1960: 380] – и: «… жестокосердный горбун» [Кашкин 1960: 427]. Более того: комментатор усматривает здесь авторский изобразительный приём: «Стивенсон ограничивается пока тем, что делает зло внешне отвратительным: Сильвер – одноногий, калека; Ричард – злой горбун» [Там же].

Однако в исторической действительности было несколько иначе, и факторы, сформировавшие облик драматургического героя под пером его создателя, сложно взаимодействовали. Шекспир опирался на хронику Холиншеда 1577 г. как фактологический источник [Смирнов 1957а: 41], в свою очередь, включавший в себя латинское жизнеописание Ричарда III, составленное Томасом Мором, где этот монарх – «физическое и нравственное чудовище» [Смирнов 1957б: 607]. А знаменитый гуманист в основном привлекал сведения, полученные от кардинала Джона Мортона, который «был ярым приверженцем Ланкастерского дома и помощником Ричмонда в низложении Ричарда Йоркского [смертельного врага Ланкастеров. – А.В.]. Отсюда – крайнее очернение Ричарда в хронике Мора» [Смирнов 1957б: 607-608]. Кроме того, другой хронист, Холл, хотя и отмечал «изъяны в телосложении Ричарда – одна нога немного короче другой и одно плечо повыше другого (причем известно, что в результате постоянных физических упражнений Ричард сделал эти дефекты очень мало заметными), – ни о каком ужасающем безобразии его – горб, кривобокость и т.п. – нет и речи» [Там же]. Что же касается политической деятельности, то историки характеризуют Ричарда III не как коварного и бессмысленно жестокого тирана, а как «весьма способного государя, издавшего ряд полезных для развития страны законов» [Смирнов 1957б: 612]. Наконец, ещё одно важное обстоятельство: источники, использованные Шекспиром, восходят к периоду, когда «престол занимали победитель Ричарда III – Генрих VII Тюдор и его сын Генрих VIII. К этому времени уже сложился миф о кровавом чудовище Ричарде, от которого избавил страну лучезарный герой – Генрих VII» [Черняк 1984: 53]. Таким образом, вольно или невольно, драматург исполнил некое подобие пресловутого «социального заказа», укрепив в общественном сознании «тюдоровский миф»: ведь эта пьеса, как и ряд других, была написана в царствование Елизаветы I, представительницы дома Тюдоров.

Вообще же изобразительный приём приведения внешности персонажа в полное соответствие с его нравственностью можно считать высокопрецедентным.

Так, демоническая красавица маркиза де Мертей в конце своей светской карьеры получает по заслугам (в духе времени и жанра), заболев оспой в очень злокачественной форме. «Она, правда, поправилась, но оказалась ужасно обезображенной, а главное – ослепла на один глаз <…>. Она стала совершенным уродом. Маркиза де *** <…> сказала, что болезнь вывернула её наизнанку и что теперь душа её у неё на лице» [Лакло 1967: 508].

Нарушение же стереотипов, также нередко встречающееся, может показаться наблюдателю совершенно непредсказуемым и необъяснимым.

Например: «И вдруг он [«маленький учитель», по совместительству – чуть было не обманутый супруг] бросился, как пуля, в телегу, схватил актёра [коварного соблазнителя] за шиворот и выкинул его на землю. Признаться, это было поразительное зрелище. Но дальше было ещё страннее. Я ожидал, что актёр – этот большой, массивный, величественный и гордый человек – станет драться, сопротивляться, или хотя бы по крайней мере начнёт объяснение. Нет, он побежал вперёд с поразительной быстротью, потерял по дороге круглую шляпу и – я заметил это! – всё время подтягивал панталоны. Ей-богу, я ожидал всего, даже кровопролития, но не этого театрального эффекта» [Куприн 1953, 1: 79].

Ср. также известные примеры подчёркнутого несоответствия «внешнего» и «внутреннего» (интересно, что во многих таких случаях именно «внешнее» выносится на первую позицию, – видимо, как та составляющая объекта, которая становится, моментально и непосредственно, доступной восприятию окружающих в качестве характерологического портрета человека): «Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла» [Лермонтов 1970, 1б: 395] – и: «… На лицо ужасные, Добрые внутри» [Дербенёв 1969 – цит. по: Душенко 2006: 143]. Художник Пискарёв, проникшийся «безумной страстью» к незнакомке с «божественными чертами» и «небесным взглядом», не смог пережить открывшейся ему дисгармонии: совершенная красавица оказалась заурядной проституткой [Гоголь 1952, 3б: 16–30].

До эпохи массовых пластических операций и фотошопа функции редакторов натуры нередко выполняли живописцы – конечно, приукрашавшие лица исключительно платежеспособных клиентов.

Таково начало карьеры Чарткова в качестве модного художника: «… Ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. <…> Черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика Психеи. “Довольно!” – сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко <…>. Портрет произвёл по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без лёгкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осаждён работами. Казалось, весь город хотел у него писаться» [Гоголь 1952, 3в: 97].

Ср. в известной детской книге, где художник Тюбик подчиняется настоятельным требованиям изображаемой им на полотне: «Кончилось тем, что глаза на портрете получились огромные, каких и не бывает, ротик с булавочную головку, волосы – словно из чистого золота, и весь портрет имел очень отдалённое сходство. Но поэтессе он очень понравился, и она говорила, что лучше портрета ей и не надо» [Носов 1990: 89]. Поэтому «каждой малышке хотелось иметь портрет <…>. Всем обязательно хотелось быть самыми красивыми <…>… Чтобы глаза обязательно были большие, ресницы длинные, брови дугой, рот маленький» [Носов 1990: 101].

В конце концов художник проводит «рационализацию в портретном деле», пользуясь заготовленными им трафаретами и шаблонами, – правда, он «не был доволен своей работой и называл её почему-то халтурой», но обладательницам портретов «нравилось, что они получились красивыми, а сходство <…> – это дело десятое» [Носов 1990: 102].

Некоторые примеры совершенствования внешности, особенно царственных особ, хорошо известны по работам портретистов, несомненно следовавших воле заказчика или его приближенных. Так, «Карл V внешне мало походил на того мощного, полного решимости гиганта на коне, каким его рисовали льстившие ему художники. Это

был уродливый маленький человечек с прыщеватой кожей и всегда полуоткрытым ртом – физический недостаток, который он скрывал под короткой бородкой» [Черняк 1988: 21].

Иногда подобные живописные опусы становились причинами драматических коллизий. Например, когда Генрих VIII был в очередной раз озабочен проблемой новой женитьбы (что, как обычно у монархов, вызывалось и дополнялось политическими соображениями), «выбор пал на дочь герцога Клевского Анну. Придирчивый Генрих взглянул на портрет, написанный с другого портрета Анны Клевской знаменитым Гансом Гольбейном, и выразил согласие» [Черняк 1984: 67]. Однако королевский посланник, отправленный для приёма невесты, «вернулся весьма смущенный: будущая королева очень мало напоминала свой портрет <…>. К тому же невеста была не первой молодости и в свои 34 года [королю было 50 лет. – А.В.] успела потерять ту привлекательность, которой в юности обладают даже некрасивые девушки» [Черняк 1984: 68].

Неудивительно, что «при встрече с немкой Генрих не поверил своим глазам и почти открыто выразил своё недовольство и неприятное впечатление <…>. Отныне Генрих только и думал, как бы отделаться от «фламандской кобылы», как он окрестил свою нареченную <…>. О том, что новобрачная ему в тягость, Генрих VIII объявил на другой же день после свадьбы» [Черняк 1984: 68-69].

Приблизительно всего через полгода король развелся с Анной, получившей в качестве компенсации статус «сестры короля», крупную пенсию и два богатых поместья. А Т. Кромвель, и так нелюбимый главный советник Генриха VIII, способствовавший заключению этого брака (впрочем, почти сразу же – и разводу), незамедлительно был казнен по обвинению в надуманной «государственной измене» [Черняк 1984: 70-74].

Попутно заметим, что и в такой сакрализованной сфере творчества, как иконопись, тоже существовали довольно чёткие критерии, которые, впрочем, иногда оказывались предметом острых дискуссий, несомненно имевших общественный резонанс.

«Икона <…> представляет собой вещественный и выраженный знак невещественной и невыразимой сущности божества. Нарисованное на иконе являет собой изображение в первичном и прямом смыс-

ле. Климент Александрийский прямо уподобил зримое словесному: говоря о том, что Христос, вочеловечившись, принял образ «невзрачный» и лишённый телесной красоты, он отмечает: «Ибо всегда следует постигать не слова, а то, что они обозначают» [Лотман 1996: 55].

«…Пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то всё писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбили толстоту плотскую и опровергоша долу горняя. Христос же бог наш тонкостны чювства имея все, яко же и богословцы научают нас <…>. А всё то кобель борзой Никон, враг, умыслил, будто живыя писать, устрояет всё по-фряжскому, сиречь по-неметцкому» [Аввакум 1979: 89].

По мнению позднейшего комментатора, «Аввакум в своих эстетических понятиях целиком следовал за постановлением Стоглавого собора (1551), предлагавшим “писати живописцем иконы с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублёв и прочии пресловущии живописцы… а от своего замышления ничтоже претворяти” <…>. Этот спор о живописи имеет значение и в моральном плане: истинный христианин должен отличаться “бледностью” и “сухостью плоти”, изображение же “толстоты телесной” на иконах “фряжского” письма “свидетельствует о еретичестве их авторов и оскорбляет чувства истинно верующих” [Елеонская 1979: 298].

Кроме того, в оценках, данных Аввакумом – стойким приверженцем традиций, освящённых временем, – очевидно наблюдается и неприятие чужеродцев (иноверцев) вообще как угрозы «истинному древнему православию», а следовательно, и самой Руси.

В известной степени отголоски суждений Аввакума можно усмотреть в монологе литературного персонажа, иконописца-старовера: «Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: пресвятая владычица <…> а другая ангел-хранитель, Строганова. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на владычицу <…> сердце тает и трепещет; глянешь на ангела… радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него <…> самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с торцами, в знак

повсеместного отовсюду слышания <…>. Власы на голове кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны <…>. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься “осени́”, и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир» [Лесков 1981б: 129]. Здесь речь идёт не только об эстетических достоинствах произведения, являющихся результатом следования живописным традициям (притом же и гораздо более привычным, нежели новации, уже в силу своего характера «новизны», представляющимися, по меньшей мере, не внушающими доверия), но о несомненном эффекте собственно религиозного свойства.

Фраза «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» [Чехов 1956, 9: 303] зацитирована до пределов возможного. Как и во многих подобных случаях, совершенно не учитываются ни личность персонажа, ни контекст ситуации, в которой эта реплика произносится.

Доктор Астров – закоренелый алкоголик-хроник, в современной терминологии – экоактивист и зоозащитник, заочно обличающий тех, кто не разделяет его довольно странных взглядов, безуспешно (в силу обстоятельств) пытающийся соблазнить чужую жену (праздному образу жизни которой и посвящена осуждающая тирада, начинающаяся со знаменитой фразы, – опять же заглазно); в общем, так называемый интеллигент, заодно уж критикующий и местную интеллигенцию, – модернизированный образ «лишнего человека», правда, в отличие от предшественников-дворян, вынужденный трудиться, – по характеристике одного из персонажей, «юродивый».*

Следует помнить, что почти в то же самое время российская передовая общественность восхищалась пламенными афоризмами деклассированных обитателей ночлежки из пьесы «буревестника революции», так что для этой публики (по преимуществу тогда благополучно сытой, как и сам драматург) подобные опусы играли роль некоей приятной щекотки.**

* Кстати, можно вспомнить позднейшее замечание мемуариста, любившего А. П. Чехова и как человека, и как писателя: «Перечитал “Дядю Ваню” <…>. В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать» [Бунин 1988, 6: 362], что совершенно справедливо.

** После первого представления «На дне» он [Горький] <…> стал командовать: «Айда к Тестову [знаменитый дорогой ресторан] – жрать будем!».

Однако же сама некогда знаменитая фраза может быть признана сбалансированной в содержательно-смысловом отношении, поскольку «всё прекрасное в человеке» чётко дифференцируется на ʽвнешнее’ (*лицо* и *одежда*) – и ʽвнутреннее’ (*душа* и *мысли*). Таким образом декларируется идеальное представление о гармоничной личности. Впрочем, насколько достижим этот идеал (если вообще достижим) в реальной действительности – большой вопрос. Многие авторы контрастно изображают законченного негодяя с наружностью красавца (Николай Ставрогин, например) либо бессердечную распутную красавицу (Элен Курагина и проч.); действительно же гармоничные человеческие существа возникают преимущественно под пером писателей-романтиков.

Люди склонны более активно заниматься корректировкой своей внешности (вплоть до пластических операций и постоянного обновления гардероба), нежели обогащением внутреннего мира – последнее требует чрезвычайного духовного напряжения. Да ведь, согласно пословице, по уму лишь провожают, а встречают всё-таки по одёжке.

Хорошо известно, что речедеятели российских СМИ склонны к производству квазицитат. По-видимому, здесь действуют одновременно два фактора: 1) стремление щегольнуть «красным словцом»; 2) желание продемонстрировать образованность. Но нередко происходит непроизвольное, хотя и закономерное обнаружение действительного культурного уровня (см., например, [Васильев 2013 а: 82–83]).

Особенно «везёт» в этом отношении латинской фразе «Mens sana in corpore sano» – «Здоровый дух в здоровом теле», которую платные пропагандисты того, что они рекламируют как формирование здорового образа жизни (т. е. посещение недешёвых фитнесс-клубов и разного рода псевдоцелителей, приобретение дорогостоящего спортивного инвентаря, соблюдение экзотических диет, бурные переживания за почему-то любимую команду в специальных пивбарах и проч.), транслируют в виде «в здоровом теле здоровый дух», явно поменяв местами античные приоритеты.

Вышеприведенная чеховская фраза тоже варьируется на разные лады, всё более удаляющие её смысл от прототекста.

Ужин давал он сам, назвав кроме актёров Художественного театра ещё человек полтораста» [Бунин 1988, 6: 580].

Так, в телепередаче «Здоровые и знаменитые. Русская версия» (канал «Живи» 05.07.18) прозвучала реплика ведущего: «В селебрити [англ. a celebrity – знаменитость] должно быть прекрасно всё: и голос, и душа, и лицо, и тело».

Такая расстановка аксиологических акцентов ассоциируется с результатами изысканий литературного персонажа: «Смотрел я однажды у пруда на лягушек <…> и начал себя спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных! И, взяв лягушку, исследовал. И по исследовании нашёл: точно, душа есть и у лягушки, токмо малая видом и не бессмертная» [Салтыков-Щедрин 1953: 147]. К российским celebrities это вполне применимо.

Весьма важной обычно является оценка чьей-либо внешности сторонним наблюдателем, причём при условии, что она (оценка) становится каким-то образом известной объекту. Например, в фантастическом романе повествуется о некоей сверхразумной расе, существующей в виде цветов, прошедших через множество контактов с самыми разными цивилизациями и в конце концов проникшихся симпатиями к человечеству – потому что людям эти пришельцы понравились не из каких-то утилитарных соображений, а лишь как одно из воплощений Прекрасного. «Больше ни одно живое существо, ни одно племя не додумалось до такого понятия – красота. Только у нас на Земле человек <…> выкопает в лесу несколько цветочков и притащит их домой, и ходит за ними, как за малыми детьми, ради ихней красоты… а до той минуты Цветы и сами не знали, что они красивые <…>. Это вроде как женщина – и мила, и хороша, а только покуда ей кто-нибудь не сказал, – мол, какая же ты красавица! – ей и невдомёк» [Саймак 1992: 227].

В оценке собственной внешности людям зачастую присуща некая невинная гиперболизация – особенно молодым.

Ср. известное: «Дама тоже посмотрела на Ромашова и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и <…> подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого офицера». Но когда <…> Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы ещё раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и её спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов с поразительной ясностью и как

будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно <…> от нестерпимого стыда» [Куприн 1953, 2: 168].

Подобно Ромашову, и тщедушный мальчик из некогда популярной детской книги в собственном воображении – «высокий и стройный» [Кассиль 1977: 374; 451; 456] – в соответствии со знакомыми ему штампами романтической беллетристики.

Иногда, впрочем, при оценке своей внешности её обладатель вполне обходится и без влияния литературных стереотипов. «Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку – крысиный хвостик и подумала с гордой радостью: «Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! И через три года мне шестнадцать лет, и я смогу выйти замуж!» [Тэффи 1991 е: 49].

Или ср. суждение обобщающего характера: «…Я <…> не очень её разглядывал, ведь в конце концов все барышни метят в красавицы» [Набоков 1990, 3: 176] (и здесь, вероятно, присутствует нечто вроде механизма самообороны, поскольку «некрасивым девушкам очень плохо приходится» [Сэлинджер 1975: 738]).

Конечно, подобная самооценка, при наличии некоторых обстоятельств, может возникать не только у юных девиц. На танцевальном вечере, устроенном по случаю пребывания кавалерийского полка в уездном городишке, жена одного из местных чиновников, «маленькая брюнетка лет тридцати, длинноносая, с острым подбородком, напудренная и затянутая, танцевала без передышки, до упаду. Танцы утомили её, но изнемогала она телом, а не душой… Вся её фигура выражала восторг и наслаждение. Грудь её волновалась, на щеках играли красные пятнышки, все движения были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспоминала своё прошлое <…>, когда она танцевала в институте и мечтала о роскошной весёлой жизни и когда была уверена, что у неё будет мужем непременно барон или князь» [Чехов 1955, 4: 353–354].

Вот совсем иной персонаж – Зоя Монроз, успевшая пройти, прежде чем достичь материального комфорта, весьма тернистый жизненный путь, оказывается на палубе роскошной яхты. «Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. <…>

“Я молода, молода, – т а к к а з а л о с ь е й <…>, – я красива, я добра”» [Толстой 1986: 283].

С другой стороны, наряду с примерами подобной автосуггестии, не раз отмечалась и способность прекрасного пола к манипулятивным операциям посредством интенсивной эманации некоей будто бы необъяснимой притягательности. Например: «Эр Во-Биа изучала таинственность. Она как бы стояла на черте, за которой лежала запретная область. Тысячелетиями эта женская тайна обещала гораздо больше, чем давала, и всё же оставалась привлекательной даже для испытанных людей» [Ефремов 1989, 5-2: 279]. Ср. близкие к этой теме суждения лингвиста: «Древняя форма *обаятельная* последовательно расширяется за счёт равнозначных слов *очаровательная* (от *чары, чародей*) и *обворожительная* (от *ворожить* ‘колдовать’) <…>. Обаятельная заколдовывает вас словом (*баяти, баян*), очаровательная чарует внешним видом, обворожительная делом, манерами, жестами» [Колесов 2004: 74]. Иными словами, арсенал женского магнетизма весьма многообразен.

Впрочем, иногда этот полумистический феномен объясняется довольно прагматично: «Загадочность и таинственность женской улыбки в том, что женщина, улыбаясь улыбкой Джоконды, просто ещё не назначила себе цену <…>. Загадка в том, что ни она, ни мадонна ещё не знают, сколько она назначит. Я не о деньгах или духах, цветах или билетах в кино сейчас, конечно, говорю. Я говорю про кусок сердца и жизни, который она потребует, и не только потребует, а наверняка возьмёт у своего несчастного избранника» [Конецкий 1972: 74-75].

Вероятно, наиболее популярными традиционно являются удачные перевоплощения посредством всего лишь смены одежды – иногда, впрочем, результат оказывается для индивидуума неожиданным и вряд ли желанным.

Так, «Швейку стало любопытно, пойдёт ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой. Он быстро надел форму <…>. Швейку захотелось как следует посмотреть на своё отражение в воде <…>… Его <…> нашёл патруль полевой жандармерии [то есть той же австро-венгерской], разыскивавший русского беглеца. Жандармы были венгры, и <…> его зачислили в транспорт пленных русских» [Гашек 1956: 655]. И вот: «Когда он хотел самым

подробным образом всё объяснить <…>, солдат-мадьяр ударил его прикладом по плечу <…>. Такое обращение с пленными русскими <…> было в порядке вещей» [Гашек 1956: 659], и Швейку пришлось на своём опыте убедиться в справедливости любимого присловья его старшего товарища: «Плохо, брат, ты мадьяров знаешь» [Гашек 1956: 371 и др.].

В некоторых случаях склонность к чуть ли не маскарадному переодеванию того или иного исторического персонажа принято объяснять какими-то специфическими чертами его характера.

Так, «чаще всего для Ивана Грозного было характерно притворное самоуничижение, иногда связанное с лицедейством и переодеванием <…>. Когда в 1571 г. крымские гонцы, прибывшие к Грозному после разгрома его войск под Москвой, потребовали у него дань, Грозный «нарядился в сермягу, бусырь да в шубу боранью <…> и послом отказал: «Видишь же меня, в чем я? Так-де меня царь (крымский хан) зделал! Все де мое царство выпленил и казну пожег, дати мне нечево царю!».

В другой раз, издеваясь над литовскими послами, царь надел литовскую шапку на своего шута и велел по-литовски преклонить колено. Когда шут не сумел это сделать, Грозный сам преклонил колено и воскликнул: «Гойда, гойда!» [Лихачев 1979: 188].

Однако не менее правомерными представляются и несколько иные объяснения подобного поведения.

Например, в одном из известнейших политтехнологических трактатов говорится о том, что государю «надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить» [Макиавелли 1993: 291].

Иными словами, любой правитель постоянно вводит своих подданных в заблуждение, обманывая их и лицемеря, – у Ивана Грозного же эта необходимая для всех властителей особенность лишь принимала такие индивидуальные формы, с одной стороны – довольно примитивные, но при этом наглядные, с другой – демонстрировала безграничные возможности государя в осуществлении его прихотей.

Напротив, отсутствие возможности разнообразить одежду может вызывать не самые приятные ощущения.

Небезынтересна в гендерно-ментальном отношении черта невербального поведения, тонко подмеченная В. В. Набоковым и мысленно выраженная (или, точнее, может быть, прочувствованная) его героиней-рассказчицей, которая соглашается встретиться с бывшей женой персонажа по его просьбе: «Я как-то очень долго поднималась по лестнице, и меня почему-то страшно мучила мысль, что последний раз, когда мы с нею виделись, я была в той же шляпе и с той же черной лисой на плече» [Набоков 1990, 2в: 424]. По-видимому, повествовательница испытывает душевный дискомфорт и потому, что таким образом обнаруживается скудость её эмигрантского гардероба, и потому, что она вынуждена демонстрировать это обстоятельство совершенно несимпатичной ей даме (она оказалась – с точки зрения рассказчицы – «дрянной, взбалмошной дурой» с «коровьей красотой» [Набоков 1990, 2в: 421]), и, наконец, потому, что рассказчица рассчитывала связать свою дальнейшую судьбу именно с бывшим мужем этой дамы [Там же].

Заметим, что во многих случаях изощрения женской моды способны вызывать недоумение – прежде всего с точки зрения степени их функциональности.

Так, герою рассказа А. Т. Аверченко (1910) представляется некий «хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам. Цель <…> – сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно <…>. За образец он <…> берет своё мужское, всё умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошёл бы с ума <…>. Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц» [Аверченко 1985: 105]; так же изобретается маленький кружевной зонтик, который «от дождя протекает, от солнца <…> не спасает, и ручка у него постоянно отваливается; и кофточка, которая застегивается сзади, и пальто, которое совсем не застегивается; прибор для вынимания из глаза соринки, клей для приклеивания на место выпавших волос, аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана» [Аверченко 1985: 105–106].

По мнению повествователя, именно с помощью подобного антуража («внешнего») формируется психотип («внутреннее») «город-

ской женщины». Представительницы этой группы, возникающей в результате влияния как минимум трёх факторов – гендерного, социального, территориального, «так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь»; они «глупые, изломанные, <…> ленивые, бестолковые, лживые» [Аверченко 1985: 107].

Небезынтересно, что спустя продолжительное время и уже в совсем другом государстве – в Советском Союзе 1970 г. – тема «городской женщины» как особой группы, объединённой не только по половому признаку, вновь оказалась в поле внимания писателя.

Персонаж В. Г. Распутина, сельский житель, рассуждая о соотношении понятий «женщина» – «баба» (а заодно уж, конечно, и «мужчина» – «мужик»), говорит, в частности: «…Сильно много в ней женщины стало, от бабы ничего уж не осталось <…>… Там [в городе] я вдоволь насмотрелся на этих женщин <…>… Кругом одни женщины, я уж потом нарочно приглядывался, чтоб хоть одну живую бабу увидать, которая на мясе, а не на пружинах <…>. Их не рожали, их на фабрике делали <…>. И ходят, красуются: вот я какая, поглядите на меня <…>. Для неё в том и состоит цель жизни, чтобы <…> себя показывать <…>. Дело не в том, что женщины или не женщины, а в том, что делать ничего не умеют <…>. Скоро уж рожать и то разучатся. А если война? <…> В той войне нам наполовину бабы помогали победить. А теперь уж и баб-то не остаётся» [Распутин 1986: 462–464].

И второй из цитируемых авторов выдвигает в центр внимания набор неких внешних признаков, то есть наружных черт (выше упоминаются короткие юбки*, пышные причёски, макияж и манеры поведения в социуме); по-видимому, «внешнее» и «внутреннее» здесь оказываются взаимно обусловленными: модус поступков, до кинетики включительно, складывается в результате действия аксиологических установок, предположительно доминантных для членов группы, а поведенческие черты открыто манифестируют эти установки.

* «… Она смахивала на хмурую панельную сверхсрочницу <…>. Из-под короткой кожаной юбки смело высовывались незначительные конечности <…>. Впрочем, Алла Пугачева давно уже приучила нацию к тому, что любые, даже самые неудачные дамские ноги достойны публичного обнажения» [Поляков 2010: 293].

Даже самая обычная одежда, не являющаяся официально установленной формой какого-либо ведомства, может свидетельствовать о принадлежности её носителя к некоей организации или сообществу, группирующемуся на основе приблизительного идейно-культурного единства, образа поведения и т. п. признаков, внешне выражающихся прежде всего в манере одеваться.

Иллюстрация к первому варианту экстерьера – мечта юного персонажа некогда популярной детской повести (время действия – 1921 г.) о кожаной куртке – чтобы «на настоящего комсомольца походить» [Рыбаков 1986: 221], то есть – идеологически «своего».

Яркие примеры второй модели – это вкусы в одежде некоторых молодёжных групп: битников, хиппи, панков. Небезынтересно, что, зародившись на Западе, все они исконно были антибуржуазными течениями (впрочем, довольно скоро коммерциализованными). А в СССР, как ни парадоксально, но ожидаемо, все они изначально были антисоветскими, поскольку наиболее осмысленные их сторонники мечтали получить хотя бы частичку той безграничной свободы, которая, как им казалось, царит на том же самом вожделенном Западе. Наиболее простым путём к этой свободе представлялась манера одеваться, как «там», а также особые жаргоны или полужаргоны (см. [Васильев 2017: 101–107]). Таким образом, стиляги, хиппи и панки стремились создавать сообщества «своих», противопоставленные макросоциуму «чужих».

Соблюдение требований моды как своеобразной нормы выступает в качестве социально значимого элемента публичного поведения. Соответствующим оказывается и отношение окружающих к тем, кто не может позволить себе постоянное следование модным веяниям. Например: «… Этот чертов Хаас [директор частной школы] ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали <…>. Но не со всеми он одинаково здоровался – у некоторых ребят родители были попроще, победнее <…>. Если у кого <…> отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нём старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался …» [Сэлинджер 1979: 674-675].

Надо заметить, что вообще мода возникает, существует и меняется вовсе не стихийно, но всегда оказывается плодом чьих-то усилий, направленных на получение финансовых доходов. Ср.: «Если

перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря – одни за стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит ещё, что перед вами бескорыстные эстеты. Нет. За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижек сократившие производство, за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привлекли к парикмахерам целое второе стригущееся человечество» [Маяковский 1979: 637-638]. Понятно, что и междоусобная борьба «домов высокой моды» – это совсем не академичное состязание за право создать некий высший эстетический эталон, а жесткая конкурентная схватка за вполне материальную прибыль.

2. Что есть красота?*

> Она прекрасна, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая дева <…> носит в себе столько тайн! Это бутыль с неизвестного рода жидкостью – выпил бы, да боишься: а вдруг яд?
>
> А. П. Чехов

Чрезвычайна широта диапазона суждений по поводу эстетических и этических феноменов; сами подходы к рубрикации протяжённой аксиологической шкалы весьма вариативны, а по большей части ещё и субъективны. Давно замечено: «Расхождения [в значениях слов] особенно заметны в отношении вкусов и этических оценок. Невозможно свести к единому, общезначимому и неоспоримому понятию всё то, что отдельные лица подразумевают под красивым и безобразным, под хорошим и плохим, под добродетелью и пороком» [Пауль 1960: 126] (что, собственно, нередко порождает спекулятивный релятивизм, вроде: «И кто размозжит голову за ребёнка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо <…>. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо» [Достоевский 1957, 7: 252], или будто бы безбрежную и отрицающую естественные человеческие чувства толерантность, или исключающий какие бы то ни было ценности постмодернизм, или полулатентный российский радикальный социал-дарвинизм – все эти якобы объективно существующие крайности

* Н.А.Заболоцкий, «Некрасивая девочка».

в конце концов смыкаются, не давая ни индивидууму, ни социуму малейшей возможности выйти за пределы круга вредоносных заблуждений).

Л. Н. Толстой, изучивший множество исследований, посвящённых этой проблематике, суммировал известные ему суждения следующим образом: «…Все эстетические определения красоты сводятся к двум основным воззрениям: первое – то, что красота есть нечто существующее само по себе, одно из проявлений абсолютно совершенного – идеи, духа, воли, бога, и другое – то, что красота есть известного рода получаемое нами удовольствие, не имеющее цели личной выгоды» [Толстой 1983, XV: 71].

Известны и другие точки зрения по этому поводу.

Так, И. А. Ефремов, популярный советский писатель, первоначально – успешный геолог и палеонтолог, в одном из произведений предлагал концепцию сущности красоты, основанную прежде всего на представлениях о реализации физических возможностей человека. Эту концепцию неоднократно излагает и обосновывает один из главных героев книги, врач-психофизиолог Гирин, несомненно во многом близкий автору.

Согласно данной концепции (впрочем, как можно заметить, не вполне оригинальной, но ведь и цитируемая книга – не строго научный труд, а, по формулировке самого писателя, – «роман приключений»), «красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме. А восприятие красоты нельзя никак иначе себе представить, как инстинктивное <…>, закрепившееся в подсознательной памяти человека <…>. Нетрудно, зная материальную диалектику, увидеть, что красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей» [Ефремов 1988, 4: 66–67].

В оценке степени привлекательности объекта, то есть его красоты, велика роль сексуально обусловленных факторов: «…Использовав чувство формы [зрительно воспринимаемой] для влечения полов, природа необходимо должна была обеспечить автоматическую правильность выбора, закодировав в форме, красках, звуках и запахах восприятие наиболее совершенного. Тогда предок человека <…> стал правильно выбирать лучших жён или мужей» [Ефремов 1988, 4: 105].

В самом общем виде красота человека постулируется как наружный показатель его физического здоровья: «Каковы общие отправные точки нашего заключения: человек этот красив? Блестящая, гладкая и плотная кожа, густые волосы, ясные, чистые глаза, яркие губы. Но ведь это прямые показатели общего здоровья, хорошего обмена веществ, отличной жизнедеятельности. Красива прямая осанка, распрямленные плечи, внимательный взгляд, высокая посадка головы <…>. Это признаки активности, энергии, хорошо развитого и находящегося в постоянном действии или тренировке тела…» [Ефремов 1988, 4: 107].

В набор таких внешних признаков входят большие и широко расставленные глаза – показатели остроты и стереоскопичности зрения; ровные, плотно посаженные зубы, необходимые при разгрызании пищи; глаз лучше защищают длинные ресницы, которые, будучи загнутыми кверху, не дают им слипаться или смерзаться; привлекательные мягкие линии женского тела – следствие развитого жирового слоя, то есть месячного запаса пищи на случай внезапного голода, когда женщина вынашивает или кормит ребёнка; широкие женские бёдра – залог успешного деторождения; предназначение густых бровей – защита глаз от едкого пота, стекающего со лба; длинные волосы женщины дают возможность обезопасить младенца от ночного холода и непогоды, и проч. [Ефремов 1988, 4: 118].

Даже некоторые модные изыски автор считает запрограммированными в представлениях о красоте как целесообразности; так, высокие дамские каблуки не просто зрительно удлиняют ногу, но изменяют её пропорции: голень кажется длиннее, чем бедро, а такое соотношение – показатель приспособленности к лёгкому и долгому бегу, необходимому для успешной охоты [Ефремов 1988, 4: 116].

Вероятно, в целях некоторой компенсации писатель упоминает и о привлекательности людей, не обладающих выигрышной внешностью, но, однако, отличающихся тем, что «называется в разных случаях очарованием, обаятельностью, «шармом», того, что может быть (и чаще бывает) сколько угодно у некрасивых. Это хорошая душа, добрая и здоровая психика, просвечивающая сквозь некрасивое лицо» [Ефремов 1988, 4: 100].

В этом романе автор не касается темы соотношения внешнего облика человека и его внутренней сущности, говоря преимущественно о

необходимости воспитания упомянутой «здоровой психики» (например, [Ефремов 1988, 4: 586–587]). Впрочем, тема всестороннего совершенства людей прекрасного будущего затрагивается в других его произведениях – «Туманность Андромеды» и особенно – «Час Быка».

Бесспорно, «желание нравиться есть стихия всех женщин во вселенной, просвещенных и диких» [Шаликов 1803: 184].

Способы совершенствования внешней привлекательности технически менялись со временем, но типологически были довольно константны.

Несомненно, в Средневековье многие (если не все) эстетические стандарты и возникали, и поддерживались благодаря авторитету религии (впрочем, иногда – и вопреки ему).

Так, в «Книге толкований» Аввакум осуждает современных ему женщин, в общем-то совершенно естественно (в силу «гендерной специфики») стремящихся достичь внешней привлекательности, с помощью библейских параллелей: «А прелюбодейца белилами, румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряноносна, поклоны ниски, словеса гладки, вопросы тихи, ответы мяхки, приветы сладки, взгляды благочинны, шествие по пути изрядно, рубаха белая, ризы красныя, сапоги сафьянныя. Как быть хороша – вторая египтяныня, Петефрийна жена, или Самсонова Диалида блядь. Посмотри-тко, дурка, на душю свою, какова она красна» [Аввакум 1979а: 120].

В. В. Колесов, комментируя этот обличительный пассаж «неистового протопопа», «в текстах которого нет ничего случайного» [Колесов 2001, 2: 176], замечает, что «жена-прелюбодейка» (возможно, попросту «страстная женщина», по предположению цитируемого автора), пользуясь тогдашней доступной ей косметикой – белилами, румянами, сурьмой, соблюдает традиционную раскраску: чёрно-бело-красное, а её «уста багряноносна» в соответствии с усилением цветовой гаммы до символа [Там же].

Приблизительно о той же цветовой гамме сообщает В. О. Ключевский; правда, в его историческом примере говорится вовсе не о религиозно ориентированных установлениях, но, скорее, об утвердившихся социокультурных стандартах (а может быть, и о некоторых гендерных стереотипах – не самых симпатичных, но очевидно прочных, хотя и претерпевших со временем определённые изменения).

«В старые времена, при других понятиях и нравах, …своеобычность была менее удобна и, во-первых, не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми – таково было общее правило. Известно, что в Древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одарённых поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных… …Одна красивая молодая боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на неё: «Она осрамить нас вздумала: я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и через мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и ты, подобно нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии […]». [Ключевский 1990, IX: 114].

Некоторые эстетические воззрения – например, по поводу стандартов женской красоты – способны сохранять актуальность на протяжении длительного времени.

Так, по свидетельству историка, «русские боярыни заботились об увеличении массивности и дородности своего тела. Они нередко пили особого рода водку, чтобы только растолстеть и тем привлекать на себя внимание мужчин» [Жмакин 1880: 42], то есть «любве ради мужня се творятъ» [Жмакин 1880: 61] (разумеется, сказанное относится лишь к представительницам высшей социальной страты; о низших известно, конечно же, очень мало).

Сказочный персонаж, командированный взбалмошным государем в экспедицию с целью поимки знаменитой красавицы, увидев её, комментирует прославленную внешность следующим образом:

«Хм! так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, –
Рассуждает стремянной, –
Что куда красна собой
Царь-девица – так, что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то, и тонка,

Чай, в обхват-то три вершка*;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму»
[Ершов 1951: 107].

Ср. во многом подобную оценку с точки зрения совсем иного персонажа: «Страшно она [жена «немаловажного лица»] нам [староверам-иконописцам] не понравилась, и бог знает почему: вид у неё был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая <…> этакая, цыбастая [тонконогая], как сойга [сайгак], и бровеносная <…>. У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, нынешнего легкомыслия соответственнее <…>. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепеньких <…>. Змеевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой <…>, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается <…>. У наших носики не горбылем, а всё будто пипочкой, но этакая пипочка <…> в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были покрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее <…>. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность» [Лесков 1981б: 136–137]. Рассказчик подытоживает общее мнение своих коллег о «барыньке»: «Какая, мол, она добрая, когда у неё добра в обличье нет» [Лесков 1981б: 137], то есть внешность дамы вполне позволяет наблюдателю оценить её личные качества.

По-видимому, стандарты красоты далеко не всегда сводились к пресловутым 90-60-90, по крайней мере, не для всех социальных слоёв: мужчины низших страт предпочитали женщин, заведомо пригодных к ведению хозяйства, успешному деторождению и притом доброжелательных.

* Вершок – «русская мера длины, равная 4,4 см, применявшаяся до введения метрической системы» [МАС$_2$ 1981, 1: 155].

В каком-то отношении такая оценка женской привлекательности была довольно стабильной. Вот описание внешности героини рассказа 1925 г.: «… В то утро она была очень хороша. Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигурка. Всё это было в ней необыкновенно привлекательно. В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству» [Зощенко 1986, 2б: 113].

Сто́ит отметить, что цитируемый автор далее подводит под предпочитаемый стандарт нечто вроде идеологического базиса, будто бы с классовых позиций противопоставляя *своё – чужому*.

«Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать – измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору <…>. Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная <…>. Автор многим восхищён в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остаётся при своём национальном мнении» [Зощенко 1986, 2б: 113–114] (хотя приходится допускать здесь и некий оттенок тонкой иронии, характерной для М. М. Зощенко).

3. Идейно-теоретические основы парикмахерских операций

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
М. В. Ломоносов

Воздав хотя бы частицу должного женской красоте, перейдём к некоторым характерным особенностям мужской внешности.

Конечно, здесь на первое место следует поставить бороду – не только потому, что до наступления торжества извращенцев борода выступала как наиболее заметный физиологический признак так называемого сильного пола: на материале ряда моментов отечественной истории можно наблюдать, как борода обретала символическую роль; ношение бороды или, напротив, отказ от него (если, разуме-

ется, это было добровольным шагом носителя) представляли собой нечто вроде нагляднейшего социокультурного знака, позволявшего судить не только об общественном статусе индивидуума, но и о религиозных, идеологических, политических воззрениях человека.

«Самое первое украшение древнерусского человека-мужчины составляла борода. Она имела большое значение в жизни в Древней Руси. <…> Борода – признак отчуждения от латинства, существенный признак всякого православного <…>; бритье бороды – дело неправославное, еретическая выдумка <…>. Против бритья бороды были и православные предания, и народный обычай. По понятиям того времени, русский человек, сбривший себе бороду, становился не только неправославным, но и нерусским <…>. Борода – «честнообразное украшение человека» [Жмакин 1880: 57].

Но уже в первой половине XVI в. в царствование Василия Ивановича под влиянием Запада началось было более или менее массовое брадобритие – и пример подал сам великий князь; против этого нововведения (конечно, вовсе не из эстетических, а религиозных побуждений) активно выступал Максим Грек и другие публицисты того времени [Жмакин 1880: 58].

Выдающиеся русские историки неоднократно обращали внимание на высокое символическое значение бороды для наших предков. Подробный анализ вызванных им событий находим у С. М. Соловьёва, исходившего из верной посылки: «Человек прежде всего в своей наружности, в одежде и уборке волос старается выразить состояние своего духа, свои чувства, свои взгляды и стремления» [Соловьёв 1991, 7: 549].

Цитируемый автор склонен объяснять зарождение тенденции к брадобритию среди русских стремлением копировать зарубежные образцы оформления собственного лица – видимо, как самую легкодоступную возможность уподобиться эталону; таким образом, экзогенная модель (правда, не раскрывается, почему именно) оказывается приоритетным объектом для копирования в глазах малоцивилизованных эпигонов: «Как только признано превосходство иностранца, обязанность [!] учиться у него, так сейчас же начинается подражание, которое естественно и необходимо начинается со внешнего, с одежды, с убранства волос…» [Там же] (то же, уже окончательно и бесповоротно утвердившееся преклонение пе-

ред «цивилизованными странами», особенно Францией, с течением времени обнаружится во всей полноте у русских дворян-щеголей).

Впрочем, С .М. Соловьёв, естественно, упоминает и об идеологической составляющей описываемых процессов, говоря, что «уже при Борисе Годунове <…> начинается между русскими подражание иностранцам в наружности, начинается бритье бород, и тут же начинаются против этого сильные выходки хранителей старины. При царе Алексее Михайловиче с усилением движения к Западу усиливается и брадобритие <…>. Ревнители отеческих преданий употребили все свои усилия, чтобы искоренить «еллинские, блудническиe, гнусные обычаи» [Там же].

По всей вероятности, противостояние «традиционалистов» и «прогрессистов» в немалой степени имело своим главным истоком материальные интересы каждой из групп (у́же – их предводителей): первые хорошо понимали, что усиление в обществе симпатий к Западу, начиная с имитации внешнего облика «еретиков»*, может ослабить монополию православной церкви, подчинявшую своей власти все области социальной жизни, следовательно, и существенно снизить уровень доходов этой могучей и могущественной организации; вторым же чрезвычайно важно было избавиться от жесткого контроля идеологических инструкторов, чтобы реализовать собственные устремления, в том числе – и путём контактов с потенциальными зарубежными партнёрами.

Тем временем, конфликт всё более усиливается, причём трудно не заметить, что позиции противников брадобрития были более серьёзно обоснованными в идейном отношении (чего стоили одни только грозные перспективы Страшного суда!), глубоко традиционными и потому имевшими несомненное сочувствие в широких массах.

Поэтому Пётр I, как обычно, прибег к «непопулярным» (по сегодняшнему изящному определению), то есть к радикально жестоким мерам, как и во многих аналогичных ситуациях; ср. известное высказывание, полностью звучащее так: «Пётр I не страшился народной свобо-

* Нечто вроде таких процессов гораздо позднée и в совсем других социально-политических условиях было отражено в ироническом двустишии: «Сегодня он играет джаз, / А завтра родину продаст» (цит. по [Душенко 2006: 565]); увы, информационно-психологическая война поначалу выступает как будто в малосерьёзных формах, но имеет весьма значимые результаты.

ды, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон» (с примечанием автора: «История представляет около его всеобщее рабство <…> … Все состояния, окованные без разбора, были равны перед его *дубинкою*. Всё дрожало, всё безмолвно повиновалось» [Пушкин 1978, 8: 90]). Вероятно, доведённый до крайнего раздражения сопротивлением приверженцев старины, государь самолично приступил к насильственному брадобритию приближенных – и почти одновременно самодержец, не дав оппозиционерам опомниться, «сразил новым ужасом, начавши кровавый розыск против стрельцов, которые осмелились с оружием в руках пойти против немцев, последующих брадобритию» [Соловьёв 1991, 7: 551].

Непреклонность монарха, упорно не желавшего во имя осуществления своих замыслов прислушиваться к увещеваниям отцов церкви, движимых собственными мотивами, привело к возникновению трудноразрешимой коллизии. «Духовенство и в челе его патриарх находились теперь в самом затруднительном положении: они провозглашали, что брадобритие есть богоненавистное дело: оставалось или продолжать высказывать прежнее мнение, т. е. идти против верховной власти, или замолчать; предпочли, разумеется, последнее и навлекли на себя сильные укоры со стороны ревнителей отеческих преданий» [Соловьёв 1991, 7: 561]. Такая позиция православных иерархов, очевидно более, чем наступлением царствия Господня, озабоченных приобретением для себя материальных благ, хорошо известна и из позднейших периодов отечественной истории.

«…Все [внутренние противники Петра I] выступали против нововведений <…>. Отсюда враждебное отношение Петра к отечественной старине, к народному быту, тенденциозное гонение некоторых наружных его особенностей, выражавших эти понятия и предрассудки <…>» [Ключевский 1989, IV: 199].

В то же время «политические и церковные староверы» «в борьбе выставляли знаменем некоторые наружные особенности, отличавшие древнерусского человека от западного европейца, – бороду, покрой платья и т. п.» [Ключевский 1989, IV: 199] (подробнее об одежде того времени см. далее).

«Став на сторону нововведений, Пётр горячо ополчился против этих мелочей, которыми прикрывались дорогие для русского чело-

века предания старины <…>. Притом он хотел обрить и одеть своих подданных по-иноземному, чтобы облегчить им сближение с иноземцами» [Ключевский 1989, IV: 100].

Вполне естественно, что самодержец счёл целесообразным (в качестве некоего фундамента) использовать для достижения своих целей и юридические установления, подкреплявшие правоту его действий. Конечно, эти декоративные меры имели некий мрачно-комический оттенок: вся мощь государства направлялась на успехи в брадобритии и внедрении чужеземной одежды, причём неподчинение нововведениям сурово каралось. «Всё это было бы смешно, если бы не было безобразно. Впервые русское законодательство, изменяя своему серьёзному тону, низошло до столь низменных предметов, вмешалось в ведомство парикмахера и портного. Сколько раздражения потрачено было на эти прихоти и сколько вражды, значит, помехи делу реформы породили в обществе эти законодательные ненужности!» [Ключевский 1989, IV: 200].

Вряд ли сто́ит что-либо добавлять (да это и вовсе излишне) к тем оценкам, которые великий русский историк давал реформаторским инициативам Петра I и которые в общем сводятся к тому, что полезные (в целом для страны) преобразования осуществлялись не лучшим образом, не были во многих случаях доведены до логического завершения и у великого зачинателя «славных дел» не оказалось сколько-нибудь достойных продолжателей: «птенцы гнезда Петрова» были чрезвычайно своекорыстны, и причастность к управлению государством была для них прежде всего удачной возможностью личного обогащения.

Однако можно заметить, что, с точки зрения семиотики, противоборство в отношении сохранения бород либо его отмены было несомненным противостоянием сакральных, то есть традиционно принятых ценностей, и профанных, то есть нововводимых установок.

В некоторые периоды отечественной истории причёски приобретают особую значимость. Конечно, это связано не столько с эстетическими оценками, сколько с тем, что определенные типы причесок могли символизировать (либо имитировать) некие идейно-политические предпочтения их носителей.

Так, Владимир Ленский

«…из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч»
[Пушкин 1978, V: 33].

Понятно, что включение в ряд зарубежных духовных приобретений «кудрей до плеч» делает оценку романтизма этого персонажа явно иронической.

По прошествии немногих десятилетий на общественной арене появляются новые силы, для представителей которых ношение длинных волос становится демонстративным проявлением совсем иного образа мыслей. Герой-повествователь в «Убежище Монрепо» передает отношение к ним официозных кругов, приравнивавших «длинноволосых» к уголовным преступникам: «Бывали, правда, и в то время казнокрады, вымогатели, взяточники; бывали даже люди, позволявшие себе носить волосы более длинные, чем нужно <…>. Ты казнокрад – шествуй в Сибирь; ты отрастил гриву – садись на гауптвахту» [Салтыков-Щедрин 1976: 379].

Тогда же и короткая стрижка у женщин становится зримой приметой принадлежности к лагерю «передовой общественности»:

«В третий входит он дом, и объял его страх:
Видит, в длинной палате вонючей
Все острижены* вкруг, в сюртуках и в очках,
Собралися красавицы кучей.
Про какие-то женские споря права,
Совершают они, засуча рукава,
Пресловутое *общее дело***:
Потрошат чьё-то мертвое тело».
[Толстой 1981, 1: 192].

Позднейший комментатор вышеприведенной цитаты из М. Е. Салтыкова-Щедрина указывает, что в словах «позволявшие

* Возможно, что одним из стимулов (хотя бы и вторичных), активизировавших преображение прогрессивных барышень, послужила несомненно оскорбительная и для последующих феминисток пословица: «Волос долог, да ум короток» [Даль 1955, 1: 235]. Тем более, что необходимую парикмахерскую операцию можно произвести сравнительно быстро…

** *«Общее дело*. – В публицистике и разговорном языке 60-х гг. [XIX в.] эти слова нередко обозначали революцию» [Ямпольский 1981: 553]. – Ср. лат. res publica.

себе носить волосы более длинные, чем нужно» содержится «ирония по адресу гонителей “нигилистов”, раздраженно реагировавших на такие внешние приметы разночинцев-демократов, как костюм, манера держаться, стрижка волос и т. п. «Длинноволосый», «нестриженый» или, напротив, «стриженая» в лексиконе реакционеров и обывателей служили прямым обозначением «нигилиста» и «нигилистки» [Мысляков 1976: 607].

Можно заметить, что ношение мужчинами длинных волос и десятилетия спустя оставалось стабильным признаком неблагонадежности, то есть неприятия официальных установок.

Для чеховского цирульника Михайлы (вероятно, как и для многих других его сограждан) совершенно несомненным является прочное единство внешнего облика человека – и его образа мыслей, причём, на первый взгляд, это вполне оправданно.

Комментируя крамольную, по его мнению, реплику одного из посетителей бани, «тощего человека» с «длинными волосами», Михайло говорит: «Из энтих… из длинноволосых! <…> С идеями <…>… Ишь патлы распустил, шкилет! Всякий христианский разговор ему противен <…>, как нечистому ладан» [Чехов 1955, 3а: 214] и, уже обращаясь к случайному оппоненту, заявляет: «Ну, уж это вы что-то тово, сударь <…>. Что-то умственное… Недаром на вас и волосья такие» [Чехов 1955, 3а: 215] и пытается послать за полицией, чтобы урезонить «длинноволосого», который «с идеями» и «народ смущает» [Там же]. Однако выясняется, что заподозренный в нелояльности – дьякон, у которого Михайло униженно просит прощения [Чехов 1955, 3а: 215–216].

Гораздо позднéе, в 1960-е–1970-е гг. в Советский Союз с Запада (как обычно) вместе с веяниями массовой культуры пришла мода на длинные волосы у мужчин (преимущественно молодых). Эта мода была порождена движением «хиппи», в истоках своих антибуржуазным, но быстро включенным в коммерческую сферу. Советские эпигоны хиппизма были гораздо менее политизированными (буржуазии как таковой в Стране Советов, естественно, не было), но тщательно соблюдали импортный эталонный экстерьер, почему и принимались подчас с открытой неприязнью согражданами, считавшими прически многих юношей признаком обыкновенной неряшливости, но возможно также – и зримым свидетельством некой «чуждости».

4. Маска – суррогат лица

Из-под таинственной, холодной полумаски
Звучал мне голос твой, отрадный, как мечта…
…И создал я тогда в моём воображенье
По лёгким признакам красавицу мою …
М. Ю. Лермонтов

Маска – культурный феномен высокой функциональной значимости. В нём буквально может обнаружиться искомая связь между внутренним и внешним, между глубинной сущностью человека и его внешностью. С другой стороны, маска способствует успеху имитации кем-либо кого-либо в глазах окружающих, или, по крайней мере, призвана надёжно скрыть подлинное лицо её обладателя от стороннего наблюдения в целях обеспечения желаемого результата неких замыслов.

«Современный человек несомненно обладает развитыми способностями к пониманию далёкого и чужого. Ничто не оказывается при этом более кстати, чем его восприимчивость ко всему, что является маской и переодеванием <…>. Даже для образованного взрослого человека в маске всегда остаётся что-то таинственное. Вид человека в маске уводит нас, даже на уровне чисто эстетического восприятия, с которым не связаны сколько-нибудь определённые религиозные представления, из непосредственно окружающей нас «обыденной жизни» в иной мир, нежели мир дня и света» [Хёйзинга 1997: 44–45].

Согласно одному из лексикографических определений, *маска* – «накладка, скрывающая лицо (иногда с изображением звериной морды или птичьей головы) или накладная повязка на верхнюю часть лица с вырезами для глаз» [Черных 1993, 1: 512] (здесь же отмечено, что слово восходит к франц. – с XVI в. – masque).

В Сл. Даля *маска* – «франц. личина, в прям. и переносн. знач. ʻнакладная рожа, для потехи // притворство, двоедушие // окрутник, ряженый, переряженый, переодетый’» [Даль 1955, II: 302]; здесь *личи́на* – ʻнакладная рожа, харя, маска // *ложный, притворный вид, лукавое притворство’ [Даль 1955, II: 259].

Позднейший словарь также фиксирует полисемию слова: «*маска* – 1) специальная накладка с изображением человеческого лица, звериной морды и т. п., надеваемая на лицо человека // накладка на

верхнюю часть лица с отверстиями для глаз, надеваемая для того, чтобы не быть узнанным // человек в такой накладке и в маскарадном костюме; 2) перен. ʻпритворство, скрывающее истинную сущность кого-, чего-л.ʼ» и др. [МАС$_2$ 1982, 2: 231]. В этом словаре «*личина* – 1) устар. ʻмаскаʼ; 2) ʻнапускные манеры, внешний вид, посредством которых скрывается истинная сущность кого-, чего-л.ʼ» и др. [МАС$_2$ 1982, 2: 192].

По мнению В. В. Колесова, восприятие (и употребление) слов с корнем *лик* в русском сознании ментально ориентированы. «Усложнение представлений о человеке вызывало всё новые формы слов, образованные от исходного корня-символа *лик*. Лик понимается как идеальный прообраз: его реальный *об-лик* – это уже не *лик*, а *лицо* (важное лицо начальника, знакомое лицо друга), но если вдруг по какой-то причине примет лицо несвойственное ему *об-лич-ие*, тогда возникает *лич-ина*, т. е. фальшивый образ лица и искаженный лик, разрушающий внешнее обличие и внутренний лик – кого?.. ну конечно же, *личности*» [Колесов 2004в: 98]. Иначе говоря, *маска* как *личина* выступает символом взаимной связи зримого внешнего и мыслимого внутреннего, причем подмена *лица* маской-личиной способна деформировать представление о плане содержания.

Перефразируя широко известную поэтическую формулировку, ряд изменений лица (пусть далеко и не всегда милого) действительно может оказаться волшебным, магически меняя представления наблюдателя об истинной природе объекта.

Так, «старый есаул вынес две иконы благословить молодых <…>… Вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего среди их козака <…>… Уже он протанцовал на славу козачка и уже успел насмешить обступавшую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг всё лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зелёные очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик <…>. “Колдун показался снова!” – кричали матери, хватая на руки детей своих» [Гоголь 1952, 1б: 147].

В художественном фильме «Крёстный отец» почтенный старец, мирно возделывая грядки на огороде, вдруг решает позабавить лю-

бимого внука, в шутку напугав его, и, вырезав из апельсиновой кожуры клыки, вставляет их себе в рот. Так – уже перед самой смертью – проявляется хищническая натура дона Вито Корлеоне и правда его характера (в тексте книги этого эпизода нет, однако он оказался очень эффективным с точки зрения сюжета).

В рассказе А. П. Чехова «Маска» описывается, как на бале-маскараде в провинциальном клубе «широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерский костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске» в сопровождении двух «мамзелей» бесцеремонно пытается выставить из клубной читальни местных «интеллигентов» (директора банка, чиновников и проч.), чему они активно сопротивляются. Когда же «буян» сорвал с себя маску, «все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, – любовью к просвещению». «Интеллигенты» морально сломлены и по-лакейски униженно ухаживают за упившимся «благодетелем» [Чехов 1954, 2б: 406–410]. По-видимому, ситуация «неузнавания» гротескно гиперболизирована писателем в целях усиления эффекта развязки.

Использование масок, в совокупности с иными средствами изменения внешности, прежде всего в магически-ритуальных целях, известно уже людям, стоявшим на начальных ступенях цивилизованного развития (см., например, [Фрэзер 1983: 128–129 и др.]).

О подобных языческих действах, предусматривавших в том числе ношение звериных масок, см. [Рыбаков 1988: 664–667].

В античные времена маски сохраняли функциональность в некоторых областях деятельности, причём не только собственно религиозной, но и в сфере театрального искусства.

«Чтобы почтить бога вина, древнейшие певцы и танцоры надевали забавные маски или вымазывали лицо раздавленным виноградом. Каждой роли, каждому драматическому жанру, определённому возрасту, социальному положению и профессии героя соответствовали маски. <…> Некоторые маски персонифицировали даже различные понятия: город, войну, пьянство и т. п.» [Винничук 1988: 370].

Причём закреплённость масок за определенными участниками театрализованных и – у́же – театральных представлений была весь-

ма устойчивой и способствовала возникновению у аудитории стереотипов восприятия происходящего на сцене.

«Античные зрители привыкли к типическим персонажам и легко угадывали по условной маске характер, возраст, положение и профессию действующего лица» [Винничук 1988: 371].

В «карнавальной» концепции М. М. Бахтина применению масок во время народных праздников западноевропейских Средневековья и Возрождения отводится весьма значительное место как одному из ключевых фрагментов структуры, временного варианта бытия, параллельного, а во многом и противопоставленного привычной и устойчивой действительности.

«Ещё более важен мотив маски. Это – сложнейший и многозначнейший мотив народной культуры. Маска связана с радостью смен и перевоплощений, с весёлой относительностью, с весёлым же отрицанием тождества и однозначности, с отрицанием тупого совпадения с самим собой; маска связана с переходами, метаморфозами, нарушениями естественных границ, с осмеянием, с прозвищем (вместо имени); в маске воплощено игровое начало жизни, в основе её лежит совсем особое взаимоотношение действительности и образа, характерное для древнейших обрядово-зрелищных форм. Исчерпать многосложную и многозначную символику маски, конечно, невозможно <…>» [Бахтин 2010: 50].

Как уже было упомянуто выше, православное духовенство считало маски элементом «бесовских игр», то есть проявления симпатий к языческим верованиям (к конкурирующей религии).

Однако, несмотря на церковные поучения и запреты, маски всё же находили применение в самых разных слоях общества, в том числе и высших, зачастую, видимо, искренне считавших себя людьми совсем иного порядка, на которых церковные установления не распространяются; причём такие индивидуумы вовсе не были еретиками, атеистами и т. п.

Так, известно, что Иван IV на протяжении всей жизни отличался сильной набожностью (например, [Соловьёв 1989, 3: 506]). Однако в часы досуга он вовсе не чуждался использования «машкар». «Иоанн, по словам Курбского, призвал [князя] Репнина на пир, желая привязать его к себе; когда всё общество, развеселившись, надело маски и начало плясать, Репнин стал со слезами говорить Иоанну,

что христианскому царю неприлично это делать; Иоанн в ответ надел на него маску, говоря: “Веселись, играй с нами!”. Репнин сорвал маску, растоптал её и сказал: “Чтоб я, боярин, стал так безумствовать и бесчинствовать!”. Иоанн рассердился и прогнал его, а через несколько дней велел убить его в церкви подле алтаря, во время чтения евангельского» [Соловьёв 1989, 3: 523].

Церковь, разумеется, преследовала языческие игры ряженых, которые «бьяху в бубны, друзии же в сопели сопяху, инии же *возложиша на лица скураты* (маски, «хари») и деяху на глумленье человеком. И мнозии оставившие церковь, на позор (зрелище) течаху и нарекоша игры те – русальи » [Пролог XV в.: 253], цит. по [Рыбаков 1988: 665].

Известно, что Лжедмитрий I был весьма привержен многим иностранным обычаям, что касалось прежде всего бытового поведения и развлечений [Соловьёв 1989, IV: 420]. По-видимому, не случайно труп его «лежал на столе в маске, с дудкою и волынкою» [Соловьёв 1989, IV: 442]: здесь выразилось стремление убийц-заговорщиков хотя бы посмертно заклеймить склонность самозванца к чужеземной музыке, столь приятной его слуху, в частности – и к еретической культуре вообще. Другой историк говорит о «непомерной расточительности» самозванца, который «давал иноземным музыкантам жалованье, какого не имели и первые государственные люди* <…>, а народ не любит расточительности в государях, ибо страшится налогов <…>. …Лжедмитрий хотел веселья: музыка, пляска и зернь [игра в кости] были ежедневною забавою двора <…>… Лжедмитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то русским щёголем, то венгерским гусаром! <…> Расстрига вводил скоморохов в обитель тишины и набожности [в девичий монастырь Кремля], как бы ругаясь над святым местом и саном инокинь непорочных <…>. Марина также замышляла особенное увеселение для царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца: думала с своими польками плясать в личинах [масках]» [Карамзин 2010: 893–894; 896; 901; 903; 907]. И нагой труп самозванца «яростная чернь» положила близ лобного места <…> на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке» [Карамзин 2010: 909].

* Это до некоторой степени ассоциируется со свердоходами так называемых «звёзд» современного российского шоу-бизнеса.

Н. М. Карамзин назвал выступление Лжедмитрия у надгробия Ивана IV в Успенском соборе «искусным лицедейством» [Карамзин 2010: 891], а удачи авантюриста объяснял в немалой степени тем, что тот присвоил себе образ законного наследника московского престола: «…Самозванец, под личиною Димитрия, вероятно, мог бы ещё долго безумствовать и злодействовать в венце Мономаховом, если бы сия, как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа…» [Карамзин 2010: 894].

Любопытно, что другой историк, тоже явно не чуждый дара художественного слова, написал: «Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная» [Ключевский 1988, III: 30].

Один из ключевых моментов завязки драмы «Маскарад» (сто́ит ещё раз отметить глубину смысла этого названия, кратко и концентрированно выражающего модус поведения членов светского общества) составляет встреча князя Звездича с замаскированной баронессой Штраль, которой удается добиться вожделенной для неё интимной благосклонности молодого человека – и притом не нанеся ни малейшего ущерба своей безупречной репутации.

О том, что представлял собою «маскерад у Энгельгардта» и его посетители, можно узнать из реплик князя и Арбенина: «[Князь:] Там женщины есть… чудо… И даже там бывают, говорят… [Арбенин:] Пусть говорят, а нам какое дело? Под маской все чины равны, У маски ни души, ни званья нет, – есть тело. И если маскою черты утаены, То маску с чувств снимает смело <…>. [Князь:] Всё маски глупые… [Арбенин:] Да маски глупой нет: Молчит… таинственна, заговорит… так мило. Вы можете придать её словам Улыбку, взор, какие вам угодно… Вот, например, взгляните так – Как выступает благородно Высокая турчанка… как полна! Как дышит грудь её и страстно и свободно! Вы знаете ли, кто она? Быть может, гордая графиня иль княжна, Диана в обществе… Венера в маскераде, И также может быть, что эта же краса К вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы, право, не в накладе» [Лермонтов 1948, 3: 18–20].

Интересно, что в [Сл. Даля] при толковании *маскарадъ* - ʻувеселительное сборище, съезд, род бала, в необычных одеждах и личинах’ [Даль 1955, II: 302] дается и «шуточ. баня, купанье» [Там же] –

то есть как узуальное речение. Между тем, почти одновременно с этим словарём опубликован рассказ Н. С. Лескова «Воительница» (1866), где в качестве примера, характеризующего гиперкорректную речевую манеру героини (довольно отчетливо напоминающую коммуникативный стиль гоголевских дам города N, которые «отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностию и приличием в словах и выражениях» [Гоголь 1952: 150] – впрочем, ведь и лесковскую «нелепую мценскую бабу» «столица волшебно преобразила»), говорится: «…Обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастие вчера быть в бестелесном маскараде» [Лесков 1981: 56], то есть в цитируемом рассказе подобное употребление слова *маскарад* представлено как индивидуальная черта мнимой утонченности выражений героини, дополнительно её характеризующая.

По крайней мере, в начале 1920-х гг. существительное *маска* обретает дополнительный семантический оттенок ʻличина политического врага’. Например, в фельетоне 1923 г.: «Маяковский <…> вырос опять на балкончике <…> и стал объяснять: “Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!!”» [Булгаков, 2м: 297].

Одним из наивысших достижений сегодняшнего официозного маскарада являются помпезные торжества по случаю Дня Победы. По вероятному замыслу их инициаторов, у *простых людей* должно создаться впечатление, что именно за современную россиянскую действительность героически сражались и погибали бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а другие советские граждане подвижнически трудились в тылу. Партией же, которая руководила их действиями, была, несомненно, нынешняя правящая партия…

II. ОДЕЖДА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК

Безпечална мати <…> посмотрила, хорошо ли мое чадо въ драгих портах?
– А въ драгихъ портах чаду и цѣны нѣтъ.

Повесть о Горе-Злочастии

1. Личность / одежда = внутреннее / внешнее

Не всяк монах, на ком клобук.

Пословица

О значимости манеры одеваться, когда одежда человека воспринимается окружающими как неотъемлемая составляющая его личности в целом, рассказывает А. Ф. Лосев в замечательной книге «Диалектика мифа». Он приводит в качестве примера историю о некоем иеромонахе, к которому на исповедь пришла женщина; они продолжали встречаться, и исповедальные разговоры со временем перешли в любовные свидания. Влечение было взаимным, и влюблённые решили вступить в брак. Однако, когда иеромонах, расстригшись, обрив бороду и надев светский костюм, явился к своей будущей жене сообщить об окончательном выходе из монастыря, то она, долго и страстно ожидавшая его, встретила избранника холодно и нерадостно. «На соответствующие вопросы она долго не могла ничего ответить, <…> ответ выяснился в ужасающей для неё самой форме: “Ты мне не нужен в светском виде”. <…> Несчастный иеромонах повесился у ворот своего монастыря. После этого только ненормальный человек может считать, что наш костюм не мифичен и есть только какое-то отвлечённое, идеальное понятие, которое безразлично к тому, осуществляется оно или нет и как осуществляется» [Лосев 1991: 27].

При всей информативности этого интересного примера представляется всё же допустимым добавить кое-что к его интерпретации.

Во-первых, конечно же, речь идёт не столько о самой по себе мифичности костюма как такового, сколько о комплексе понятий, связанных с ним. Здесь особую значимость обретает то, что иеромонах первоначально и неоднократно являлся даме (вероятно, довольно экзальтированной особе) в священническом облачении, которое неразрывно ассоциируется с мысленным образом церкви, её автори-

тетом – и вытекающим отсюда осознанием традиционно высокого статуса церковного деятеля как посредника между паствой и Богом, транслятора и глашатая его предначертаний. Уже тем самым иеромонах выгодно отличался от всех прочих потенциальных претендентов на руку и сердце дамы (возможно, её женское самолюбие было приятно польщено таким поворотом событий).

Во-вторых, отказ иеромонаха от своей привычной наружности явно нанёс ему ущерб в глазах дамы и сделал его конкурентоспособность ничтожной: ведь он теперь стал таким, как «все», то есть остальные возможные женихи, которых (предположительно) в окружении этой женщины было немало.

Таким образом, почти уже́ бывший иеромонах утратил некую особую черту привлекательности для дамы, которая, избрав его предметом своей страсти, тем самым пыталась как-то утвердить собственную оригинальность и незаурядность по сравнению с другими представительницами прекрасного пола, но – увы! – тоже оказалась в положении таких, как «все», то есть женщины с довольно трафаретными матримониальными запросами. Конечно же, это обстоятельство глубоко её опечалило.

В любом случае приведённый А. Ф. Лосевым пример свидетельствует о важности одежды, тем более когда она выполняет функцию социального знака, документирующего статус её обладателя.

Кроме того, цитированный рассказ демонстрирует прочное единство внешнего облика и внутреннего содержания личности: вряд ли одно может полноценно существовать без другого.

Наконец, эта история иллюстрирует и возможность перехода сакрального в профанное, и результаты такого перехода.

Довольно распространены случаи демонстративного следования какой-либо определённой манере в одежде, призванной подчеркнуть приверженность её обладателя декларируемой им творческой концепции или солидарность с представителями некоей группы единомышленников по отношению к искусству, культурным ориентирам и под. Конечно, такую манеру нельзя назвать буквально соблюдением ведомственной формы, однако, подобно последней, и она сигнализирует окружающим о причастности её сторонника к какой-то микрогруппе социума; он таким образом дополнительно фрагментируется. Скажем, есть группа лиц, относящихся (или относимых) к слою

так называемой интеллигенции; из него вычленяется количественно меньшая (и уже только поэтому обладающая обострённым самомнением) группа с загадочным наименованием «творческая интеллигенция»; внутри же неё существует подразделение на писателей, музыкантов и проч. – по роду занятий; а уже каждое из этих более или менее профессиональных сообществ зачастую проходит ещё одну дифференциацию уточняющего характера – по признаку членства, пусть и документально не оформленного, – в каком бы то ни было течении, направлении, объединении и т. п. Как ни странно, но представители «творческой интеллигенции», в огромном большинстве своём долженствующие быть занятыми сугубо индивидуальной производственной деятельностью, не только охотно вливаются в состав микро- и макроколлективов, но и манифестируют эту готовность к сплочению, точнее – «стайности» (нередко – по случайным и малозначительным поводам) для широкой аудитории.

Демаркационная линия «свой / чужой» (и, конечно же, стремление к саморекламе) традиционно выступает, в частности, при подписании коллективных писем, якобы способных произвести эффект воздействия на какие-то процессы. По крайней мере, для отечественных «творческих интеллигентов» такой способ поведения актуален в самые разные исторические эпохи: и накануне революций, и при Советской власти, и при власти несоветской*. Небезынтересно, что, прямо или косвенно критикуя деятельность государства, те же самые «подписанты» вовсе не отказываются от предоставляемых им дотаций, бенефиций, наград и т. д. Видимо, таким образом проявляется высокая принципиальность мастеров культуры (или, точнее, избирательная принципиальность).

Ср.: «…Сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница. Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества, – прямо какие-то хамские, дубленые души! И вдобавок, люди

* Относительно недавно сервильность части «творческой интеллигенции» (которую Э. Лимонов называл «советской буржуазией») в полной гармонии с её абсолютно большевицким презрением к чужим жизням проявилась в октябре 1993 г. – сразу после победоносного танкового расстрела Верховного Совета, последнего средоточия Советской власти [Писатели 1993].

поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами…» [Куприн 1953, 2: 409–410]; далее автор квалифицирует их как «проститутов искусства» [Там же].

Относительно недавно в одном из московских театров зрители (полу)порнографического спектакля, что называется, «голосовали ногами» – то есть массово покидали зал во время представления. Один из уязвленных лицедеев (кажется, Чонишвили) заявил, что если кому-то зрелище обнажённой актерской плоти не нравится, то «пусть пойдут и повесятся». Возможно, целесообразнее было бы наоборот.

Впрочем, вся эта артистическая компания играет весьма важную социальную роль: своим творчеством она утверждает аксиологические ориентиры, даёт широкой публике (прежде всего – молодёжи) образцы поведения, якобы единственно достойные подражания, пропагандирует сегодняшнее общественное устройство как идеальное и незыблемое, а за это её щедро финансируют.

Возвращаясь к теме социальной и профессиональной самоидентификации индивидуума либо микрогруппы, приведём интересные воспоминания внимательного и критичного наблюдателя И. А. Бунина.

«Говоря вообще о важности одежды, он [А. Н. Толстой] морщился, поглядывая на меня: “<…>. Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! <…> Один, видите ли, символист, другой – марксист, третий – футурист, четвёртый – будто бы бывший босяк… И все н а р я ж е н ы : Маяковский носит жёлтую женскую кофту, Андреев и Шаляпин – поддёвки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри… Все мошенничают, дорогой мой!”» [Бунин 1988, 6: 290–291].

«…В с е [модные тогда писатели – Скиталец, Андреев и под.] ходили в поддёвках, в шёлковых рубахах навыпуск, в ременных поясах с серебряным набором, в длинных сапогах – я однажды встретил их всех сразу в фойе Художественного театра во время антракта и не удержался, спросил дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения», увидавшего на кухне мужиков: “Э-э-э… Вы охотники?”» [Бунин 1988, 6: 583].

Таким образом, одежда писателя предстаёт одним из важнейших элементов его творческого статуса: она призвана гармонировать с текстами автора, логически довершая в глазах благодарной публики его духовный портрет: внутреннее (содержание) коррелирует с внешним (оформлением), способствуя полноте картины (может быть, точнее – декорации).

Полисемичный глагол *рядиться* одним из значений имел ʻщегольски одеваться, наряжаться' [Даль 1955, IV: 125]; видимо, одно из звеньев семантической цепочки здесь упущено – ср.: *ряженый* - ʻпереряженный, окрутник, одетый чудно, не по обычаю, ради шуток' и *ряди́ха* - ʻсвятки, с третьего дня Рождества до вечера Богоявления, пора, когда наряжаются и ходят по домам' [Там же]; в позднейшей лексикографии *рядиться*[2] <…> 2) устар. ʻпереодеваться, наряжаться в необычную одежду, изображая в ней кого-л. ради шутки или участвуя в старинном святочном обряде (когда ряженые, переходя из дома в дом, желают хозяевам счастья в новом году, поют весёлые песни, пляшут и т. п.' <…> прост. ʻодеваться в маскарадный костюм' [МАС$_2$, 1983, 3: 749], *ряженый*[1] устар. ʻодетый, переодетый таким образом, чтобы изображать кого-л., ради шутки или для участия в старинном святочном обряде' <…> прост. ʻодетый в маскарадный костюм' [МАС$_2$, 1983, 3: 750].

Рассказ А. П. Чехова «Ряженые» композиционно состоит из семи кратких эпизодов, в каждом из которых обыгрывается исходное значение слова, вынесенного в название. Первичная семантика лексемы используется только в инициальном микросюжете, во всех остальных применяется метафоризация. Сначала изображается пёстрая и праздная (видимо, сельская) толпа, впереди которой «прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и с шапкой набекрень», на него набрасывается встречный унтер с упрёками: «Ты отчего же мне чести не отдаёшь?» – и слышит в ответ бабий голос: «Миленький, да ведь мы ряженые!» [Чехов 1954, 2д: 8]. Далее вкратце описываются разного рода «ряженые»: красивая барыня, лицо которой говорит: «Я счастлива и богата» – сама же она считает себя «ряженой», так как скоро её оставит содержатель; толстяк во фраке в ожидании роскошного ужина и визита к *ней* проигрывает в карты огромные деньги – и не унывает, в голове же его мысль: «Я ряженый! Наедет реви-

зия <…>»; адвокат, поэтически вдохновенно выступающий в суде, думает: «Дай мне истец сотней больше, я упёк бы её! <…> В роли обвинителя я был бы эффектней!»; пьяный мужичонка, всем своим видом показывающий, как весело ему живётся, думает: «Жрать хочется»; молодой профессор-врач, вещающий о том, что нет больше счастия, как служить науке, в действительности главным достижением считает десятикратное увеличение практики, а следовательно, и доходов [Чехов 1954, 2д: 8–9].

В финальном эпизоде представлен театр, над дверями которого написано: «Сатира и мораль». «Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают… Храм! Но этот храм ряженый. Если вы снимете “Сатиру и мораль”, то вам нетрудно будет прочесть: “Канкан и зубоскальство”» [Чехов 1954, 2д: 10] (что удивительно точно характеризует сегодняшний российский шоу-бизнес).

Символическую роль определенной манеры одеваться в некоторые моменты отечественной истории можно наблюдать на примере «немецкого» платья, которое, как и брадобритие, усиленно пытался внедрить в русский быт Пётр I, и также вовсе не только из эстетических соображений.

Согласно концепции С. М. Соловьёва, государь считал русскую национальную одежду, как и ношение бороды, зримым признаком старины – а следовательно, и отсталости от просвещенного Запада.

Впрочем, историк полагает, что Пётр I не был первопроходцем на пути директивной модернизации традиционной русской одежды: ранее «указом царь Фёдор Алексеевич велел носить короткие кафтаны вместо длинных охабней и однорядок» [Соловьёв 1991, VII: 550].

Указы Петра I о перемене платья его подданными были неоднократными, поскольку многие из них надеялись на скоропреходящий характер этих мер и не торопились обновлять свой гардероб (что, кстати, было и финансово обременительным).

По мнению С. М. Соловьёва, революционные тенденции в одежде имели не только символическое значение, не только стремление преобразовать внешний облик русских с целью трансформировать их ментальность, но и собственно прагматическую сторону. Все эти движущие факторы выступали в прочном единстве.

«…И в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий, полусонный азиатец носит длинное спальное платье. Как скоро человечество, на европейской почве, начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенно человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает полы своего платья. То же самое делает европейское человечество, стремясь к своей новой, усиленной деятельности: оно подбирает, обрезывает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья, и наш фрак (пусть называют его безобразным) есть необходимый результат и знамение этого стремления; длинное платье остается у женщины, которой деятельность сосредоточена дома, в семействе. <…> И русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно, должен был одеться и в европейское платье <…>, вопрос состоял в том: к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и соответственно носить в одежде и знамение этой семьи» [Соловьёв 1993, VIII: 100–101].

Однако можно понять, что огромное множество (может быть, даже и большинство) реформируемых таким образом людей относилось к перспективам незамедлительно влиться в дружную семью просвещенных народов, мягко говоря, без какого-либо энтузиазма. Мало того: и против брадобрития, и против немецкой одежды вспыхивали в разных местах страны массовые бунты, которые были жестоко подавлены [Соловьёв 1993, VIII: 104–116 и др.].

Здесь в очередной (и далеко не в последний) раз обнаружился доминантный модус поведения российской власти: проведение реформ, представлявшихся правителям благими для народа (возможно, изредка в конечном счете и оказывавшихся таковыми), и совершенное нежелание (вкупе с полным неумением) разъяснить недоумевающим низам добронамеренную суть действий господствующей страты (сегодня – «элиты») и светлые перспективы реформ. Примечательно, что столь же традиционно главными бенефициарами реформ становились прежде всего именно их верховные инициаторы и проводники, а также их приближенные.

Литературная параллель великого реформатора – гоголевский персонаж полковник Кошкарёв, стоявший с полком в Германии в четырнадцатом году и с тех пор всецело преданный идее просвещения.

Её он старался осуществить, например, введением в своей деревне множества канцелярских учреждений, департаментов и комиссий («бумажного производства», как в Англии и у самого́ Наполеона), которые, однако, бездействовали; хозяйство было совершенно расстроено. Прогрессивный помещик, впрочем, во всех бедах винил косность крестьян: «баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете, тогда как в Германии <…> дочь мельника умела играть даже на фортепиано» [Гоголь 1956: 295].

Примечательно, что один из главнейших путей к благополучию Кошкарёв видел в радикальном преобразовании мужицкой манеры одеваться: «Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны – науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России» [Там же].

Нелишне добавить для полноты картины сходства с ситуацией, созданной монархом-преобразователем, что в поместье полковника царит «бестолковщина», а «барина за нос водят» [Гоголь 1956: 296] – ср.: «Не достигнув всего, к чему направлялась реформа, она принесла или подготовила много такого, чего не предвидел преобразователь и чему, может быть, он не был бы рад, если бы предвидел <…>. Опомнившись от реформы Петра и оглядываясь вокруг себя, сколько-нибудь размышлявшие люди сделали важное открытие: они почувствовали при чересчур обильном законодательстве полное отсутствие закона» [Ключевский 1989, IV: 205; 279].

Следует заметить, что роль элементов экстерьера как социально-политических символов отмечалась не только в России и иногда отображалась в форме гротеска.

Рассказывая о внутриполитической жизни Лилипутии (пародия на современных Дж. Свифту тори и вигов), Гулливер передает слова Рельдресселя, лилипутского главного секретаря по тайным делам: «…В империи образовались две враждующие партии, известные под названием *Тремексенов* и *Слемексенов*, от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Утверждают, что высокие каблуки всего более согласуются с нашим древним государственным укладом [у антропоморфных существ ростом около шести дюймов, т. е. примерно пятнадцати сантиметров], однако, как бы там ни было, его

величество постановил, чтобы в правительственных должностях, а также во всех должностях, раздаваемых короной, употреблялись только низкие каблуки <…>… Каблуки на башмаках его величества на один *дрерр* ниже, чем у всех придворных (*дрерр* равняется четырнадцатой части дюйма). Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. <…>… Его императорское высочество, наследник престола, имеет некоторое расположение к Высоким Каблукам; <…> не трудно заметить, что один каблук у него выше другого, вследствие чего походка его высочества прихрамывающая» [Свифт 1989: 46–47].

Комментатор сообщает, что прихрамывающая походка лилипутского престолонаследника – аллегорическое изображение политических симпатий и антипатий тогдашнего реального принца Уэльского, отец которого, Георг I, покровительствует вигам (носит демонстративно низкие каблуки); принц же, «искусный интриган <…> искал поддержку у лидеров тори и у тех вигов, которые чувствовали себя обойденными. Став королем, он обманул их надежды и оставил во главе министерства Роберта Уолпола» [Аникст 1989: 338].

Павел Иванович Чичиков, «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» [Гоголь 1956: 5], у него «чин не слишком большой и не слишком малый» [Гоголь 1956: 12], тщательно следит за своим туалетом (в том числе и примеривая перед зеркалом при подготовке к губернаторскому балу разные выражения лица [Гоголь 1956: 153]). Иначе говоря, Чичиков успешно старается выдерживать такой внешний вид, который призван засвидетельствовать его лояльность; показать, что он соответствует критериям общественного слоя, в котором вращается; в общем – он совершенно «свой». Кстати, и его потребительские вкусы стабильны: вот и в конце известного нам текста поэмы Чичиков выбирает в лавке сукно привычного ему «высшего сорта» [Гоголь 1956: 329-330].

Но Чичиков производит свои приобретательские операции в относительно статичном обществе; какие-то трансформации здесь

возможны только при персональной смене руководства, последствия которой, впрочем, вовсе не радикальны («новый начальник, <…> враг взяточников и всего, что зовется неправдой <…>, через несколько времени <…> очутился в руках ещё бóльших мошенников, которых он вовсе не почитал такими <…>, и хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности» [Гоголь 1956: 222–223]).

Совсем иной характер приобретает необходимость мимикрии для Корейко, духовно родственного Чичикову персонажа, действующего при динамичной смене социально-политических условий, и здесь первоочередную роль приобретает его способность сохранять внешне статус «своего» при исторически моментальных и решительных ситуативных трансформациях.

В начале карьеры, в период военного коммунизма, предприниматель сообразил: «Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием» [Ильф, Петров 1957б: 372]. Затем происходит некоторая внешняя трансформация: «Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками. На голове у Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха» [Ильф, Петров 1957б: 373]. Перемена одеяния призвана свидетельствовать о прочном материальном положении Корейко; однако в это время наступает торжество нэпа, освященное ленинской статьей «О кооперации» и бухаринским лозунгом «Обогащайтесь!», и «Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужества и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на его обладателя» [Ильф, Петров 1957б: 373]. Поэтому очень скоро этот персонаж оказывается «эффективным собственником» (по современной российской терминологии), который, согласно природе такого деятеля, грабит государство и занимается спекуляцией. Те-

перь «Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты» [Ильф, Петров 1957б: 373]. Затем, очутившись в «небольшой виноградной республике», «здоровый частник <…> снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку» [Ильф, Петров 1957б: 377] и осуществил новую крупную аферу, после чего оказывается в Черноморске в роли скромного конторщика, «без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу и белой сорочке без воротничка» [Ильф, Петров 1957б: 364], приобретя вид типичного советского служащего [Ильф, Петров 1957б: 366]. Впрочем, «ничтожнейший служащий» и обладатель десяти миллионов рублей продолжает ведение криминального бизнеса с помощью идейно выдержанных чиновников из «Геркулеса», мелким сотрудником которого является.

Сущность Корейко остается константной: «его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились» [Ильф, Петров 1957б: 377], он богател – и «берег себя для капитализма» [Там же], но вынужден постоянно менять свой внешний облик, приспосабливая его к окружающей среде, оставаясь тем самым незаметным для наблюдателей.

Приблизительно к тому же времени относятся бытовые наблюдения другого писателя.

Одежда, её происхождение и её детали в функции социальных символов неоднократно фигурируют в текстах М. А. Булгакова, несомненного приверженца тех сакральных ценностей, которые были низведены революцией до уровня профанных и замещены совсем другими.

Например: «Во что попало одеты граждане [в московском трамвае 1922 г. – уже в период нэпа]. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей – омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большею частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак» [Булгаков 1989, 2в: 228]. – «…За границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу

принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургузых куртках [1922]» [Булгаков 1989, 2ж: 250]. Кепки как доминирующий тип головного убора особенно живучи; в письме 1931 г. Булгаков, рассказывая о своей бессоннице, сообщает: «На рассвете начинаю глядеть в потолок и таращу глаза до тех пор, пока не установится жизнь – кепка, платок, платок, кепка» [Булгаков 1990, 5: 499] (позднейшие комментаторы сочли нужным заметить («догадаться»), что «исчезали не только шляпы, но и те, кто эти шляпы носил, с высылкой огромного социального слоя людей менялся и облик города» [Гудкова, Земская 1990, 5: 676]).

Конечно, шляпа (как, впрочем, и очки) на десятилетия стала в советском быту нагляднейшей приметой так называемого «интеллигента» (да и само слово оказалось в разряде инвективных в разговорном просторечии), «чужого», «сильно умного» с точки зрения пролетариата – рабочего класса (и сонма примкнувших и вписавшихся в него базарных торговок и прочих, подобных литературному персонажу, который «сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку» [Шукшин 1980д: 350]). Поскольку названному классу так долго твердили, что он – гегемон, он – главный, он – лучший, что множество его представителей, кажется, в это прочно уверовало (ср. снисходительное полупризнание: «среди интеллигентов т о ж е попадаются <…> умные» [Булгаков 1990, 5: 90]).

И гениальному химику Ефросимову «в трамвае <…> каждый день говорят: “Ишь шляпу надел!” [Булгаков 1990, 3а: 333]. Кстати, этот ученый в изображении Булгакова – конечно же, гуманист, который хотел бы свое замечательное антивоенное открытие, «чтобы спасти человечество от беды, сдать всем странам сразу» [Булгаков 1990, 3а: 336] – и уже в момент всеобщего уничтожения (правда, химику удалось спасти несколько человек, которые ему показались симпатичными) произносит: «Умерли… И дети? <…> Они выросли бы, и у них появились бы идеи… Какие? Повесить щенка?..» [Булгаков 1990, 3а: 343].*

Уже в 1923 г. М. Булгаков замечает единичные пока, но тем не менее обнадеживающие приметы наружных рудиментов прежних цен-

* Отношение гуманиста Ефросимова к вопросам организации социума поразительно напоминает и сегодняшних правозащитников, и более ранних селекционеров, деливших (будто бы научно обоснованно) челове-

ностей. Он привычно наблюдает, что публика в оперном театре одета в «пиджачки сомнительные, френчи вытертые» [Булгаков 1989, 2ж: 258], и вдруг увидал человека во фраке; «всё, честь честью, было на месте. Ослепительный пластрон, давно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!» [Там же]. Однако – при всей символичности этого события – «выражение унылой озабоченности портило расплывчатый лик москвича» [Там же], хотя «никто фрачника не трогал, и даже особенно острого любопытства он не возбуждал» [Там же]. В голове рассказчика рождается вопрос: «Что должен означать фрак? Музейная ли это редкость <…>, или фрачник представляет собой некий живой сигнал <…>. Через полгода все оденемся во фраки». Вы думаете, что, может быть, это праздный вопрос? Не скажите…» [Там же].

Однако реальностью продолжал оставаться острый товарный голод, в том числе и спрос на достойную одежду. Можно сказать, что это было закономерным явлением: государство направляло почти все силы и средства на тяжелую промышленность, имея в виду неотвратимость близкой войны. Впрочем, рядовые граждане мало задумывались о столь масштабных вещах, и понятен массовый энтузиазм женщин, ринувшихся на сцену Варьете за платьями, туфлями, парфюмерией и косметикой знаменитых фирм (да к тому же раздаваемыми бесплатно) [Булгаков 1990, 5а: 124–126].

Лишь очень немногие советские люди получали тогда возможность зарубежных поездок, где и обогащали свой гардероб. Это такие булгаковские персонажи, как тот же Ефросимов, который «одет в великолепнейший костюм, так что сразу видно, что он недавно был в заграничной командировке» [Булгаков 1990, 3а: 329], и знаменитый литератор Бондаревский, фигуру которого облекал «добротнейшей

чество на полноценные и неполноценные расы, причем последние подлежали безусловному истреблению, в том числе и малолетние – из которых неминуемо могут вырасти враги рейха. Между прочим, гуманизм самого́ Булгакова запечатлен в одном из промежуточных вариантов романа, в финале которого вся Москва должна была погибнуть в огне, но в конечном итоге автор удовлетворился лишь четырьмя локальными пожарами [Лесскис 1990: 663] (о фетишизации гуманизма см. также [Васильев 2013: 186–201]). Ср. также явно ироническое: «<…> великий российский ученый-гуманист, изобретатель водородной бомбы академик А. Д. Сахаров» [Поляков 2010: 135].

материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм» [Булгаков 1990, 4а: 424], и актер-основоположник Независимого Театра Горностаев, хитростью добивающийся выездов за рубеж и неизменно возвращающийся оттуда в новых костюмах [Булгаков 1990, 4а: 510–511] и др.

Легко заметить, что все они явно преображаются внешне, но проблематично, скрывается ли за этим некое внутреннее преображение; скорее всего, нет, ибо, так или иначе, имитируя официально регламентированную преданность социалистическому государству (которое, собственно, их буквально содержит – конечно, в своих целях), они в действительности вряд ли привержены его аксиологическим установкам (а химик даже и не скрывает этого), по крайней мере, не склонны беззаветно жертвовать бытовым комфортом.

Следует сказать, что весьма распространенным и в дальнейшем среди многих советских граждан было использование заграничных вояжей с будто бы побочной (но обычно кардинальной) целью приобретения вожделенных предметов ширпотреба; обладание некоторыми из них существенно повышало самооценку владельцев и их статус в глазах окружающих (прежде всего – подобных счастливцам). Парадоксально, но импортное облачение (т. е. «чужое») делало «упакованных» в него «своими» в определённом социальном кругу. Отдельные же элементы одежды фетишизировались – например, джинсы.

Ср. в книге середины 1970-х гг.: «Затаённая мечта ибанского интеллектуала – заграничные джинсы. Эта мечта проходит в своём развитии: 1) обычные джинсы, 2) джинсы с нашлёпкой, 3) вельветовые джинсы. Только втиснув свой зад в заграничные штаны, ибанский интеллектуал чувствует себя причастным к мировой культуре. Мыслитель был на вершине мировой культуры, так как имел все упомянутые виды джинсов» [Зиновьев 1990, 1: 37]. Или в статье 1995 г.: «…Острое недовольство своим уровнем жизни было в основном у элиты; не случайно несгибаемые большевики <…> своих детей и внуков старались пристроить поближе к <…> дверце в железном занавесе <…>. Окончив спецшколу и хороший вуз, потомки старых большевиков, привозя из-за границы джинсы и запретный том Генри Миллера, говаривали, что мы так не умеем ни шить, ни писать» [Поляков 2005: 155] (по мнению того же автора, «мы проиграли Третью

мировую войну, потому что мы проиграли войну идеологий, а войну идеологий мы проиграли, потому что проиграли войну жизненных стандартов» [Поляков 2005: 134]).

Небезынтересно, что иногда оценка какого-либо предмета одежды может быть единой у ряда наблюдателей, невзирая на глубокие различия между ними.

Значение существительного *чуйка* определялось как ʻсуконный кафтан, халатного покроя, чуга, армякʼ [Даль 1955, 4: 614]; ср. в позднейшем словаре, где одна из иллюстраций также указывает на преимущественную социальную принадлежность обладателя этого предмета: «*чуйка* – ʻверхняя мужская суконная одежда в виде кафтана, распространённая в городской мещанской среде XIX–начала XX вв.ʼ <…> «Выйдя в третий класс, я увидел мещанина в картузе и чуйке…» Бунин, Сны» [МАС$_2$ 1984, 4: 693]. Известный популяризатор сообщает: «Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах – трактирщиках, мастеровых, торговцах» [Федосюк 2003: 188].

Ср. в описании ярмарочного балагана в маленьком городишке (где «интеллигенция», она же – «местная знать (становой с семьёй, мировой с семьёй, доктор, учитель – всего семнадцать человек)»): «Перед началом спектакля входит чуйка, крестится и садится на первое место. К нему подходит клоун. «Извольте сесть в галерею, – просит клоун. – Здесь первые места». – «Отстань!» – «И чиво вы уселись, как медведь какой-нибудь? <…>». Чуйка неумолима. Она надвигает на глаза фуражку и не хочет уступать своего места» [Чехов 1954, 1б: 351–352].

В очерке 1923 г. при описании хладнокровного убийцы и грабителя: «… На человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. всё это чуйки, отравленные большими городами» [Булгаков 1989, 2б: 305].

При характеристике настроений части общества – в преддверии «красного террора»: «Салоп говорит чуйке, / чуйка салопу: / «Заёрзали длинноносые щуки! / Скоро всех слопают!» [Маяковский 1979: 597] (комментарий: «С а л о п г о в о р и т ч у й к е – то есть обыватель говорит обывателю; *салоп* – старомодная женская шуба;

чуйка – мужской длинный кафтан» [Коваленко 1979: 719]; ср. по поводу этих же строк: «В русском быту и в литературе слово “чуйка” <…> употреблялось как <…> обозначение её носителя по внешнему признаку – недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского <…> чуйка и салоп – синонимы заскорузлых обывателей» [Федосюк 2003: 188]).

Таким образом, *чуйка* – распространённое метонимическое обозначение далеко не симпатичного человека. Однако нетрудно заметить, от кого именно исходят нелестные оценки: А. П. Чехов – интеллигент в первом поколении (а значит, с тем бóльшей неприязнью относившийся к мещанству); И. А. Бунин – несомненный носитель дворянской культуры; М. А. Булгакову откровенно не нравились ни советская власть, ни те, кого он считал её типичными представителями; В. В. Маяковский – революционер-агитатор. Несмотря на различия в происхождении, социальном положении, политических взглядах, все они считали «чуек» очевидно «чужими» себе.

В число подчеркнуто символичных предметов одежды несомненно входят этнически окрашенные элементы. Конечно, они сколько-нибудь заметно не выделяются в массе им подобных (вряд ли возможно вызвать удивление окружающих татарским национальным костюмом на фольклорном фестивале в Татарстане), однако такие наряды явно контрастны на фоне количественно преобладающих усреднённо общепринятых одеяний. В первом случае «свой» находится среди «своих», во втором – оказывается в окружении «чужих».

Довольно стабильный пример этого феномена – украинская мужская рубашка с вышивкой, именуемая также «вышиванкой», а в просторечии ещё почему-то и «антисемиткой» (кажется, со времен правления Хрущева).

Этот предмет одежды, судя по некоторым телепередачам, весьма популярен на* Украине, выступая в роли зримого символа верности бандеровскому делу (любопытно, между прочим, что и после победы майданорождённой революции многие её активные участники на публичных мероприятиях по-прежнему предпочитают не показывать своих лиц, скрывая их всевозможными способами, – видимо, из скромности).

* В соответствии с правилами русской грамматики, всё-таки *на*, а не *в*, хотя второй вариант очень нравится свидомым громадянам незалежной неньки и их россиянским соратникам.

Но традиция демонстративного ношения вышиванок (да ещё в якобы враждебном окружении) имеет давние корни.

Так, персонаж известного рассказа гимназический учитель Коваленко – из хохлов и в «вышитой сорочке»; на эту деталь (по-видимому, как противопоставляющую её носителя массе горожан) обращает внимание бдительный коллега, гиперлояльно руководствующийся принципом «как бы чего не вышло» и заботливо предостерегающий «хохла»: «…Вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами…» [Чехов 1956, 8в: 294]. Интересно, что на первое место по показателю возможной неблагонадёжности Беликов ставит даже не книги, среди которых могут оказаться издания подрывного характера, а именно «вышиванку»: содержание книг неизвестно окружающим, а вот «вышиванка» заметна всем и сразу.

Пример почти синхронный: выходец с юга «приехал завоёвывать Петербург»; гимназию он не закончил, однако, «как истый хохол, был, при всей своей кажущейся простоте, очень ловким и практичным малым <…>, ему <…> помогали те своеобразные черты характера, которые он привёз из недр провинциального юга: хитрость, наблюдательность*…» [Куприн 1953, 2в: 376; 378], а потому «быстро <…> нашёл себе занятия в управлении одной из крупнейших железных дорог и уже через месяц обратил на себя внимание начальства» [Там же]. «…Он отыскал своих земляков, «полтавских хлопцев», которые ходили в вышитых рубашках с ленточками вместо галстуков <…> и презирали кацапов с их городской культурой» [Куприн 1953, 2в: 379] (фактически паразитируя на этих же «кацапах»).

Наконец, в современном произведении в Подмосковье возникает зарубежный кинематографист, бывший Андрей Розенблюм, а ныне – Андрій Розенблюменко «в украинской рубахе-вышиванке» [Поляков 2010: 204–205] и оказывающийся теперь убежденным националистом.**

* Ср. интересное этнопсихологическое наблюдение выдающегося историка: «И москаль, и хохол хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притворстве. Но тот и другой притворяются по-своему: первый любит притворяться дураком, а второй умным» [Ключевский 1990, IX: 385].

** Любопытно, что этот эпизод (вряд ли совершенно вымышленный)

Таким образом, и в данном случае предмет одежды манифестирует мировоззрение индивидуума и его доминанту – неприязнь (мягко выражаясь) к «москалям».

2. Значимость ведомственной формы одежды

… На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт.
На нём погоны золотые …
Песня

Если одежда вообще способна выступать как социальный знак, то ещё бóльшая функциональная нагруженность в этом отношении приходится на одежду, специально разработанную для того, чтобы отличать её носителя по признаку принадлежности к тому или иному официальному сообществу, а также указывать служебный статус индивидуума в нём.

Форменная одежда не менее разнообразна, чем области жизнедеятельности людей, и может быть подразделена на военную, специальную, ведомственную, корпоративную, спортивную и проч. Её главная роль – зримая дифференциация «своих» от «чужих» и внутриведомственная иерархизация «своих» («а форменные есть отлички: в мундирах выпушки, погончики, петлички» [Грибоедов 1964: 81]).

Несомненно, что индивидуум, надевая какую-либо форму, тем самым принимает на себя определённые обязательства, по крайней мере, не приносить вреда сообществу, в которое вступает, а, напротив, по мере сил служить его целям (не говоря уже о таком моменте, когда-то высоко ценимом, как присяга).

демонстрирует, как при стечении обстоятельств, казалось бы, инвариантный признак человека – национальность – превращается в весьма вариативный. На фоне данного примера почти совершенно меркнет комментарий к парадоксальной формулировке, ставшей расхожей среди обывателей губернского города С. по мере упрочения социального статуса усиленно практикующего врача: «И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку <… >, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был» [Чехов 1956, 8: 333].

Отсюда логично следует, что тот, кто облачается во вражескую форму, особенно в период активных боевых действий, совершает тем самым акт предательства, то есть визуально декларирует переход на сторону противника («чужих»), отрекаясь от прежних «своих»*.

Впрочем, в последние десятилетия в этом отношении в России многое изменилось: понятие верности заметно трансформировалось в некоторых аспектах. Начиная примерно с последних лет «перестройки» стали в изобилии появляться исторические труды, прославляющие генерала Власова и его Русскую освободительную армию; многочасовые циклы телепередач, воспевающие «подвиг» В. Суворова и проч. Позднéе появились и новоуренгойские мальчики, скорбящие о нацистах, безвинно погибших в России…

Ввиду глубокой коммерциализации спорта излишне говорить о преданности спортсменов не только своей команде, но и родной стране: решающую роль здесь играют пресловутые «целая бочка варенья да целая корзина печенья» [Гайдар 1963, 1а: 501]. Небезынтересно, что модель поведения, которую избрал Мальчиш-Плохиш, сегодня находит оправдание и у тех, кто, казалось бы, последовательно и многословно манифестирует свою патриотическую позицию. Так, весной 2018 г. некий радиослушатель поинтересовался у ведущих передачи «Военное ревю», правильно ли поступил российский президент, выступив в хоккейном матче вместе с А. Могильным, некогда уехавшим за океан в поисках материального благополучия. Слушателя в ответ назвали дебилом, кратко объяснив, что ничего дурного хоккеист не совершил, просто там ему предложили денег во много раз больше, чем на родине (см. о подобных явлениях также [Васильев 2013: 254–263]).

Надо сказать, что и военная форма может быть подвержена чему-то вроде модных веяний – правда, они не принимаются добровольно, но насаждаются директивно.

---

* Понятно, что сюда не относятся случаи использования вражеской («чужой») формы во имя достижения успеха «своих» – например, переодевание Долохова и Пети Ростова во французские шинели и кивера с разведывательными целями [Толстой 1981, VII: 151–155], но ср. вышеприведённый пример доброкачественного любопытства Швейка и результат его опрометчивого поступка.

Пётр III, боготворивший Фридриха II, «тотчас по воцарении <…> облёкся в прусский мундир и носил чаще прусский орден. Пёстрый и антично узенький прусский мундир был введён и в русской гвардии, заменив собой старый просторный тёмно-зелёный кафтан, данный ей Петром I» [Ключевский 1989, IV: 320]. Собственно говоря (так же, как и насаждение «немецкого платья» в более ранний период), этот акт был не только сигналом прусскому королю о том, что на русском троне теперь воцарился всецело преданный Фридриху правитель («свой»), но и попыткой радикально трансформировать «внутреннее» (ментальность русской армии) с помощью «внешнего» (нововведённая форма функционально была предназначена для иного модуса тактических действий, нежели привычная отечественная).

Известнейший пример многосторонней символики, передаваемой с помощью предмета одежды одного из персонажей, – это, конечно, шинель Грушницкого. Интересно наблюдать, как разные действующие лица романа оценивают эту форменную деталь туалета.

Повествователь Печорин весьма проницателен: он хорошо понимает романтическое позёрство «старого приятеля»: «Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель <…>. Он так часто старался уверить других, что он существо, не созданное для мира, обречённое каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель» [Лермонтов 1948, 4: 68].

Сам Грушницкий неоднократно подчеркивает значимость своего наряда (почти маскарадного, избранного вовсе не по чьему-то приказу, но по собственной воле) как необходимого элемента принятого на себя образа: «Моя солдатская шинель – как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня <…>. И какое им [знати] дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» [Лермонтов 1948, 4: 69–70].

Грушницкому удаётся произвести желаемое впечатление на предмет его страсти; Вернер, «скептик и матерьялист», передаёт слова Мери, которая «уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль…» [Лермонтов 1948, 4: 76].

Естественно, что Грушницкий мечтает об эполетах, то есть быть произведённым в офицеры, хотя Печорин, вроде бы сочувствуя ему, справедливо говорит: «…Да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением… Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем <…>… Она <…> года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять <…>, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить её с ним, потому что на нём была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное…» [Лермонтов 1948, 4: 80; 82].

Примечательно, что Грушницкий, увлечённый княжной, как будто хорошо понимая эффектную роль своего наряда («здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами…» [Лермонтов 1948, 4: 87]), остаётся глух к реплике Печорина, раскрывающего «приятелю» подлинные истоки симпатии Мери к нему: «…я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный…» [Лермонтов 1948, 4: 88].

Когда же, наконец, Грушницкий получает желанное производство в офицеры, прозорливый Вернер «не поздравляет» его, говоря вполне справедливо: «…Солдатская шинель к вам очень идёт, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь [!], на водах, не придаст вам ничего интересного… Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдёте под общее правило» [Лермонтов 1948, 4: 100]. Наивный влюбленный просто не желает этого понимать (а ведь ранее он, кажется, хорошо осознавал почти магнетически притягательную силу своей шинели): «…Сколько надежд придали мне эполеты…» [Там же] и, пока не будет готов вожделенный мундир, не хочет больше появляться на людях «в этой г а д к о й шинели» [Лермонтов 1948, 4: 104].

Но уже до этого момента Печорин как бы случайно проговаривается княжне: «Я был сам некогда юнкером <…>». – «А разве он юнкер?..» – сказала она быстро и потом прибавила: – «А я думала…» [Лермонтов 1948, 4: 93].

Таким образом, в глазах княжны Грушницкий быстро утрачивает романтический образ героя-страдальца, о чём она и прямо сообщает ему в диалоге: «Я думал, <…> что, по крайней мере, эти эпо-

леты дадут мне право надеяться… Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я обязан вашим вниманием…» – «В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу <…>. Не правда ли, мсьё Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсьё Грушницкому?..» [Лермонтов 1948, 4: 107].

Хотя Печорин ещё раз пытается объяснить Грушницкому, что причина былой благосклонности княжны к юнкеру кроется именно в деталях его амуниции («пеняй на свою шинель или на свои эполеты» [Там же]), тот не внимает доводам рассудка (по существу, мгновенно рухнула придуманная им самим романтическая картина мира), и «комедия», срежиссированная Печориным от скуки, оканчивается трагической развязкой.

Столь же, но иным образом символична другая хрестоматийная шинель – чиновничья шинель Акакия Акакиевича Башмачкина. Вечный титулярный советник вынужден заняться обновлением этого предмета туалета (пойдя на совершенно неимоверное «уменьшение обыкновенных издержек», решив даже «ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подмёток» [Гоголь 1952, 3г: 142]).

Он поступает так, будучи движим двумя стимулами: крайней изношенностью старой шинели, совсем уже не спасающей от холода, и насмешками сослуживцев, называвших её капотом* (то есть Башмачкин – не такой, каким должен быть «свой»).

Решившись на жестокую экономию, чиновник наконец обретает высокую цель жизни: «даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели <…>. Как будто самое существование его сделалось как-то полнее» [Гоголь 1952, 3г: 142].

Но наслаждение выстраданным счастьем оказывается весьма быстротечным, и, утратив шинель, Башмачкин погибает.

Магическая сила форменной одежды может быть реализована в определенных обстоятельствах.

---

* Ср.: *«капот* – … женское верхнее платье, с рукавами и разрезом напереди» [Даль 1955, II: 88].

Вот фрагмент чеховского рассказа – резолюция начальствующего лица: «На прошение губернского секретаря Осетрова об единовременном пособии могу ответить указанием на Римскую империю, погибшую от роскоши. Роскошь и излишества ведут к растлению нравов; а я желаю, чтобы все были нравственны. Впрочем, пусть Осетров сходит в вицмундире к купцу Хихикину и скажет ему, что его дело близится к концу» [Чехов 1955, 3в: 208]. Иными словами, российский начальник образца 1885 г. не желает идти на чрезмерные, по его мнению, расходы бюджетных средств, но, понимая скудость жалованья подчинённых, рекомендует одному из них навестить просителя, будучи одетым в служебную форму (то есть подчеркнуть свой официальный статус, а следовательно, и возможное влияние на благоприятный для коммерсанта исход разбирательства). Очевидно предполагается, что такая демонстрация властного потенциала чиновника будет щедро вознаграждена сообразительным торговцем.

Один из наиболее значимых зримых знаков ведомственных различий и собственных отличий их носителей – погоны. Особенно велика их функциональная роль в военизированной среде, в частности собственно в армии.

Это не раз запечатлевалось в произведениях отечественных авторов – например, М. Ю. Лермонтова (тоже бывшего офицером). Его Грушницкий, совсем не понимая истинных поводов благосклонности к нему со стороны княжны Мери, мечтает о скорейшем производстве, а получив его, окрылён предчувствием любовного торжества: «…Сколько надежд придали мне эти эполеты… О эполеты, эполеты! ваши звёздочки, путеводительные звёздочки… <…> Я теперь совершенно счастлив» [Лермонтов 1948, 4: 100]. Другой лермонтовский персонаж, князь Звездич, в ответ на насмешливую реплику карточного партнёра: «Я вижу, вы в пылу, готовы всё спустить. Что стоят ваши эполеты?», гордо заявляет: «Я с честью их достал, – и вам их не купить» [Лермонтов 1948, 3: 9].

Гораздо позднéе, после Февральской революции и во время гражданской войны, когда уничтожается армейская дисциплина, и чинопочитание в том числе, а многие русские офицеры, униженные и оскорблённые, притом же убиваемые мятежными массами безо

всякого повода (точнее, потому лишь, что они офицеры, то есть угнетатели, кровопийцы и проч.)*, естественным образом становятся «белыми», их погоны воспринимаются как знак принадлежности к врагам трудового народа и наглый вызов его светлым чаяниям.

Отношение «красных» к офицерским погонам как символам противника также отразилось в беллетристике, например: «…На пашню из оврага уже выбегали <…> светло-серые и чёрные шинели, барски блестя погонами» [Толстой 1982, 1: 307]. – «…Бежали цепями люди в зелёном, и их наплечья поблёскивали золотыми пятнами» [Булгаков 1989, 1б: 457]. – «В ответ раздался золотопогонный смех» [Шишков 1961, 2а: 59] и т. п. Ср. также в безусловно пейоративной функции: «Фотограф <…> ужасно как ругался, называя его прохвостом, золотопогонником и бывшим беспорточным барином» [Зощенко 1986, 2б: 152].

Однако в 1943 г. отношение к погонам в Рабоче-Крестьянской Красной Армии директивно меняется на диаметрально противоположное: погоны возвращаются как знаки различия, видимо, не только из-за недостаточной функциональности принятых ранее петлиц, но и как необходимый компонент назидательного, пропагандистски важного обращения к победоносному наследию русской армии (ср. прославление полководцев былых времён, учреждение боевых наград в их честь и проч.).

3. Дополнительная атрибутика

«... Засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею».
А.С. Грибоедов

Различные украшения (по крайней мере, многие из них) издревле выполняли важную сакральную функцию. Они выступали как средства защиты их владельца, чаще – владелицы, от злых сил; особая

* Письмо от 31.12.17: «Придёт ли старое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать! <…> Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стёкла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве… тупые и зверские лица… Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров…» [Булгаков 1990, 5: 390].

магическая роль отводилась оберегам-амулетам (см. [Рыбаков 1988: 518 и др.]), которые после христианизации стали заменяться нательными крестиками.

Б. А. Рыбаков, описывая языческие артефакты, упоминает, в частности, гривны. Такие «массивные проволочные или пластинчатые украшения надевались на шею <…>» [Рыбаков 1988: 538], причём интересно, что «символическое значение гривен не подлежит сомнению, но вместе с тем и не поддается раскрытию. Гривны носили не только женщины, но и мужчины, для которых это было не только украшением, но и признаком знатности» [Там же].

Вероятно, со временем, по мере эволюций социально-политического устройства общества и межличностных и межгрупповых отношений внутри него функциональная значимость подобной атрибутики менялась. Её предметы становились указанием не только на иерархический статус их носителя, но и зримым показателем его заслуг перед государством. Таким образом вырабатывается система наград – орденов, медалей, почётных знаков, призванных не только тешить самолюбие их обладателя, но и внушать окружающим уважение к нему. Естественно, что многие служащие (как военные, так и гражданские) обрели новые стимулы к ревностному усердию на своих поприщах, более или менее откровенно рассчитывая на получение вожделенного знака отличия.

Гоголевский генерал, по мнению собачонки его дочери, «говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Получу или не получу?» <…> Потом <…> папá пришёл в большой радости. Всё утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли <…>. Поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала её, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: солёное немного» [Гоголь 1952, 3а: 183]. Молодой генерал Достоевского считает необходимым показать свою высокую награду при мимолетном речевом общении с заведомо низшим: «Чей это, братец, дом?» – спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее. «Чиновника Пселдонимова, легистратора», – отвечал, выпрямившись, городовой, мигом успевший разглядеть отличие» [Достоевский 1956, 4: 14].

Тема орденов затрагивается неоднократно в произведениях А. П. Чехова. Если даже не упоминать «Анну на шее», то это и рассказ 1884 г., главный герой которого, собираясь на праздничный обед к купцу Спичкину (тот «страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери»), одалживает у соседа-офицера орден Станислава и встречается в гостях со своим предприимчивым коллегой, у которого на груди чей-то орден Анны 3-й степени [Чехов 1954, 2в: 273–276]; и рассказ 1887 г. о провинциальном городском голове, который «страстно, безумно желал получить персидский орден «Льва и Солнца», а когда по стечению обстоятельств стал его обладателем, «ему хотелось теперь получить сербский орден “Такова” [Чехов 1955, 5: 414–418].

Напротив, отсутствие награды за службу в положенный период способно серьёзно огорчить претендента: ему не удалось войти бесповоротно в круг «своих», отмеченных высшим начальством. Тогда происходят драматические последствия; так, по словам некоей институтки, «папу обошли на службе и не дали ему ордена, а он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам» [Чехов 1954, 1а: 81].

Система наград основывается на идеологических ценностях, принятых в государстве как доминирующие.

В Российской империи в неё входили следующие – по достоинству: от низших к высшим: Анна 4-й степени, Станислав 3-й степени, Анна 3-й степени, Станислав 2-й степени, Анна 2-й степени, Владимир 4-й степени, Владимир 3-й степени, Станислав 1-й степени, Анна 1-й степени, Владимир 2-й степени, Белый Орёл, Александр Невский, Владимир 1-й степени, Андрей Первозванный (по [Федосюк 2003: 140]).

Естественно, советская система орденов базировалась на радикально иной идеологии и подвергалась дополнениям в соответствии с ходом истории (далее указываются годы учреждения наград – по [СЭС 1983: 933]).

До Великой Отечественной войны существовали ордена Красного Знамени (1924), Трудового Красного Знамени (1928), Ленина (1930), «Знак Почёта» (1935).

В военные годы были учреждены ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1942), Суворова 1-й, 2-й и 3-й степени (1942), Ку-

тузова 1-й и 2-й степени (1942), Александра Невского (1942), Кутузова 3-й степени (1943), Богдана Хмельницкого 1-й, 2-й и 3-й степени (1943), «Победа» – высший военный орден (1943), Славы 1-й, 2-й и 3-й степени (1943), Ушакова 1-й и 2-й степени (1944), Нахимова 1-й и 2-й степени (1944).

Нетрудно заметить, что в этом списке, кроме порожденных тогдашними процессами названий, фигурируют также имена прославленных русских полководцев и флотоводцев (последние, правда, – после некоторой паузы). Очевидно, что великие предки тоже были мобилизованы властью для поднятия воинского духа армии (ведь эти ордена вручались не только отдельным командирам, но и целым особо отличившимся частям), а также чтобы подчеркнуть преемственность победных воинских традиций; так, хотя, может быть, пока ещё недостаточно акцентированно, утверждалась крамольная с момента победы большевиков объективная непрерывность русской истории. В этот список попал и Богдан Хмельницкий, вероятно, как официально признанный инициатор украино-российского воссоединения.

Понятно, что тяжелейшими условиями быта того времени было вызвано учреждение орденов «Мать-героиня» (1944) и «Материнская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени (1944): очень многие женщины остались без мужей и были вынуждены сами, в одиночку поднимать своих детей, в том числе и приёмных.

После войны появились ордена Октябрьской Революции (1967), Дружбы народов (1972), «Трудовой славы» 1-й, 2-й и 3-й степени (1974), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 1-й, 2-й и 3-й степени (1974), названия которых в особых комментариях не нуждаются.

По-видимому, ко временам абсолютизма восходит награда в виде царского портрета, который предназначался для ношения на груди верноподданного; такие государевы «парсуны» обычно обрамлялись в драгоценные оправы и рассматривались в качестве знака высшего благоволения самодержца к отмеченному таким образом.

Любопытно, что, начиная, по крайней мере, с 1920-х гг. сложился интересный советский обычай, до некоторой степени имитировавший упомянутую старинную традицию: ношение на груди портретов основоположников теории коммунизма и современных политических во-

ждей. Правда, это уже не было наградой, а служило наглядным выражением лояльности носивших их граждан к новому государственному строю, причём надевались такие портреты не по чьему-либо приказу, а по собственному почину, и далеко не всегда искренне.

Упоминания об этом обычае как об одной из ярких примет описываемого времени неоднократны в текстах М. А. Булгакова.

Так, в фельетоне 1924 г. фигурирует сельский фельдшер, подавший заявление о вступлении в партию, то есть в ВКП(б), но имевший неосторожность принять участие в массовой кулачной драке по случаю престольного праздника – религиозного предрассудка. Фельдшеру отказывают в приёме в партийные ряды, хотя он и явился в уездный комитет с повинной, причем «был в кожаной куртке, при портрете вождя, и сознательности до того много было на его лице, что становилось даже немножко тошно» [Булгаков 1989, 2е: 485]. В путевых записках 1925 г. мимоходом упоминаются «сослуживцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах» [Булгаков 1989, 2к: 564]. В фельетоне того же года, текст которого выполнен в форме пьесы, ремаркой характеризуется малосимпатичный член месткома: «в глазах сильное сочувствие компартии, на левой стороне груди два портрета, на правой значки Доброхима и Доброфлота, а в кармане книжка “Друг детей” [Булгаков 1989, 2л: 583]; также: «А скажи <…>, чей это портрет у тебя на грудях? <…> Это <…> т. Каменев» [Булгаков 1989, 2: 529].

Более подробно этот распространённый способ приобщения к «своим» как выгодного и доступного лицемерия (мимикрии) описывается в пьесе 1926 г. в образе «гениального проходимца» Аметистова, способного к мгновенным метаморфозам. Он появляется «в кепке, рваных штанах и френче с медальоном на груди» [Булгаков 1990, 3в: 91] и рассказывает, что у него «в чемодане шесть колод карт и портреты вождей. Спасибо дорогим вождям, ежели бы не они, я бы прямо с голоду издох <…>. Захватил в культотделе в Баку на память пятьдесят экземпляров вождей. Продавал их по двугривенному» [Булгаков 1990, 3в: 93]. Затем представляется дворянином «бывшему графу» Обольянинову: «[Обольянинов:] Вы беспартийный, разрешите спросить? [Аметистов] Кель кестьон! (фр. Что за вопрос!) Что вы! [Обольянинов:] А у вас на груди был этот портрет… Впрочем, может быть, мне это показалось.

[Аметистов:] Это для доро́ги. Знаете, в поезде очень помогает. Плацкарту вне очереди взять. То, другое» [Булгаков 1990, 3в: 97]. При появлении председателя домкома Аллилуйи: «[Аметистов:] Вы партийный, товарищ? [Аллилуйя:] Сочувствующий я. [Аметистов:] А! Очень приятно. (Н а д е в а е т м е д а л ь о н). Я сам, знаете ли, бывший партийный. (Тихо, Обольянинову). Деван ле жан (фр. Не при чужих). Хитрость» [Булгаков 1990, 3в: 98].

Позднейшим рудиментом таких политически выдержанных амулетов надолго стала нагрудная звёздочка с портретом маленького кудрявого Володи Ульянова – октябрятский значок, бытовавший приблизительно до скончания Советской власти, как и значок члена ВЛКСМ (правда, здесь вождь фигурировал уже в каноническом обличии).

Не менее показателен случай, произошедший ещё с одним булгаковским персонажем, безусловным атеистом (в тогдашней терминологии – «воинствующим безбожником») Иваном Бездомным, сочинившим большую антирелигиозную поэму, где «Иисус у него получился, ну, совершенно живой <…>, только, правда, снабжённый всеми отрицательными чертами» [Булгаков 1990, 5а: 9].* В пылу погони за «иностранным консультантом» поэт в чьей-то квартире «присвоил» свечу и бумажную иконку и появился в ресторане грибоедовского дома: «Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нёс зажжённую венчальную свечу» [Булгаков 1990, 5а: 63]. Очутившегося наконец в лечебнице поэта психиатр спрашивает: «А иконка зачем?» – «Ну да, иконка… – Иван покраснел, – иконка-то больше всего их и испугала, – он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина, – но дело в том, что он, консультант, он… будем говорить прямо… с нечистой силой знается… и так просто его не поймаешь» [Булгаков 1990, 5а: 69–70].

Бездомный, рьяный атеист и несомненный приверженец советского строя, при столкновении с неведомой опасностью декорирует себя вовсе не портретом кого-либо из вождей, чьи изображения были в обиходе в качестве своеобразных амулетов-оберегов от по-

* Ср. «Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна» Д. Бедного (1925 г.) – см. Приложение 1.

тенциального негативного отношения, в том числе и представителей власти, но стёршейся иконкой, поскольку предполагает, что его противник – явно нечистая сила, а защитить от неё светские авторитеты не в состоянии.

Следует сказать, что мимикрия некоторых граждан, достигавшаяся в том числе и с помощью ношения на груди изображений вождей, была, конечно, косвенным результатом действительной сакрализации выдающихся партийно-государственных деятелей, предписанной доминировавшей идеологией. Ср. об этом: «Я видел горы – на них и куст не рос. / Только тучи на скалы упали ничком. / И на сто вёрст у единственного горца / Лохмотья сияли л е н и н с к и м з н а ч к о м . / Скажут – это о булавках áхи. / Барышни их вкалывают из кокетливых причуд. / Не булавка вколота – з н а ч к о м прожгло рубахи, / сердце, полное л ю б о в ь ю к И л ь и ч у . / Этого не объяснишь церковными славянскими крюками, / и н е б о г ему велел – избранник будь!..» [Маяковский 1979: 510].

Добавим также, что значимость наград может быть гиперболизирована в результате эксплуатации конкретных национально-ментальных черт, поощряемых массированной пропагандой. Например: «… Всем было неловко за генерала, не заслужившего даже креста на шею, тем более что у некоторых офицеров его свиты такие кресты поблескивали под воротником. <…> У него [обер-лейтенанта] был один-единственный орден, даже не орден – так, пустячная медаль – штампованный кружок из вороненой жести, свидетельство о том, что его обладателю посчастливилось пролить кровь за отечество <…>. Физиономия унтера была недовольная, спесивая, а орденов у него на груди было в четыре раза больше, чем у обер-лейтенанта» [Бёлль 1989: 134; 138] и мн. под. Правда, повествователь замечает: «Многие люди заблуждаются, считая, что блестящая побрякушка на груди или под воротником может изменить человека. Они, по-видимому, думают, что слюнтяй станет богатырём, а дурак сразу поумнеет, стóит только приколоть ему к мундиру орден, быть может даже заслуженный» [Бёлль 1989: 275] (впрочем, эта мысль посещает персонажа, рядового солдата – бывшего бармена, когда уже всем ясен исход войны).

Наружный облик человека во многих случаях выступает зримым выражением его сущности. Конечно, впечатление наблюдателя может оказаться ошибочным, особенно если строится на расхожих стереотипах; с другой стороны, и сам наблюдаемый способен, осознанно преследуя определённые цели, создать о себе ложное впечатление. Кстати, поэтому нередко абсолютизируется роль лихорадочно вводимых (якобы «как во всём мире») *фэйс-контролей* и *дресс-кодов,* которые являются будто бы не самой серьёзной, но довольно действенной мерой дрессировки индивидуумов, полуосмысленного нивелирования членов мифического *гражданского общества*, вынуждая их безропотно приспосабливаться к соответствию жёстким стандартам – при известных громких декларациях прав и свобод личности.

Представления о гармонии внешности и внутреннего мира человека зачастую сугубо идеализированы, хотя неоднократно предпринимались попытки объективизировать их, в том числе и путём моделирования в беллетристике некоего национального идеала красоты (как правило, женской).* Впрочем, с течением времени в этих представлениях происходят некоторые перемены.

Внешность не раз становилась символом противостояния разных социально-политических групп, для которых то или иное её оформление, естественно, вовсе не было самоцелью.

С этим связана и высокая функциональная роль маски, выступающей инструментом сокрытия подлинного лица субъекта, а значит – и его реальной сущности.

Но несомненно, что гораздо более распространённым социальным знаком человека является привычная ему манера одеваться. Одежда довольно точно позволяет определить материальный и социальный статус её носителя, иногда – даже его национальную принадлежность и т. п.

Особенно велика информативная значимость ведомственного костюма, наглядно показывающего узаконенное место его обла-

* Небезынтересно, что такого рода оценочные суждения, как правило, принадлежат представителям т. н. «сильного пола»; вероятно, здесь обнаруживается «гендерный фактор», ведь «женщине, сами [т. е. мужчины! – А. В.] знаете, легче поцеловаться с чёртом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею» [Гоголь 1952, 1: 42].

дателя в какой-либо сфере деятельности. Этому же способствует и присутствие (или, напротив, отсутствие) отличительных наград и проч.

Рассмотренные примеры в их совокупности дают основания говорить о том, что универсальные оппозиции выражаются не только вербально. Их всеобщий характер постоянно эксплицируется во внешности человека, которая, как и словесные компоненты противопоставлений, может быть ситуативно модифицирована, а потому вариативна.

Заключение

В соответствии с замыслом исследования был допустимо подробно проанализирован информативный фактический материал, содержащий вариативные экспликации универсальных оппозиций.

Их наличие весьма показательно для феноменов языка и культуры, постоянно находящихся во взаимодействии.

Противопоставления, возникнув в сознании людей как необходимое условие упорядочивания их протосоциума и окружавшей действительности, способствовали категоризации явлений и их рационализированному восприятию.

Благодаря использованию оппозиций были градуированы пространство и время, вследствие чего усовершенствовалась точность ориентации в них.

По мере возникновения мифологии и религии символическая роль противопоставлений в жизни социума повысилась. Получив словесные воплощения в антонимичных парах, они стали активно функционировать в нормативно-конфессиональных текстах, авторитет которых сопутствовал поддержанию официальных этических доминант.

Межъязыковые контакты, обычно односторонне направленные, выражаются в конечном счёте в освоении чужого и синхронном отчуждении своего. Таким образом трансформируется национальная ментальность и размываются представления о фундаментальных ценностях этносоциума.

С течением времени, в соответствии с векторами общественных процессов, меняются семантика и коннотации ряда элементов религиозной лексики. Они подвергаются функциональным инверсиям и перемещаются в иные сферы употребления.

На протяжении веков православие практически играет роль государственной идеологии, утверждая незыблемость власти имущих и подавляя малейшие попытки протеста против неё.

Но не менее жёстким оказался диктат возобладавшей затем идеологической системы, в свою очередь, фигурировавшей, по существу, в статусе официальной религии и массированно внедрявшей собственные представления о смысловом наполнении компонентов универсальных оппозиций.

Вербальные ориентиры аксиологической шкалы закономерно получили отражение в лексикографии.

Ономастическая система также оказывалась под влиянием доминировавшей идеологии; особенно наглядно это обнаружилось в антропонимии и топонимии.

Вербализованные противопоставления активно вводятся в ткань текстов их создателями, как беллетристами, так и политиками. И те, и другие выступают глашатаями и проводниками ценностей, манифестируемых в ранге приоритетных и сакрализуемых.

Стратификация современного российского общества выражается, например, в публичных речевых актах представителей правящего слоя и в именованиях, даваемых ими же подвластным массам.

Существуют также и невербальные формы демонстрации приверженности различным аксиологическим установкам; им нередко подчинены эстетические вкусы индивидуумов и их групп.

Конечно, в рамках относительно небольшой книги вряд ли возможно было бы представить исчерпывающую картину проявления универсальных оппозиций, вариантов воплощений их компонентов и ситуаций, в которых они выступают. Тем не менее, даже фрагментарный обзор многоаспектного функционирования фундаментальных противопоставлений позволяет говорить об их весьма высокой значимости в эволюциях жизнедеятельности социума.

Приложение 1

Евангелие от Иоанна

«56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем;

57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною;

58 Сей-то есть хлеб, сшедший с небес; не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.

59 Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.

60 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?

61 Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?

62 Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь;

64 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.

65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.

66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.

67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?

68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» [Иоанн, 6].

Д. Бедный.
Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна

Глава 22

Пустячок:
Вместо Мессии – бычок!
(Иоанн, 6: 56–68)

«Пиющий мою кровь… Ядущий мою плоть…» –
Стал Иисус тут новую чушь молоть,
Не прекращая прежних жалоб. –
У слушателей глаза полезли на лоб:
«Да его в сумасшедший дом не мешало б!..»

Даже апостольская братва
Не пожелала Иисусовой плоти откушать:
«Какие странные слова!
Кто может это слушать!?» –

Иисус продолжал, как ни в чём не бывало:
«Плоть не пользует нимало…» –
«Эх-ма!» –
Чертыхнулся апостол Фома,

Прозванный впоследствии Неверным:
«Беда с таким учителем холерным! –
Видать «богача» по лохмотью:
На кой нам ляд объедаться твоей плотью,

Ежели от неё проку ни на пятачок!?
Да ты не Мессия, а бычок,
Да ещё бычок – ни для мяса, ни для племени!» –
С этого самого времени

Отошли от Христа навеки веков
Многие из его учеников! –
Евангелистами тут правда приутюжена:

Осталась при Иисусе учеников не дюжина,

А не больше пяти:
«Не хотите ль и вы отойти?!» –
Иисус обратился к остатку.
Дядя Семён, опустивши сопатку,

Ответил уныло: «Куда?..
Тьфу! Сгоришь со стыда!»
На трусливого дядю напала икота.
Один Иуда из Кариота

Любовно гудел у Иисуса над ухом:
«Не падай духом! Не падай духом!
Я увижу твою воскресшую плоть;
Ты – Господь!»

1925 г.
[Бедный 1965: 264]

Приложение 2

В.П. Катаев

Первомайская пасха*

Председатель месткома Кукуев подвел гостей к роскошно накрытому пасхальному столу и радушно воскликнул:

– Прошу вас, друзья! Милости просим. Чем бог послал. Христос, так сказать, воскресе!

– Воистину воскресе, – плотоядно ответили гости, потирая руки, и стали приближаться к столу.

– Усаживайтесь, граждане, усаживайтесь, – суетился Кукуев, – прошу покорно! Пал Васильевич, что ж это вы, батенька? Наливайте, Захар Захарыч, зубровочки. Софья Наумовна, запеканочки, а? Господа, усиленно рекомендую вам свяченого куличика… домашнего изготовления. А ты что ж, Митя, сидишь и ничего не ешь, как же-

* Православная пасха в 1926 г. пришлась на 2 мая.

них? Кушай, Митя! Поправляйся. Опять же, может быть, кто-нибудь хочет свяченых яичек? Вот зелененькое, а вот и красненькое. Сами в церковь носили с Марь Ванной… Христос воскр…

В этот миг в передней раздался звонок, и через минуту в столовую вбежала взволнованная дочурка:

– Тятя! Вас там какой-то спрашивает.

– Кто б это мог быть? – изумился Кукуев. – Кажись, все свои в сборе. Гм… Извините, граждане, я сейчас.

С этими словами Кукуев вошел в переднюю и закачался. Перед зеркалом снимал пальто сам товарищ Мериносов.

– А я, брат, к тебе, – весело сказал он. – С Первым маем тебя! Отличная, браток, погода! Солнце, птички, солидарность! Возвращаюсь, понимаешь, с демонстрации и дай, думаю, зайду проведать старика Кукуева. Уж не болен ли? Чаем напоишь?

«Я б тебя с удовольствием уксусной эссенцией напоил», – мрачно про себя подумал Кукуев, а вслух радостно воскликнул:

– Напою, как же! Очень приятно! С Первым, как говорится, маем! Воистину! С Первым маем, с первым счастьем! Хм…

– Ну, браток, показывай свою берлогу.

– У меня, знаешь ли, того… не прибрано…

– Ерунда! Предрассудки! Веди, брат.

С этими словами Мериносов распахнул дверь в столовую и остолбенел.

– Гм! – сказал он, грозно нахмурившись. – Это что ж у тебя, браток, происходит тута? Никак, пасхальный стол? Религиозные предрассудки? Гости мелкобуржуазные? Ай-ай-ай! Не ожидал я этого от тебя, хоть ты и беспартийный!

– Да что вы, товарищ! Помилуйте! – бледно засуетился Кукуев. – Какой же это, извините, пасхальный стол? Какие ж это мелкобуржуазные гости? Вы меня просто удивляете такими словами…

– А что ж это?

– Это-с? Так себе. Маленький первомайский… гм… митинг… Кружок, так сказать.

– Кружок?

– Вот именно… Кружок… Кружок в некотором роде, по изучению качества продукции. Хе-хе!.. А вот это, товарищ Мериносов, все экскурсанты…

Кукуев хлопнул себя по ляжкам и радостно воскликнул:

– Вот именно! Первомайский кружок! По изучению качества продукции!

Мериносов подозрительно подошел к пасхальному столу и мрачно спросил:

– А почему тут куличи расставлены?

– Помилуйте, товарищ Мериносов! Какие же это куличи? Не куличи это, а образцы кондитерской продукции Моссельпрома. На предмет исследования…

– Ну разве что на предмет исследования. А почему на этой продукции «Х.В.» написано? – подозрительно заинтересовался Мериносов.

– «Х.В.»… Это так… сокращенное название: Х – хозяйственное, В – возрождение, а вместе – хозяйственное возрождение.

– Гм!.. Ну разве что хозяйственное возрождение. А почему на этом самом «хозяйственном возрождении» стоит сахарный барашек? В каких это смыслах?

– Барашек?.. Какой барашек? Разве это барашек? Вот история! А я, знаете ли, впопыхах как-то не заметил. Впрочем, это не барашек, а модель туркестанской тонкорунной овцы…

Мериносов сел.

– Прошу вас! Не угодно ли кусочек ветчинки?

– А почему ветчинки? Что это за кружок, в котором экскурсантов угощают ветчинкой?

– Помилуйте! Зачем же обязательно «угощают»? Не угощают, а дают на экспертизу. Определить качество. Не желаете ли, например, определить качество этой паюсной икорки? Астраханская продукция. Экспортный товар. Но предварительно усиленно рекомендуем для анализа пробирочку зубровки.

– Пожалуй, – хмуро сказал Мериносов, – от пробирочки не откажусь.

– Вот и прекрасно. И я с вами за компанию исследую колбочку рябиновой. Ваше здоровье! За «хозяйственное возрождение»!

– Воистину возрождение!

– Госп… товарищи! Что ж вы перестали, это самое, анализировать? Ну как вы находите, товарищ Мериносов, качество зубровки?

– Невредное качество. Только, кажись, градусов маловато в продукции. И как будто бы наблюдается известный процент сивушных масел.

– А вы возьмите для анализа пробу солененьких грибков! Всякое сивушное масло отобьет. Может быть, кусочек сельскохозяйственного поросеночка исследуете?

– Нет, уж вы мне лучше дайте исследовать вон той консервированной рыбки.

– А мне, пожалуйста, подвиньте образец продукции Госспирта! Налейте-ка реторточку. Ваш… здоровье…

– Граждане! Что же вы… Анализируйте поросенка с хреном! По мензурке Винторга…

– В… ви-но-ва-ат! А что это у вас тут, на блюде? Небось крашеные яйца? Опиум? Предрассудок?

– Помилте-с! Разве яйца предрассудок?

– А п… почему они р… разноцветные… красненькие, синенькие, ж-желтенькие… ик… з-зелененькие?

– Это-с образцы красок продукции Анилинтреста.

– Ага! В таком случае дайте мне вон тот лиловенький образчик. Мерси! И рябиновой не мешало бы еще исследовать пробирочку. А то мне все кажется, что пр-родукция у нее к-какая-то ст-странноватая! Ваш… здоровье… Ви-но-ва-ат! А п-почему травка тут стоит? В виде горки… Предрассудки?

– Показательная травка, товарищ Мериносов! Клевер.

– Желаю исследовать п-показательную т-травку!

– Помилте! Кто же клевер анализирует? Это вам не колбаса! Вот телятины кусочек проанализируйте. Рекомендую. Замечательное качество!

– Пр-родукции?

– Продукции.

– Ну-ну, так анализнем по этому поводу еще по колбочке очищенной!

– Смотри, Вася, ты уж и так наанализался порядочно!..

– Ер-рунда! Христос в-воскр… Воистину возрождение! С Первым м… м… м…

Поздно вечером выходя от Кукуева, Мериносов долго держался в передней за вешалку и говорил:

– Я т-тебя, Кукуев, сразу р-раску-сил. Небось это самое… А на самом деле – то с-самое! Я, браток, тебя насквозь виж-жу. У т-тебя все качество пр-родукции на уме… Кабинет завел экс-пер-им-ментальный. Выслужиться хоч-чешь? Старайся, браток! Нам спецы нужны… Ик!

Где-то гудели первомайские колокола…

1926 г.
[Катаев 1969]

Приложение 3

М.А. Булгаков

Главполитбогослужение

Конотопский уисполком по договору 23 июля 1922 г. с общиной верующих при ст. Бахмач передал последней в бессрочное пользование богослужебное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему Зап. ж. д. зданию, в коем помещается жел.-дорожная школа.

…Окна церкви выходят в школу.

Из судебной переписки

Отец дьякон бахмачской церкви, выходящей окнами в школу, в конце концов не вытерпел и надрызгался с самого утра в день Параскевы Пятницы и, пьяный как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь.

– Отец дьякон! – ахнул настоятель, – ведь это же что такое?.. Да вы гляньте на себя в зеркало: вы сами на себя не похожи!

– Не могу больше, отец настоятель! – взвыл отец дьякон, – замучили, окаянные. Ведь это никаких нервов не х-хва… хва… хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту.

Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу.

– Верите ли, вчера за всенощной разворачиваю требник, а перед глазами огненными буквами выскакивает: «Религия есть опиум для народа». Тьфу! Дьявольское наваждение. Ведь это ж… ик… до чего доходит? И сам не заметишь, как в ком… ком… мун… нистическую партию уверуешь. Был дьякон, и ау, нету дьякона! Где, спросят добрые люди, наш милый дьякон? А он, дьякон… он в аду… в гигиене огненной.

– В геенне, – поправил отец настоятель.

– Один черт, – отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь, – одолел меня бес!

– Много вы пьете, – осторожно намекнул отец настоятель, – оттого вам и мерещится.

– А это мерещится?.. – злобно вопросил отец дьякон.

– Владыкой мира будет труд!! – донеслось через открытые окна соседнего помещения.

– Эх, – вздохнул дьякон, завесу раздвинул и пророкотал: – Благослови, владыка!

– Пролетарию нечего терять, кроме его оков!

– Всегда, ныне и присно и во веки веков, – подтвердил отец настоятель, осеняя себя крестным знамением.

– Аминь! – согласился хор.

Урок политграмоты кончился мощным пением «Интернационала» и ектений:

– Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…

– Мир всем! – благодушно пропел настоятель.

– Замучили, долгогривые, – захныкал учитель политграмоты, уступая место учителю родного языка, – я – слово, а они – десять!

– Я их перешибу, – похвастался учитель языка и приказал:

– Читай, Клюкин, басню.

Клюкин вышел, одернул пояс и прочитал:

Попрыгунья стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела…

– Яко Спаса родила!! – грянул хор в церкви.

В ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане.

Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец настоятель.

– Ну их в болото, – ошеломленно хихикая, молвил учитель, – довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом.

Отец настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением:

– Отец дьякон заболел внезапно и… того… богослужить не может.

Скоропостижно заболевший отец дьякон лежал в приделе алтаря и бормотал в бреду:

– Благочестив… самодержавнейшему государю наше… Замучили, проклятые!..

– Тиш-ша вы, – шипел отец настоятель, – услышит кто-нибудь, беда будет…

– Плевать… – бормотал дьякон, – мне нечего терять… ик… кроме оков.

– Аминь! – спел хор.

* * *

Примечание «Гудка»: В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство?

М. Б.

1924 г.
[Булгаков 1989, 2а]

Приложение 4

Е.И. Замятин

Слово предоставляется товарищу Чурыгину

Уважаемые гражда́не – и тоже гражданочки, которые там у вас в самом заду смеются, не взирая на момент под названием вечер воспоминаний о революции. Я вас, гражда́не, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, так прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.

Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то у вас тут все как по-писаному идет, а это неписаное, но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.

Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города,

и жизнь происходит очень темная. Конечно, и я был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию – ну, теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке – царство ему небесное! – было годов этак двадцать пять, и кроме того он был ростом очень длинный, однако грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой – это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.

Но как всё это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почем зря, особенно одна с копьем, вроде бог – конечно, не наш православный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни с фонариками, а наши бабы стоят и сквозь забор пялятся, и Степка тоже.

Степка – он не то что шаболдник был или что, а так вроде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все ему завидуют сзаду и спереду, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а, можно сказать, отбросы общества – или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками псалтырь читала.

Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: «Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?» Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идет. Ну, тут он меня измутыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались – насилу отдох.

А Степка утром – папаше в ноги: «Отпустите, говорит, меня в монастырь. Я, говорит, не могу, как вы, жить ежедневно». А папаша ему произнес: «Ты, говорит, Степка, практический дурак и боле ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону». Степка начал было против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной – он и говорит Степке: «А в писании-то в твоем что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должон. Вот это действительно святые слова». Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.

И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков, как телухи, ревут, и притом мороз.

В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои первой степени с Георгием и вскорости жди меня обратно. Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей – глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие – не слыхать, только пар из роту клубками ввиду мороза.

Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: «Надо повзгодить, покуда он там с своей бабой произведет свидание». И только он это сказал – егорова баба к нам сама ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голосом: «Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться». Ну, думаем, должно быть, исколотил, – надо вступиться за женское существо. Сполоснули руки, пошли.

Входим, глядим – самовар кипит, на лавке постель изделана, всё даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да

только как стоит: к сундуку прислонен вроде какой куль овса, и голова у него – наровнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны.

Обомлели мы – стоим безо всяких последствий. Спустя Егор засмеялся нехорошо – так что у меня даже зубы заныли – и говорит нам: «Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь на бабу меня кладите при вашей помощи». И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот этот вот прищемил, но даже никакой примерной боли не чую: иду – и всё в глазах воображение Егора у сундука.

Вечером в егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. Егор – под иконами на лавке, к стенке прислонен ли стоит, ли сидит – уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собравшись – все на него ужахаются и молчат, и он молчит, курит, а я возле печки, и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шуршат.

Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спиртной предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только это налил другой, как чей-то мальчонка с улицы вкатился и кричит с удовольствием: «Барин! Барин!» Глядим – правильный факт: барин Тарантаев в дверях. Бритый весь, и дух от него очень роскошный – видать, пищу легкую принимает. Кивнул нам эдак – и прямо к Егору: «Ну, говорит, Егор, поздравляю, поздравляю». А Егор лицо ухмыльнул на один бок неприятно и произнес: «А позволю себе: с чем вы меня поздравляете?» Барин ему ответственно говорит: «Ввиду, что ты есть гордость и герой, приявший за отечество». А сам дерюжку приподнял, какою были закрыты у Егора нижние места, и нагнулся носом, глядит.

Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел – да как по шее его дряпнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху́ ткнул Егора,

который набок, как куль, а подняться не может, с криком: «Бей его! Бей!» Я в составе других подскочил к барину, сердце у меня, как заячий хвост, трясется, и вот ничего мне не надо – только в глотку ему вцепиться. Барин Тарантаев, красный, рот разинул – сказать, но об наши ненавистные глаза обстрекнулся, как в роде об крапиву – и бегом в дверь.

Под напором этой победы мужики затихли и Егору говорят, что ты действительно герой первой степени. Егор, конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму присел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам и шмякнуло. «Но мы, говорит, вскорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам беспрекословно известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет». Тут как это услыхали наши – ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам – крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик. И вот, граждане, конечно, про этого Григория Ефимыча я теперь понимаю вполне целесообразно, но тогда у меня от этого известия прямо пульс начался.

Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил барина по шее, то вышел у нас с этим пауком натянутый разрыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный черкес с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в усадьбу ходили насчет газет и прочего, а теперь живем в полном лесу и ничего не знаем, какие события на далеком шаре земли, например, в Петербурге.

И так своевременно происходит бывшее Рождество Христово и масленица, мороз переменный. И на масленице папаша получает из города от Степки внезапное письмо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не было и,

можно сказать, один читаемый человек Егор, то к нему народу собралось труба – степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет бога – это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло одно значительное убийство и потому ждите – вскорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично.

Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: «А что, кричит, я вам насчет Григория Ефимыча-то говорил? Это его работа, уж это уж будьте спокойны!»

Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет бога ввиду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако, чуем – это все не зря, и действительно ждем. Чего ждем – не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим – про Григория Ефимыча.

В течение времени этак происходит день или два и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная естафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится – от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий и он говорит: «Это – оно самое, начинается. Теперь глядите за усадьбой невступно и мне докладайте».

На случай часовых поставили меня да еще одного – горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и притом все слыхать, какое на дворе в усадьбе волнение и собаки, и мы трясемся. Спустя глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку, просто кричит: «Але!» И, значит,

санки – в одну сторону, а этот конный – обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся и я – прямо как в виде алкоголя – сам не знаю, чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» — и лошадью мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, говорю, ничего, а вот у вас что?» – «Это, говорит, не касается. Але!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, говорю, насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возражает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой – тю-тю: его, слава богу, давно пристрелили!» – и при этом скачет в направлении.

Тут я что есть мочи – к Егору. В избе у него – полное присутствие наших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал докладать, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу – все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение этого прискорбного антракта Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.

Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в Питере происходит торжество и юбилей революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, наши отдаленные звуки в полной связи с вами, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошелку с сеном и поставили на розвальни. Спустя, Егор объявил из кошелки, что, значит, часы пробили и больше это невозможно, и мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу, и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а, может быть, он еще, бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег

на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как вроде у цепного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.

Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице, и вы лучше без печальных последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошелки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели, и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно сломаем.

Тут мы слышим молчание с шепотом, потом заскрипели ворота – открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошелке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит вовсю к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: «Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, говорит, мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах ты, такой-сякой!» – и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, говорит, тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».

Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был внутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне

живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.

Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками – вот этак вот, вроде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»

Что, как – не знаем и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрился возле статуи на скамейку, варежкой слезы утирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили, и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему Евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошелки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с богом – круши весь их роскошный бюждет!»

Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил в статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего трупа и говорит: «Это ни в чем невиноватая драгоценная статуя, и я, может быть, ее вез сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».

И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и он говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется

его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю в роде знамения и предлагаю обнажить шапки».

Я вас, граждане, кратко прошу принять, как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится – индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошелкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.

А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошелке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!»

Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка – незначительный дымок. И, может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела – и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.

Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклематься не поспели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, и затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в

него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за всё!»

Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака, и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.

В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд, с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает псалтырь, и народ с разными слезами.

Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя, приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч или, вкратце, Гришка – был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.

И в заключение я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь они имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава богу, существует на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, гражда́не, в ваши неизвестные ряды.

1927 г.

[Замятин 1989в: 452-460]

Приложение 5

В.В. Маяковский

О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена:
«Газетчики,
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании
статейной формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте, –
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
– «Пуанкаре терпит фиаско». –
Задумались.
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
– Слушай, Петь,
с «фиаской» востро́ держи ухо:
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.
Даже Стиннеса –

и то! –
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должнó.
Понимаешь, дура?! –

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидавáя картуз,
его называли –
Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
– О французском наступлении в Руре имеется?
– Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея».
– Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? –
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,

каждое село.
«Эссен есть –
Апогея нету!
Деревушка махонькая, должно быть, это.
Верчусь –
аж дыру провертел в сапоге я –
не могу найти никакого Апогея!»
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец –
товарищ Петров взял слово:
– Сказано: до **своего** дошли.
Ведь не до **чужого**?!
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» – нам не надо. –

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете – не гоже.

1923 г.
[Маяковский 1957: 64-66]

Приложение 6

М.М.Зощенко

Обезьяний язык

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси – всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой – беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый ещё мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

– А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

– Пленарное, – небрежно ответил сосед.

– Ишь ты, – удивился первый, – то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

– Да уж будьте покойны, – строго ответил второй. – Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался – только держись.

– Да ну? – спросил сосед. – Неужели и кворум подобрался?

– Ей-богу, – сказал второй.

– И что же он, кворум-то этот?

– Да ничего, – ответил сосед, несколько растерявшись. – Подобрался, и всё тут.

– Скажи на милость, – с огорчением покачал головой первый сосед. – С чего бы это он, а?

Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

– Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Всё как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

– Не всегда это, – возразил первый. – Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да – индустрия конкретно.

– Конкретно фактически, – строго поправил второй.

– Пожалуй, – согласился собеседник. – Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

– Всегда, – коротко отрезал второй. – Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься...

На трибуну взошёл человек и махнул рукой. Всё смолкло. Только соседи мои, несколько разгорячённые спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:

– Это кто ж там такой вышедши?

– Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простёр руку вперёд и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным,

туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причём второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он всё же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

1925 г.

[Зощенко 1986, 1: 264-266]

Библиографический список

Специальные издания

1. Аверинцев 1987а – Аверинцев С. С. Иисус Христос // Мифы народов мира: в 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 490–504.

2. Аверинцев 1987б – Аверинцев С. С. Антихрист // Мифы народов мира: в 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 85–87.

3. Аверьянов 1976 – Аверьянов А. Н. Динамика противоречий // Вопросы философии. 1976. № 5. С. 79–89.

4. Аврорин 1972 – Аврорин В. А. Двуязычие и школа // Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972. С. 49–62.

5. Адрианова-Перетц 1937 – Адрианова-Перетц В. П. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в. М.-Л., 1937. 264 с.

6. Алпатов 2003 – Алпатов В. М. Что такое языковая политика? // Мир русского слова. 2003. № 2. С. 20–26.

7. Андрианов и др. 1991 – Андрианов И. В., Вялкина Л. В., Лукина Г. Н., Сумникова Т. А., Улуханов И. С., Чурмаева Н. В. О словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.) // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991. Ч.I. С.279–285.

8. Аникст 1989 – Аникст А. Примечания // Свифт Дж. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. М., 1989. С. 334–350.

9. Апресян 1995 – Апресян Ю. Д. Проблема фактивности: *знать* и его синонимы // Вопросы языкознания. 1995. № 4. С. 43–63.

10. Аристотель 1978 – Аристотель. Категории // Аристотель. Соч. в 4 т. М., 1978. Т. 2. С. 51–90.

11. Афанасьев 1988 – Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово. М., 1988. 512 с.

12. Бабенко, Конторских 2013 – Бабенко Л. Г., Конторских А. В. Репрезентация образа России в программной речи кандидата в президенты (на материале предвыборной речи В. В. Путина) // Политическая лингвистика. 2013. № 4(46). С. 12–16.

13. Балашова 2014 – Балашова Л. В. Реализация концептов «свой-чужой» в российском политическом дискурсе начала XXI века // Политическая лингвистика. 2014. № 1(47). С. 40–50.

14. Баранников 1919 – Баранников А. Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы // Уч. зап. Самарского ун-та. 1919. Вып. 2-й. С. 64–80.

15. Бахтин 1986а – Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 250–296.

16. Бахтин 1986б – Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 297–325.

17. Бахтин 2010 – Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Бахтин М. М. Собр. соч. М., 2010. Т. 4 (2). С. 7–508.

18. Бенвенист 1973 – Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 448 с. (пер. Ю.Н. Караулова и др.).

19. Бердяев 1906 – Бердяев Н. Социализм как религия // Вопросы философии и психологии. М., 1906. С. 508–545.

20. Бердяев 1990 – Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. 446 с.

21. Биржакова 1981 – Биржакова Е. Э. Щеголи и щегольской жаргон в русской комедии XVIII века // Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981. С. 96–129.

22. Блинохватова 2005 – Блинохватова В. М. Русско-французский билингвизм российского дворянства первой половины XIX века (на материале писем): автореф. дис. … канд. филол. наук: Ставрополь, 2005. 24 с.

23. Блягоз 1982 – Блягоз З. У. Адыгейско-русское двуязычие. Майкоп, 1982.

24. Богатова 1984 – Богатова Г. А. История слова как объект русской исторической лексикографии. М., 1984. 255 с.

25. Бондалетов 1987 – Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987. 160 с.

26. Бондаренко 2013 – Бондаренко Е.Д. Советские сценарии имянаречения: диалог с традицией // Политическая лингвистика. 2013. № 4 (46). С. 166–171.

27. Брагинская 1988 – Брагинская Н. В. Календарь // Мифы народов мира: в 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 612–615.

28. Бринёв 2005 – Бринёв К. И. Манипулятивное функционирование языка в юрислингвистическом и собственно лингвистическом аспектах // Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное функционирование языка. Барнаул: АлтГУ, 2005. С. 156–167.

29. Будагов 1965 – Будагов Р. А. Введение в науку о языке. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1965. 492 с.

30. Будаев, Чудинов 2007 – Будаев Э. В., Чудинов А. П. Метафора в политическом интердискурсе. Екатеринбург: УрГПУ, 2007. 208 с.

31. Булгаков 1902 – Булгаков С. Н. Основные проблемы теории прогресса // Проблемы идеализма. М., 1902. С. 1–47.

32. Булгаков 1953 – Булгаков С. Н. Философия имени. Paris, 1953. 230 с.

33. Булгаков 1991 – Булгаков С. Н. На пиру богов // Наше наследие. 1991. № 1.

34. Булгаков 1994 – Булгаков С. Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М., 1994. 415 с.

35. Булгаков 1997 – Булгаков С. Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб., 1997. 589 с.

36. Бураго 1992 – Бураго С. Б. Человек, язык, культура: становление смысла // Язык и культура. Киев, 1992. С. 3–10.

37. Бурукина 2000 – Бурукина О. А. Культура русской речевой коммуникации на современном этапе // Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий. Екатеринбург, 2000. С. 32–34.

38. Буслаев 1848 – Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка по Остромировому евангелию. М., 1848. 210 с.

39. Буслаев 1941 – Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. Л., 1941. 248 с.

40. Васильев 1992 – Васильев А. Д. Динамика слова как следствие внеязыковых факторов // Язык и культура. Киев, 1992. С. 55–56.

41. Васильев 1993 – Васильев А. Д. Судьбы заимствований в русской лексике. Красноярск, 1993. 92 с.

42. Васильев 1994 – Васильев А. Д. Историко-культурный аспект динамики слова. Красноярск, 1994. 196 с.

43. Васильев 1995 – Васильев А. Д. О мифотворчестве средствами массовой информации // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. СПб., 1995. С. 49.

44. Васильев 1997 – Васильев А. Д. Введение в историческую лексикологию русского языка. Красноярск, 1997. 104 с.

45. Васильев 2000 – Васильев А. Д. Слово в телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления в российском телевещании. Красноярск, 2000. 166 с.

46. Васильев 2003 – Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления. М.: Флинта-Наука, 2003. 224 с.

47. Васильев 2007а – Васильев А. Д. Манипулятивные игры в слова // Филология и человек. 2007. № 4. С. 67–77.

48. Васильев 2007б – Васильев А. Д. Современное российское языковое законодательство. Красноярск, 2007. 152 с.

49. Васильев 2008 – Васильев А. Д. Российская языковая политика 1991-2005 гг. Красноярск, 2008. 176 с.

50. Васильев 2010 – Васильев А. Д. Манипулятивная эвфемизация как атрибут дискурса СМИ // Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева. 2010. № 1. С. 150–161.

51. Васильев 2012 – Васильев А.Д. Вербальная магия российского официоза // Политическая лингвистика. 2012. № 4 (42). С. 11–16.

52. Васильев 2013 – Васильев А. Д., Игры в слова: манипулятивные операции в текстах СМИ. СПб., 2013. 660 с.

53. Васильев 2013а – Васильев А. Д. Интертекстуальность: прецедентные феномены. М., 2013. 342 с.

54. Васильев 2014 – Васильев А. Д. Современное мифотворчество и российская телевизионная словесность. М., 2014. 240 с.

55. Васильев 2017 – Васильев А. Д. Лингвокультурные процессы и возможности их прогнозирования. М., 2017. 264 с.

56. Васильев 2018 – Васильев А. Д. Очерки политической лингвистики. М., 2018. 144 с.

57. Васильев А.Д. Превращения слов. Современные лексико-семантические процессы. – Красноярск, 2018. – 316 с.

58. Васильев А.Д., Васильева С.П. *Русский – российский?* Вопрос идентификации и самоидентификации // Вестн. Красноярск. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. – № 1(51). – 2020. – С. 152–160.

59. Васильев, Васильева, Тимченко 2015 – Васильев А. Д., Васильева С. П., Тимченко А. Г. Этнокультурное сознание и самосознание сибиряка, отраженное в языке. Красноярск, 2015. 204 с.

60. Васильев, Веренич 2005 – Васильев А. Д., Веренич Т. К. Динамика деэкзотизации заимствований в научно-лингвистическом и обыденном языковом сознании. Красноярск, 2005. 248 с.

61. Васильева 2000 – Васильева С. Г. Принцип относительности индивидуальных языковых систем Е. Д. Поливанова и типология билингвизма личности // Пятые Поливановские чтения.Смоленск, 2000. Ч. 1. С. 20–26.

62. Васильева 2005 – Васильева С.П. Русская топонимия Приенисейской Сибири: картина мира. Красноярск, 2005. 240 с.

63. Вафеев 2001 – Вафеев Р. А. Двуязычие как многоаспектный объект билингвологии // Славянские истоки словесности и культуры. Тюмень, 2001. Ч. 2. С. 38–51.

64. Вендина 2002 – Вендина Т. И. Введение в языкознание. М., 2002. 288 с.

65. Вепрева 2002 – Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. Екатеринбург, 2002. 380 с.

66. Ветвицкий 1966 – Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание: пособие для учителей. М.-Л., 1966. 156 с.

67. Винничук 1988 – Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 496 с. (пер. В.К. Ронина).

68. Виноградов 1990 – Виноградов В. А. Диглоссия // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136.

69. Волконский 1992 – Волконский С. М. О русском языке // Русская речь. 1992. № 4. С. 46–47.

70. Гаврилова 2012 – Гаврилова М. В. Некоторые черты речевого портрета первого президента России Б. Н. Ельцина // Политическая лингвистика. 2012. № 4(42). С. 17–22.

71. Герд 2009 – Герд А. С. Язык как символ // ЯЛИК. Ноябрь 2009. № 79. С. 1–2.

72. Голев 2007 – Голев Н. Д. Самоопределение юридической лингвистики в России // Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское право. Кемерово-Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. С. 7–13.

73. Голев 2008 – Голев Н. Д. Особенности современного обыденного метаязыкового сознания в зеркале обсуждения вопросов языкового строительства // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 5–17.

74. Григорьев 1998 – Григорьев А. Б. Утешение филологией // Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. М., 1998. С. 365–376.

75. Григорьева 2004 – Григорьева Т. М. Три века русской орфографии. М., 2004. 456 с.

76.Грот 1873 – Грот Я. К. Филологические разыскания. СПб., 1873 / цит. по: Земская Е. А. Из истории русской литературной лексики XIX века // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1957. Т. IV. С. 5–64.

77.Губогло 2002 – Губогло М. Н. Представления о толерантности и толерантность представлений // Мир русского слова. 2002. № 2. С. 28–36.

78.Гудков 2004 – Гудков Д.Б. Проблема изучения и описания русского культурного пространства // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты. Барнаул, 2004. Вып. 8. С. 24–33.

79.Гудкова 1989 – Гудкова В. В. Комментарии // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 663–703.

80.Гудкова 1990 – Гудкова В. В. Комментарии // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 620–630.

81.Гудкова, Земская 1990, 5 – Гудкова Е. А., Земская Е. А. Комментарии // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 670–729.

82.Гумбольдт 1984 – Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 396 с. (пер. Г.В. Рамишвили).

83.Гусар 2008 – Гусар Е. Г. Смена или смешение парадигм? К вопросу о современной системе ценностей // Человек-коммуникация-текст. Барнаул, 2008. Вып. 8. С. 31–38.

84.Гутман 1977 – Гутман Е. А., Литвин Ф. А., Черемисина М. И. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на материале русского, английского и французского языков) // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 147–165.

85.Дарк 1990, 4 – Дарк О. Примечания // Набоков В. В. Собр. соч. в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 463–476.

86.Даурова 1964 – Даурова Л. Х. Двуязычие, его виды и этапы развития // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. 1964. № 240. С. 3–4.

87.Денисов 1976 – Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы её описания. 2-е изд. М., 1993. 248 с.

88.Дмитриев 1994 – Дмитриев А. Н. Русская душа, русская идея и общественное бессознательное // Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем. Самара, 1994. С. 11–13.

89.Дорошевский 1973 – Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973. 286 с. (пер. В.Ф Коновой).

90. Дубичинский 1994 – Дубичинский В. В. Искусство создания словарей: конспекты по лексикографии. Харьков, 1994. 102 с.

91. Дуров 1989 – Дуров В. «Муза, идущая по земле» // Римская сатира. М., 1989. С. 5–30.

92. Дьяконов 1990 – Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.

93. Дюпре 1986 – Дюпре К. Джон Голсуори. Биография. М., 1986.

94. Евнин 1957 – Евнин Ф. И. Примечания // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. М., 1957. Т. 7. С. 707–757.

95. Елеонская 1979 – Елеонская А. С. Комментарий // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие сочинения. Иркутск, 1979. С. 302–308.

96. Ерофеев 1990 – Ерофеев В. В. Русская проза Владимира Набокова // Набоков В. В. Собр.соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 3–32.

97. Жмакин 1880 – Жмакин В. И. Русское общество XVI века. М., 1880. 102 с.

98. Жуковская 1988 – Жуковская Л. П. От редактора // Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. Изд. 2-е. М., 1988. С. 3–6.

99. Задорожный 1996 – Задорожный М. И. Языковая лояльность и её истоки: Л. В. Щерба и У. Вайнрайх о мотивах лексического заимствования // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. М., 1996. С. 178–182.

100. Залевская 1988 – Залевская А. А. Некоторые проявления специфики языка и культуры испытуемых в материалах ассоциативных экспериментов // Этнопсихолингвистика. М., 1988. С. 34–48.

101. Замкова 1975 – Замкова В. В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в. Л., 1975. 223 с.

102. Зограф 1990 – Зограф Г. А. Многоязычие // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 303.

103. Золотова 2011 – Золотова В. А. Объективация и динамика концептов в российских гимнах (XIX–XXI вв.): автореф. … дис. канд. филол. наук. Вологда, 2011. 22 с.

104. Иванов 1894 – Иванов А.В. Руководство к изъяснению Священного писания Нового Завета. Обозрение Четвероевангелия и книги Деяний Апостольских. Изд. 2-е. СПб., 1894. 596 с.

105. Иванов 1907 – Иванов А. В. Руководство к изучению священных книг Нового Завета. Обозрение апостольских посланий и Апокалипсиса. Изд. 5-е, испр. СПб., 1907. 606 с.

106. Иванов 1969 – Иванов В. В. Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии // Труды по знаковым системам IV. Тарту, 1969. С. 60–74.

107. Иванов 1976 – Иванов Г. В. Примечания // Салтыков-Щедрин М. Е. Избранное. М., 1976. С. 584–592.

108. Иванов 1986 – Иванов В. В., Михайловская Н. Г., Панькин В. М. Язык великого братства (Русский язык как средство межнационального общения народов СССР). М., 1986. 160 с.

109. Иванов 1987 – Иванов В. В. Дуалистические мифы // Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1. С. 408–409.

110. Иванов, Топоров 1965 – Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период). М., 1965. 248 с.

111. Иванова 2011 – Иванова А. И. «Мы и Россия сегодня»: лингвистический анализ твиттер-платформы президента Дмитрия Медведева // Политическая лингвистика. 2011. № 2(36). С. 104–107.

112. Ильс, Янченко 2007 – Ильс К., Янченко В. В начале слово. Заметки о наших замечательных словах. СПб., 2007. 230 с.

113. Ионин 2012 – Ионин Л. Политкорректность: дивный новый мир. М., 2012. 112 с.

114. История 1981 – История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века. М., 1981. 376 с.

115. История ВКП(б) 1953 – История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). М., 1953. 352 с.

116. История КПСС 1970 – История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1970. 736 с.

117. Истрин 1988 – Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1988. 240 с.

118. Иудаистическая мифология 1987, 1 – Иудаистическая мифология // Мифы народов мира: в 2 т. М., Т. 1. 1987. С. 581–591.

119. Казаков 2013 – Казаков Г. А. Религиозный пафос советских гимнов // Политическая лингвистика. 2013. № 4 (46). С. 196–203.

120. Каптерев 1890 – Каптерев П. Ф. Из истории души. Очерки по истории ума. СПб., 1890. 260 с.

121. Карамзин 2010 – Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 2010. 1024 с.

122. Кара-Мурза 2002 – Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., 2002. 832 с.

123. Карамышева 2000 – Карамышева И. В. Билингвизм как проблема и право // Язык образования и образование языка. В. Новгород, 2000. С. 134–136.

124. Караулов 1976 – Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 264 с.

125. Караулов 1981 – Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981. 368 с.

126. Касарес 1958 – Касарес Х. Введение в современную лексикографию. М., 1958. 354 с. (пер. В.Д. Арутюновой).

127. Касаткин 1978 – Касаткин А. А. Джанфранческо Страпарола из Караваджо и его новеллы // Страпарола. Приятные ночи. М., 1978. С. 389–418.

128. Кашкин 1960 – Кашкин И. Роберт Льюис Стивенсон // Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ. Чёрная стрела. – М., 1960. – С. 421–430.

129. Каушанский 1993 – Каушанский П. Л. К проблеме соотношения культуры и религии // Язык и культура. 2-я междунар. конф. Доклады. Киев, 1993. С. 3–9.

130. Келдыш 1989 – Келдыш В. А. Е. И. Замятин // Замятин Е. И. Избранные произведения. М., 1989. С. 12–36.

131. Ключевский 1989 (и др.) – Ключевский В. О. Лекции по русской истории // Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. М., 1987–1989. Т. 1–5.

132. Ключевский 1990, IXа – Ключевский В. О. Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени // Ключевский В. О. Соч. В 9 т. Т. 9. – М., 1990. – С. 28-55.

133. Ключевский 1990, IXб – Ключевский В. О. Недоросль Фонвизина // Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 55–77.

134. Ключевский 1990, IXв – Ключевский В. О. О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица // Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 108–117.

135. Ковалевская 1978 – Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка. М., 1978. 384 с.

136. Коваленко 1979 – Коваленко С. А. Комментарии // В.В. Маяковский. Избранное. М., 1979. С. 661–724.

137. Ковтун 1971 – Ковтун Л. С. О неявных семантических изменениях (к истории значений слов) // Вопросы языкознания. 1971. № 5. С. 81–91.

138. Кодухов 2012 – Кодухов В. И. Введение в языкознание. – 2-е изд. М., 2012. 288 с.

139. Колесов 1995 – Колесов В. В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской интуиции // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. С. 13–24.

140. Колесов 1999 – Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова …». СПб., 1999. 368 с.

141. Колесов 2001, 2 – Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове: в 5 кн. Добро и зло. СПб., 2001. Кн. 2. 304 с.

142. Колесов 2004б – Колесов В. В. Слово и дело: Из истории русских слов. СПб., 2004. 703 с.

143. Колесов 2004в – Колесов В. В. Язык и ментальность. СПб., 2004. 240 с.

144. Колесов 2014 – Колесов В. В. О корпоративной чести и научном достоинстве // ЯЛИК. 2014. № 91. С. 9–10.

145. Колесов 2016 – Колесов В. В. Концептуальное поле русского сознания: *правда права* и *справедливость* / / Политическая лингвистика. 2016. № 6 (60). С. 38–52.

146. Колесов В. В. Концептуальное поле русского сознания: концепты *власть*, *закон* и *народ* // Политическая лингвистика. 2018. № 3(69). С. 10–23.

147. Колесов 2004а – Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. СПб., 2004. Кн. 3. 400 с.

148. Колшанский 1990 – Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990. 108 с.

149. Комлев 2003 – Комлев Н. Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. 2-е изд. М., 2003. 216 с.

150. Комментарии 2010 – Комментарии // Бахтин М. М. Собр. соч. М., 2010. Т. 4 (2).

151. Косериу 1963 – Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. – М., 1963. – С. 143-343.

152. Косидовский 1990 – Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов. М., 1990. 479 с.

153. Костомаров 1959 – Костомаров В.Г. Откуда слово «стилянга»? // Вопросы культуры речи. М., 1959. Вып. 2. С. 168–175.

154. Котелова Н. З. Текстовые лексико-фразеологические материалы как лингвистический источник // Национальные лексикографические фонды. СПб., 1995. С. 11–18.

155. Котков 1980 – Котков С. И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980. 286 с.

156. Кощей, Чувакин 2006 – Кощей Л. А., Чувакин А. А. Homo Loquens как исходная реальность и объект филологии: к постановке проблемы // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты. Барнаул: АлтГУ, 2006. С. 136–153.

157. Кравченко 2008 – Кравченко А. В. Когнитивный горизонт языкознания. Иркутск, 2008. 320 с.

158. Крысин 1993 – Крысин Л.П. Языковое заимствование как проблема диахронической социолингвистики // Диахроническая социолингвистика. М., 1993. С. 131–151.

159. Крысько 1990 – Крысько В. Б. Семантическое развитие глаголов обучения в истории русского языка // Вопросы исторической семантики русского языка. Лексика и синтаксис. Калининград, 1990. С. 58–65.

160. Кузанский 1979, 1 – Кузанский Николай. Об учёном познании // Кузанский Николай. Соч.: в 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 48–182.

161. Кузанский 1980, 2 – Кузанский Николай. Берилл // Кузанский Николай. Сочинения. Т. 2. М., 1980. С. 119–189.

162. Куликов 1991 – Куликов С. Нить времён. М., 1991. 288 с.

163. Купина 1995 – Купина Н. А. Тоталитарный язык. Словарь и речевые реакции. Екатеринбург-Пермь, 1995.

164. Ларин 1975 – Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X–середина XVIII вв.). М., 1975. 327 с.

165. Левинтон 1987 – Левинтон Г. А. Инициация и мифы // Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1. С. 543–544.

166. Леви-Строс 1983 – Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. 536 с. (пер. Вяч.Вс. Иванова).

167. Лексика 1981 – Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века. М., 1981. 359 с.

168. Лексика и фразеология 1981 – Лексика и фразеология «Моления» Даниила Заточника. Л., 1981. 232 с.

169. Лесскис 1990 – Лесскис Г. А. Комментарий // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 607–664.

170. Лихачёв 1979 – Лихачёв Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 183–213.

171. Лихачёв 1987 – Лихачёв Д. С. Заметки о русском // Лихачёв Д. С. Избранные работы. Л., 1987. С. 423–424.

172. Лобас 2009 – Лобас В. Ф. Постмодерн в постсоветском научном пространстве // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. Луганск-Цюрих-Женева, 2001. Вып. II. Ч. II. С. 78–87.

173. Ломоносов 1980 – Ломоносов М. В. Избранная проза. М., 1980. 512 с.

174. Ломоносов 1980 – Ломоносов М. В. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке // Ломоносов М. В. Избранная проза. М., 1980. С. 394–399.

175. Лосев 1982 – Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. 480 с.

176. Лосев 1991 – Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 23–192.

177. Лотман 1970 – Лотман Ю. М. Лекции по типологии культуры. Тарту, 1970. Вып. 1. 190 с.

178. Лотман 1974 – Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы. М., 1974. 22 с.

179. Лотман 1974 – Лотман Ю. М. Лекции по типологии культуры. Вып. 1. Тарту, 1970. 148 с.

180. Лотман 1983 – Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Изд. 2-е. Л., 1983. 416 с.

181. Лотман 1996 – Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. 464 с.

182. Лотман, Успенский 1975 – Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // УЗ Тартуского университета. Тарту, 1975. Вып. 358. С. 168–218.

183. Лотман, Успенский 1977 – Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XYIII века) // Уч.зап. ТГУ. Тарту, 1977. Т. 414. С. 3–36.

184. Львов 1975 – Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. 386 с.

185. Мадьярова 2003 – Мадьярова А. М. К вопросу о двуязычии // История и перспективы этнолингвистического и социокультурного взаимообогащения славянских народов. Тюмень, 2003. С. 131–136.

186. Макиавелли 1993 – Макьявелли Н. Государь // Жизнь Никколо Макьявелли. – СПб., 1993. – С. 246-316 (пер. Г. Муравьевой).

187. Манфред 1986 – Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. 4-е изд. М., 1986. 735 с.

188. Мейлах 1988, 2 – Мейлах М. Б. Элохим // Мифы народов мира.: в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 660.

189. Мейлах 1988, 2 – Мейлах М. Б. Яхве // Мифы народов мира: в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 687–688.

190. Миллер 1990 – Миллер Е. Н. Природа лексической и фразеологической антонимии. Саратов, 1990. 221 с.

191. Мирский 1999 – Мирский Э. М. Национальная идеология и язык // Высшее образование в России. 1999. № 3. С. 105–108.

192. Молчанов 1984 – Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984. 440 с.

193. Мохирева 2013 – Мохирева С. В. Актуализация религиозно-политического контекста в дискурсе вербального события // Политическая лингвистика. 2013. № 4. С. 117–121.

194. Мурзин 1994 – Мурзин Л. Н. Язык, текст и культура // Человек-текст-культура. Екатеринбург, 1994. С. 160–169.

195. Мысляков 1976 – Мысляков В. А. Примечания // Салтыков-Щедрин М. Е. Избранное. М., 1976. С. 606–609.

196. Непокупный 1986 – Непокупный А. В. (отв. ред.). Теория и методика ономастических исследований. М., 1986.

197. Никифорова 2013 – Никифорова О. О. Дискредитация противника в парламентских дебатах // Политическая лингвистика. 2013. № 4(46). С. 129–135.

198. Никонов 1974 – Никонов В. А. Имя и общество. М., 1974. 278 с.

199. Новиков 1974 – Новиков А. А. Антонимия в русском языке (Теория. Семантический анализ. Классификация антонимов): автореф. дис. … д-ра. филол. наук. М., 1974. 42 с.

200. Ожегов 1974 – Ожегов С. И. О трёх типах толковых словарей современного русского языка // Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 158–182.

201. Оксман 1956 – Оксман Ю. Г. Примечания // Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 11. С. 473–567.

202. Орлов 1955 – Орлов Вл. Александр Блок // Блок А. Соч.: в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. V–LVI.

203. Орлова 2000 – Орлова Н. В. Этические оценки // Язык. Человек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки (на материале русского языка). Омск, 2000. Ч. I. С. 47–58.

204. Осипов 2007 – Осипов Б. И. Речевая манипуляция и речевое мошенничество: сходство и различие // Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское право. Кемерово, Барнаул. 2007. С. 216–221.

205. Панов 1983 – Панов Е. Н. Знаки, символы, языки. 2-е изд., доп. М., 1983. 248 с.

206. Панькин, Филиппов 1992 – Панькин В. М., Филиппов А. В. Вместо Введения к «Контактологическому словарю» // Современные проблемы лексикографии. Харьков, 1992. С. 30–33.

207. Пауль 1960 – Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. 500 с. (пер. под ред. А.А. Холодович).

208. Петров 1991 – Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 1991. 328 с.

209. Платон 1970 – Платон. Сочинения: в 3 т.М., 1970. Т. 2. 612 с.

210. Поливанов 2001 – Поливанов Е. Д. Рецензия на книгу А. М. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет, 1917-1926» // Е. Д. Поливанов и его идеи в современном освещении. Смоленск, 2001. С. 335–339.

211. Поршнев 1973 – Поршнев Б. Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания. М. 1973. 24 с.

212. Поршнев 1979 – Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е. М., 1979. 232 с.

213. Потебня 1958 – Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. 1–2.

214. Потебня 1976а – Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 35–220.

215. Потебня 1976б – Потебня А. А. Язык и народность // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 253–285.

216. Потебня 1976в – Потебня А. А. Из записок по теории словесности // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 286–463.

217. Расторгуев 2003 – Расторгуев С. П. Философия информационной войны. М., 2003. 496 с.

218. Ревич 1974 – Ревич В. Сага о вебстерах // Саймак К. Город. М., 1974. С. 225–234.

219. Реформатская 1956 – Реформатская Н. В. Примечания // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 2. С. 485–512.

220. Рёш 1998 – Рёш О. Проблема стереотипов в межкультурной коммуникации // Россия и Запад: диалог культур. М., 1998. Вып. 6. С. 490–501.

221. Рождественский 2000 – Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. М., 1990. 381 с.

222. Романенко 2003 – Романенко А. П. Образ ритора в советской словесной культуре. М., 2003. 432 с.

223. Романенко 2004 – Романенко А. П. Русский литературный язык XX в.: культуроведческий аспект // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2004. С. 24–25.

224. Романенко 2008 – Романенко А. П. Советская герменевтика. Саратов, 2008. 166 с.

225. Романенко 2016 – Романенко А.П. Идиостиль Фазиля Искандера: лингвокультурологический аспект. Саратов, 2016. 144 с.

226. Рыбаков 1988 – Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. 784 с.

227. Савилова 2016 – Савилова С. Л. Новейшая иноязычная лексика в русском студенческом социолекте XXI века.: автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2016. 24 с.

228. Савченко 2009 – Савченко Л.Р. Слова *творческий* и *креативный* как явления дискурсивной квазисинонимии // Пред'явлення світу в гуманитарных дискурсах XXI с. Луганськ, 2009. С. 351–361.

229. Секретарёва 2005 – Секретарёва Е. В. Суггестивное воздействие в текстах массовой коммуникации // Юрислингвистика-8: русский язык и современное российское право. Кемерово; Барнаул, 2007. С. 267–276.

230. Семенюк 2001 – Семенюк О. А. Язык представителей власти в зеркале художественного текста // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. Луганск, 2001. Вып. 2. Ч. 1. С. 272–280.

231. Семенюк 2001 – Семенюк О. А. Язык эпохи и его отражение в сатирико- юмористическом тексте. Кировоград, 2001. 368 с.

232. Серебренников 1988 – Язык отражает действительность или выражает её знаковым способом? // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.

233. Синельникова 2002 – Синельникова Л. Н. «Гул языка»: о процессуальности бытия вербальной сферы // Структура и содержание связей с общественностью в современном мире. Луганск-Цюрих-Женева. 2002. Вып. III. С. 186–195.

234. Сковородников 1997 – Сковородников А. П. Народ и население: очерк современного публицистического словоупотребления // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Красноярск-Ачинск, 1997. Вып. 2.

235. Славкина 2006 – Славкина И.А. Образ «чужого» в истории русского языка. Красноярск, 2006. 212 с.

236. Смелянский 1990 – Смелянский А. Комментарии // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 4. С. 662–680.

237. Смирнов 1913 – Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. 242 с.

238. Смирнов 1959а – Смирнов А. Послесловие к «Троилу и Крессиде» // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 5. – М., 1959. – С. 621–630.

239. Смирнов 1959б – Смирнов А. Ричард III // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 1. – М., 1959. – С. 607–614.

240. Смирнов 1959в – Смирнов А. Уильям Шекспир // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 1. – М., 1959. – С. 7–83.

241. Соловьёв 1988 – Соловьёв С. М. Сочинения: в 18 кн. М., 1988–1993. Кн. I–XII.

242. Соловьёв 1994 – Соловьев В. Чтения о богочеловечестве. СПб., 1994. 528 с.

243. Сорокин 1965 – Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка (30-е – 90-е годы XIX века). М.-Л., 1965. 566 с.

244. Срезневский 1986 – Срезневский И. И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте // Срезневский И. И. Русское слово. М., 1986. С. 103–161.

245. Старовойт 1996 – Старовойт Ю. Л. Пережитки социализма и лексикография // Vocabulum et vocabularium. Харьков, 1996. Вып. 3. С. 37–39.

246. Стеблин-Каменский 1974 – Стеблин-Каменский М. И. Возможно ли планирование языкового развития? // Стеблин-Каменский М. И. Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 80–96.

247. Степанов 1990 – Степанов Г. В. Национальный язык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 325–326.

248. Степанов 1975 – Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975. 271 с.

249. Степанов 1991 – Степанов Ю. С. Некоторые соображения о проступающих контурах новой парадигмы // Лингвистика: взаимодействия концепций и парадигм. 1. Харьков, 1991. Вып. С. 9–10.

250. Степанов 2004 – Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. 3-е изд. М., 2004. 990 с.

251. Суперанская 2007 – Суперанская А. В. Новый русский язык // Духовная культура русской словесности. Тюмень, 2007. Ч. 1. С. 12–17.

252. Суспицына 2007 – Суспицына И. Н. Толерантность «в верхах» и «в низах» // Изучение русского языка и приобщение к русской культуре как путь адаптации мигрантов к проживанию в России. Екатеринбург, 2007. С. 71–73.

253. Тагильцева 2014 – Тагильцева Ю. Р. «Ой, а как вы это сделали?», или Фейк как приём информационной (сетевой) войны // Политическая коммуникация: перспективы развития научного направления. Екатеринбург, 2014. С. 241–243.

254. Тарасов 1977 – Тарасов Е. Ф. Социально-психолингвистические аспекты этнопсихолингвистики // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 38–54.

255. Тарасов, Сорокин 1977 – Тарасов Е. Ф., Сорокин Ю. А. Национально-культурная специфика речевого поведения // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 14–38.

256. Токарев 1988 – Токарев С. А. Обряды и мифы // Мифы народов мира: в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 235–237.

257. Толстой 1991 – Толстой Н. И. Язык и культура (Некоторые проблемы славянской этнолингвистики) // Русский язык и современность. Ч. I. М., 1991. С. 5–22.

258. Топоров 1988 – Топоров В. Н. Хаос // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 581–582.

259. Трубачёв 1984 – Трубачёв О. Н. Приёмы семантической реконструкции // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии: тезисы докладов. М., 1984. С. 47–51.

260. Трубачёв 1988 – Трубачёв О. Н. Этимология и славянская пракультура // Всесоюзная конференция «Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности и культуры». Л., 1988. С. 9–10.

261. Трубачёв 1992 – Трубачёв О. Н. О состоянии русского языка // Русская речь. 1992. № 5. С. 43–44.

262. Трубачёв 2004 – Трубачёв О. Н. Заветное слово. Взгляд лексикографа на проблемы языкового единства славян. М., 2004. 224 с.

263. Трубачёв 2005 – Трубачёв О. Н. В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. 3-е изд. М., 2005. 352 с.

264. Урнов, Сайтанов 1984 – Урнов Д. М., Сайтанов В. А. Монтаж мнений эпохи // Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 1984. С. 8–19.

265. Успенский 1969 – Успенский Б. А. Семиотические проблемы стиля в лингвистическом освещении // Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Вып. IV. С. 487–499.

266. Успенский 1982 – Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. 150 с.

267. Успенский 1996 – Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б. А. Избранные труды. Язык и культура. Изд. 2-е. М., 1996. Т. II. С. 67–161.

268. Ушаков 1991 – Ушаков Д. Н. Из дискуссии 20-х годов о культуре речи // Русская речь. 1991. № 4. С. 61–62.

269. Федосюк 2003 – Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 2003. 264 с.

270. Филин 1981 – Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. 328 с.

271. Филин 1982 – Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания. М., 1982. 336 с.

272. Филин 1984 – Филин Ф. П. Историческая лексикология русского языка. М., 1984. 175 с.

273. Флоренский 1989 – Флоренский П. Столп и утверждение истины // Флоренский П. Собрание сочинений. Paris, 1989. Т. IV. 812 с.

274. Флоренский 1993 – Флоренский П. Имена. Кострома, 1993. 319 с.

275. Флоря 1981 – Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 5–69.

276. Фролов 2005а – Фролов Н. К. Актуальные задачи защиты интересов государственного языка // Фролов Н. К. Избранные работы по языкознанию: в 2 т. Тюмень, 2005. Т. 1. С. 303–309.

277. Фролов 2005б – Фролов Н. К. Введение в региональную русскую антропонимику // Фролов Н. К. Избранные работы по языкознанию. В 2 т. Т. 1. Тюмень, 2005. С. 28–135.

278. Фролов 2005в – Фролов Н. К. Национально-культурные особенности реализации значения одобрения в различных языках // Фролов Н. К. Избранные работы по языкознанию: в 2 т.Тюмень, 2005. Т. 1. С. 327–336.

279. Фролов 2005г – Фролов Н. К. Новорусский сквернояз и экология языка // Фролов Н. К. Избранные работы по языкознанию: в 2 т. Тюмень, 2005. Т. 1. С. 310–312.

280. Фролов 2011 – Фролов Н.К. Краткий очерк истории письменных культур народов мира. Тюмень, 2011. 224 с.

281. Фромм 1989 – Фромм Э. Сумерки богов. М., 1989. 398 с. (пер. под ред. А. Яковлева).

282. Фрэзер 1983 – Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1983. 703 с. (пер. М. Рыклина).

283. Хан-Пира 1994 – Хан-Пира Э. И. Советский тоталитаризм и русский язык // Национально-культурный компонент в тексте и в языке. Ч. I. Минск., 1994. С. 16–18.

284. Хёйзинга 1997 – Хёйзинга Й. Homo ludens: Статьи по истории культуры. М., 1997. 416 с. (пер. Д.В. Сильверстова).

285. Цивьян 1990 – Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. 207 с.

286. Черняк 1984 – Черняк Е.Б. Судьи и заговорщики. – М., 1984. – 302 с.

287. Черняк 1988 – Черняк Е. Б. Вековые конфликты. М., 1988. 400 с.

288. Шайтанов 1989 – Шайтанов И. О. «… Но Русь была одна…» // Замятин Е. И. Мы. М., 1989. С. 3–21.

289. Шастина 2009 – Шастина И. А. Языковая категоризация этнической принадлежности (когнитивно-аксиологический аспект): автореф. дис. … канд. филол. наук. Иркутск, 2009. 22 с.

290. Шестаков 1990 – Шестаков В. Эволюция русской литературной утопии // Вечер в 2217 году. М., 1990. С. 5–21.

291. Шестаков 2005 – Шестаков С. А. Российский консерватизм: история и современность. Тюмень, 2005. 254 с.

292. Шмелёв 2003 – Шмелёв Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. Изд. 2-е. М., 2003. 244 с.

293. Шмелёва 1988 – Шмелёва Т. В. К проблеме национально-культурной специфики «эталона» сравнения // Этнопсихолингвистика. М., 1988. С. 120–124.

294. Щедровицкий 1988 – Щедровицкий Д. В. Чистилище // Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2. С. 632.

295. Щерба 1957 – Щерба Л. В. Опыт лингвистического толкования стихотворений // Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 26–44.

296. Щерба 1974а – Щерба Л. В. К вопросу о двуязычии // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 313–318.

297. Щерба 1974б – Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 265–304.

298. Щерба 1974в – Щерба Л. В. Предисловие [к Русско-французскому словарю] // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 304–312.

299. Щерба 1991 – Щерба Л. В. / Из дискуссии 20-х годов о культуре речи // Русская речь. 1991. № 3. С. 49–50.

300. Элиаде 2000 – Элиаде М. Избранные сочинения. М., 2000. 414 с.

301. Юнг 1997 – Юнг К. Г. Настоящее и будущее // Юнг К. Г. Божественный ребёнок. М., 1997. С. 177–247 (пер. Д.В. Дмитриева).

302. Ямпольский 1981 – Ямпольский И. Г. Примечания // Толстой А. К. Соч.: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 538–574.

303. Jadacky 1994 – Jadacki J. J. Słowa-upiory: o potrzebie dezideologiracji wydawnictw stownikowych // Vocabulum et vocabularium. Харьков, 1994. Вып. 1. С. 128–134.

Лексикографические и справочные издания и картотеки

304. Англо-русский словарь / сост. В.К. Мюллер. М., 1956.

305. Ахманова 1966 – Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

306. БАС$_1$ – Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 1948–1965. Т. 1–17.

307. БАС$_2$ – Словарь современного русского литературного языка: в 20 томах. Изд. 2-е (с 1991 г.). М.: Русский язык, 1991–1992.

308. Берг, СИС-1901 – Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / сост. под ред. Ф.Н. Берга, А.А. Петрова. М., 1901.

309. БКСО – Большая картотека Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург).

310. Бурдон И.Ф., Михельсон А.Д. Словотолкователь 30 000 иностранных слов, вошедших в состав русского языка, с означением их корней. Изд. 2-е. М., 1871.

311. Даль 1984, 1 – Даль В. И. Пословицы русского народа: в 2-х т. М., 1984.

312. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. М., 1955 Т. 1–4. [Даль 1955], [Сл. Даля].

313. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. М., 1958 (сост. Дворецкий И.Х.).

314. Душенко 2006 – Душенко К. В. Словарь современных цитат. 4-е изд. М., 2006. 832 с.

315. Ефремов Е. Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. СПб., 1911.

316. Жаргонные слова, выражения и татуировки преступного мира / сост. Ю.А. Вакутин, В.Г. Валитов. Изд. 2-е. Омск, 1997. 220 с.

317. Жуков 1966 – Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1966. 535 с.

318. КДРС – Картотека Словаря русского языка XI-XVII вв. (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН).

319. Козинец, Санджи-Гаряева 2009 – Козинец С. Б., Санджи-Гаряева З. С. Словарь советизмов. Наименования лиц. Саратов, 2009. 70 с.

320. Комментарий к Конституции 1996 – Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1996.

321. Конституция 2009 – Конституция Российской Федерации (с учётом поправок, внесённых законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №6 – ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. №7 – ФКЗ) // Российская газета. 21 января 2009 г. №7 (4831). С. 3–5.

322. КСДР – Картотека Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. (Институт русского языка им. В.В. Виноградова).

323. КСлРЯ XVIII в. – Картотека Словаря русского языка XVIII в. (Институт лингвистических исследований РАН).

324. Кутина 1984 – Кутина Л. Л. Правила пользования Словарем // Словарь русского языка XVIII века. Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984. С. 8–47.

325. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 [ЛЭС].

326. МАС$_1$ – Словарь русского языка: в 4 т. М., 1957–1961.

327. МАС$_2$ – Словарь русского языка: в 4 т. Изд. 2-е. М., 1981–1984.

328. Новые слова 1984 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / под ред. Н. З. Котеловой. М., 1984. 805 с.

329. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 3-е. М., 1996 [ТСОШ 1996].

330. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е. М., 2001 [ТСОШ 2001].

331. Политический словарь. Краткое научно-политическое толкование слов / под общ. ред. Б.М. Эльцина. М., 1922.

332. Православие 2007 – Православие. Полная энциклопедия. СПб., 2007. 448 с.

333. Рогожникова 1991 – Рогожникова Р. П. Словарь эквивалентов слова. М., 1991. 254 с.

334. Розенталь, Теленкова 1976 – Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. М., 1976.

335. САР$_1$ – Словарь Академии Российской, производным путём расположенный.СПб., 1789–1794. Ч. 1–6.

336. САР$_2$ – Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный.СПб., 1806–1822. Ч. 1–6.

337. СИС 1954 – Словарь иностранных слов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 1954.

338. СИС 1979 – Словарь иностранных слов. Изд. 7-е. М., 1979.

339. СИС 1988 – Словарь иностранных слов. Изд. 15-е. М., 1988.

340. Сл. Пушкина – Словарь языка Пушкина. Т.М., 1956–1961. 1–4.

341. Сл. Соколова – Общий церковно-славяно-российский словарь, или Собрание речений как отечественных, так и иностранных, в церковно-славянском и российском наречиях употребляемых …, составленное П. С[околовым]. СПб., 1834. Ч. 1–2.

342. Сл. сочетаемости 1983 – Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. Изд. 2-е, испр. М., 1983.

343. Сл. Яновск. – Яновский Н. М. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины, значение которых не всякому известно, каковы суть между прочими: астрономические, математические, медицинские, анатомические, химические, юридические, коммерческие, горные, музыкальные, военные, артиллерийские, фортификационные, морские и многие другие, означающие придворные, гражданские и военные чины, достоинства, должности и проч. как древних, так и нынешних времён. СПб., 1803–1806. Ч. I–III.

344. Сл1847 – Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Академии наук. СПб., 1847. Т. 1–4.

345. Сл1867 – Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Академии наук. Изд. 2-е. СПб., 1867. Т. 1–4.

346. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.), изд. с 1988 [СлДРЯ XI–XIV вв.].

347. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого / Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. Сб. ОРЯС АН. СПб., 1910. Т. 88, № 2.

348. Словарь русского языка XI–XVII вв., изд. с 1975 г., М. [СлРЯ XI–XVII вв.].

349. Словарь русского языка XVIII века, изд. с 1984 г., СПб. [СлРЯ XVIII в.].

350. Словарь русского языка: в 4 т. Изд. 2-е. М., 1981–1984. [$МАС_2$].

351. Словарь русского языка: в 4 т. М., 1957–1961 [$МАС_1$].

352. Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1983.

353. Состав 1988 – Состав и структура словаря // Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): в 10 т. М., 1988. Т. 1. С. 7–16.

354. Справочник 1979 – Справочник личных имён народов РСФСР. М., 1979. 536 с.

355. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. М., 1958. Т. 1-3.

356. СУ – Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940.Т. 1-4.

357. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2001 [ТССРЯ].

358. Толковый словарь русского языка начала XX века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2007 [ТСРЯ 2007].

359. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М., 1964–1973. Т. 1–4. [Фасмер].

360. Фёдоров 1995 – Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2-х т. / сост. А. И. Фёдоров. Новосибирск, 1995.

361. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. Т. I–II.

362. Hornby A.S. Oxford's Student's Dictionary of Current English. Special Edition for the USSR. M. Oxford, 1984.

363. Law Day/Legislative Branch Documents/Executive Branch Documents/Books/Journal Articles and Speech Transcripts/web Resources.

Литературно-художественные и публицистические тексты

364. Аввакум 1979 – Петров А. Из «Книги бесед» // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие сочинения. Иркутск, 1979. С. 79–100.

365. Аввакум 1979а – Петров А. Из «Книги толкований» // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие сочинения. Иркутск, 1979. С. 101–125.

366. Аверченко 1985 – Аверченко А. Т. Смерть девушки у изгороди // Аверченко А. Т. Избранные рассказы. М., 1985. С. 103–109.

367. Адамов 1992 – Адамов А. Г. Личный досмотр. М., 1992. 236 с.

368. Бабель 2005 – Бабель И. Э. Одесские рассказы. М., 2005. 640 с.

369. Бедный Д. Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна // Бедный Д. Собр. соч.: в 6 т. Т.5. М., 1965.

370. Безрукова 2011 – Безрукова Л. В переводе на русский // Российская газета – Неделя. 9 июня 2011. № 124. С. 26–27.

371. Бёлль 1989 – Бёлль Г. Где ты был, Адам? // Бёлль Г. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 133–286 (пер. М. Гимпелевич и Н. Португалова).

372. Бестер 1992 – Бестер А. Человек без лица // Бестер А. Человек без лица: сборник. М., 1992. С. 3–227 (пер. Е. Коротковой).

373. Блок 1955а – Блок А. Двенадцать // Блок А. Соч.: в 2 т. М., Т. 1. 1955. С. 523–534.

374. Блок 1955б – Блок А. Из дневников и записных книжек // Блок А. Соч.: в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 373–512.

375. Блок 1955в – Блок А. А. Над озером // Блок А. А. Соч.: в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 245–248.

376. Богданов 2007 – Чигишев Ю. Куда ушли люди? // Городские новости. № 168. 15.11.07. С. 3. (текст интервью с председателем Союза журналистов России В. Богдановым даётся в ссылках как [Богданов 2007]).

377. Боноски 1978 – Боноски Ф. Две культуры. М., 1978. 434 с. (пер. В. Болотникова и др.).

378. Бортников – Бортников А. ФСБ расставляет акценты // https://rg.ru/2017/12/19/aleksandr-bortnikov-fsb-rossii-svobodna-ot-politicheskogo-vliianiia.html.

379. Брэдбери 1988 – Брэдбери Р. Марсианские хроники // Американская фантастика. М., 1988. С. 22–206 (пер. Л. Жданова).

380. Брэдбери 1989 – Брэдбери Р. Были они смуглые и золотоглазые // Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту. М., 1989. С. 204–218 (пер. Н. Галь).

381. Булгаков 1989, 1а – Булгаков М. А. Белая гвардия // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 177–428.

382. Булгаков 1989, 1б – Булгаков М. А. Китайская история // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 449–458.

383. Булгаков 1989, 2а – Булгаков М. А. Главполитбогослужение // Булгаков М. А. Соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 459–461.

384. Булгаков 1989, 2б – Булгаков М. А. Комаровское дело // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 301–306.

385. Булгаков 1989, 2в – Булгаков М. А. Москва краснокаменная // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т.М., 1989. Т. 2. С. 226–230.

386. Булгаков 1989, 2г – Булгаков М. А. Похождения Чичикова // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 230–242.

387. Булгаков 1989, 2д – Булгаков М. А. Роковые яйца // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 44–116.

388. Булгаков 1989, 2е – Булгаков М. А. Стенка на стенку // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 483–486.

389. Булгаков 1989, 2ж – Булгаков М. А. Столица в блокноте // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 250–265.

390. Булгаков 1989, 2з – Булгаков М. А. Торговый дом на колёсах // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 402–405.

391. Булгаков 1989, 2и – Булгаков М. А. Египетская мумия // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 473–475.

392. Булгаков 1989, 2к – Булгаков М. А. Путешествие по Крыму // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 564–579.

393. Булгаков 1989, 2л – Булгаков М. А. Кулак бухгалтера // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 582–585.

394. Булгаков 1990, 3а – Булгаков М. А. Адам и Ева // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 326–380.

395. Булгаков 1990, 3б – Булгаков М. А. Багровый остров // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 149–215.

396. Булгаков 1990, 3в – Булгаков М. А. Зойкина квартира // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 77–148.

397. Булгаков 1990, 4а – Булгаков М. А. Записки покойника (театральный роман) // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., Т. 4. 1990. С. 401–542.

398. Булгаков 1990, 4б – Булгаков М. А. Иван Васильевич // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5-ти т. М., 1990. Т. 4. С. 423–462.

399. Булгаков 1990, 5 – Булгаков М. А. Письма // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 385–603.

400. Булгаков 1990, 5а – Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 5–384.

401. Булгаков 1990, 5б – Булгаков М. А. Письмо Правительству СССР // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 443–450.

402. Булгаков, 1989, 2м – Булгаков М. А. Бенефис лорда Керзона // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 295–298.

403. Бунин 1988, 4 – Бунин И. А. Из цикла «Странствия» // Бунин И. А. Соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 4. С. 601–613.

404. Бунин 1988, 5 – Бунин И. А. Жизнь Арсеньева // Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 5. С. 5–248.

405. Бунин 1988, 6а – Бунин И. А. Дневники // Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 309–540.

406. Бунин 1988, 6б – Бунин И. А. Из воспоминаний «Третий Толстой» // Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т.М., 1988. Т. 6. С. 288–298.

407. Бунин 1988, 6в – Бунин И. А. Из записей // Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 557–584.

408. Бунин 1990а – Бунин И. А. Автобиографические заметки // Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С. 172–205.

409. Бунин 1990б – Бунин И. А. Дневник 1917-1918 гг. // Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С. 27–64.

410. Бунин 1990в – Бунин И. А. Окаянные дни // Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 65–170.

411. Бунин 1990г – Бунин И. А. «Третий Толстой» // Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 289–311.

412. В. В. Путин. Новости. RenTV. 29.05.19

413. Вампилов 1982а – Вампилов А.В. Глупости // Вампилов А.В. Дом окнами в поле. Иркутск, 1982. С. 515–520.

414. Вампилов 1982б – Вампилов А.В. Утиная охота // Вампилов А.В. Дом окнами в поле. Иркутск, 1982. С. 158–237.

415. Васильев Г. – Васильев Г. Клуб трёх сестёр // РГ-Неделя. – № 262(8020). – С. 21.

416. Во 1971 – Во И. Не жалейте флагов // Во И. Пригоршня праха. Не жалейте флагов. М., 1971. С. 212–398 (пер. В. Смирнова).

417. Во 1974 – Во И. Возвращение в Брайдсхед // Во И. Избранное. – М., 1974. – С. 188-500 (пер. И.Бернштейн).

418. Войнович 1990 – Войнович В. Москва 2042 // Вечер в 2217 году. М., 1990. С. 387–716.

419. Воннегут 2001 – Воннегут К. Завтрак для чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник! М., 2001. 224 с. (пер. Р. Райт-Ковалевой).

420. Вулф 1982 – Вулф Т. Домой возврата нет. М., 1982. 687 с. (пер. Н. Галь и Р. Облонской).

421. Вяземский 1982, 2а – Вяземский П. А. Из «Автобиографического введения» // Вяземский П. А. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 239–281.

422. Вяземский 1982, 2б – Вяземский П. А. О Ламартине и современной французской поэзии // Вяземский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 142–146.

423. Гайдар 1963, 1а – Гайдар А. Военная тайна // Гайдар А. Избранные произведения. Л., 1963. Т. 1. С. 457–559.

424. Гайдар 1963, 1б – Гайдар А. Школа // Гайдар А. Избранные произведения. Л., 1963. Т. 1. С. 20–386.

425. Гайдар 1963, 1в – Гайдар А. Судьба барабанщика // Гайдар А. Избранные произведения. – М., 1963. – Т. 1. – С. 560-653.

426. Гашек 1956 – Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. М., 1956. 751 с. (пер. П. Богатырева).

427. Герейханова 2019 – Герейханова А. Ближе к людям // Российская газета. – Неделя. 24.04.2019. № 91. С. 2.

428. Гоголь 1952, 1а – Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 1. С. 101–145.

429. Гоголь 1952, 1б – Гоголь Н. В. Страшная месть // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 1. С. 146–186.

430. Гоголь 1952, 2а – Гоголь Н. В. Старосветские помещики // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 2. С. 7–30.

431. Гоголь 1952, 3а – Гоголь Н. В. Записки сумасшедшего // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т.М., 1952. Т. 3. С. 174–195.

432. Гоголь 1952, 3б – Гоголь Н. В. Невский проспект // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 3. С. 7–43.

433. Гоголь 1952, 3в – Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 3. С. 71–128.

434. Гоголь 1952, 3г – Гоголь Н. В. Шинель // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. М., 1952. Т. 3. С. 129–160.

435. Гоголь 1956 – Гоголь Н. В. Мертвые души. Киев: Молодь, 1956. 421 с.

436. Гоголь 1966 – Гоголь Н. В. Ревизор. М., 1966. 115 с.

437. Голдинг 1981 – Голдинг У. Повелитель мух // Голдинг У. «Шпиль» и другие повести. М., 1981. С. 23–166 (пер. Е. Суриц).

438. Голенпольский 1978 – Голенпольский Т. Комментарий // Боноски Ф. Две культуры. М., 1978. С. 419–432.

439. Горбаневский 1991 – Горбаневский М. В. В начале было слово… М.: УДН, 1991. 256 с.

440. Грибоедов 1964 – Грибоедов А. С. Горе от ума. М., 1964. С. 3–122.

441. Губарева 2012 – Губарева О. Устами Грефа глаголет истина // Советская Россия. 30.06.12. № 69. С. 4.

442. Делл 1970 – Делл Ш. Какие школы я выбрала для своих детей // Англия. 1970. №2. С. 20–25.

443. Достоевский 1955 – Достоевский Ф. М. Село Степанчиково и его обитатели. М., 1955. 214 с.

444. Достоевский 1956 – Достоевский Ф.М. Униженные и оскорблённые // Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. – М., 1956. – С. 5–386.

445. Достоевский 1957, 4 – Достоевский Ф. М. Скверный анекдот // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. М., 1957. Т. 4. С. 5–60.

446. Достоевский 1957, 7 – Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10-и т. Т. 7. М., 1957. С. 5–704.

447. Достоевский 1957, 8 – Достоевский Ф. М. Подросток // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10-и т. Т. 8. М., 1957. С. 5–625.

448. Достоевский 1958, 9 – Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10-и т. Т. 9. М., 1958. 636 с.

449. Елисеев 2010 – Елисеев И. Добра палата // Российская газета-неделя. № 108. 20.05.10.С. 5.

450. Елков 2010 – Елков И. Семейные ценности // Российская газета-неделя. № 108. 20.05.10. С. 4.

451. Ершов 1951 – Ершов П. П. Конёк-горбунок // Ершов П. Конёк-горбунок. Стихотворения. Л., 1951. С. 58–142.

452. Ефремов 1988, 4 – Ефремов И. А. Лезвие бритвы // Ефремов И. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1988. Т. 4. 670 с.

453. Ефремов 1989 – Ефремов И. А. Час Быка // Ефремов И. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 5 / 2. С. 6–453.

454. Жуков Д. Жизнь и книги В.В. Шульгина // Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 3–72.

455. Замятин 1989а – Замятин Е. И. Десятиминутная драма // Замятин Евгений. Избранные произведения. М., 1989. С. 461–463.

456. Замятин 1989б – Замятин Е. И. Мы // Замятин Е. И. Избранные произведения. М., 1989. С. 547–680.

457. Замятин 1989в – Замятин Е.И. Слово предоставляется товарищу Чурыгину // Замятин Е.И. Избранные произведения. – М., 1989. – С. 452–460.

458. Зиновьев 1990, 1 – Зиновьев А. А. Зияющие высоты. В 2 кн. Кн. 1. М., 1990. 316 с.

459. Зощенко 1986, 1а – Зощенко М. М. Бедный человек // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 1. С. 224–226.

460. Зощенко 1986, 1б – Зощенко М. М. Диктофон // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Л., 1986. Т. 1. С. 203–205.

461. Зощенко 1986, 1в – Зощенко М. М. Европа // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Л., 1986. Т. 1. С. 152–154.

462. Зощенко 1986, 1г – Зощенко М. М. Качество продукции // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Л., 1986. Т. 1. С. 365–367.

463. Зощенко 1986, 1е – Зощенко М. М. О пользе грамотности // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Л., 1986. Т. 1. С. 504–505.

464. Зощенко 1986, 1ж – Зощенко М. М. Ошибочка // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Т. 1. – Л., 1986. – С. 276–277.

465. Зощенко 1986, 1з – Зощенко М. М. Стихийное бедствие // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Л., 1986. Т. 1. С. 480–481.

466. Зощенко 1986, 1и – Зощенко М. М. Суконное рыло // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 1. С. 288–289.

467. Зощенко 1986, 1к – Зощенко М. М. Туман // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3-х т. Л., 1986. Т. 1. С. 291–292.

468. Зощенко 1986, 1л – Зощенко М. М. Учитель // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 1. С. 122–123.

469. Зощенко 1986, 1м – Зощенко М. М. Чистая выгода // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 1. С. 444–446.

470. Зощенко 1986, 1н – Зощенко М.М. Обезьяний язык // Зощенко М.М. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. – Л., 1986. – С. 264–266.

471. Зощенко 1986, 1о – Зощенко М.М. Столичная штучка // Зощенко М.М. Собр. соч. В 3 т. Т. 1. – Л., 1986. – С. 273–275.

472. Зощенко 1986, 2а – Зощенко М. М. Мишель Синягин // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 2. С. 175–216.

473. Зощенко 1986, 2б – Зощенко М. М. Сентиментальные повести // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 2. С. 5–174.

474. Зощенко 1986д, 1 – Зощенко М. М. Необыкновенная история // Зощенко М. М. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1986. Т. 1. С. 435–436.

475. Иванов 2018 – Иванов С. Человек без принципов? Академик Д.С. Лихачёв: pro et contra // Русский вестник. – 27.12.18. – http://www.rv.ru/content.php3?id=12827.

476. Ильф, Петров 1957а – Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телёнок. Новосибирск, 1957. С. 15–325.

477. Ильф, Петров 1957б – Ильф И., Петров Е. Золотой телёнок // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телёнок. – Новосибирск, 1957. С. 327–653.

478. Калашников 2003 – Калашников М. Вперёд, в СССР-2. М., 2003.

479. Калашников 2007 – Калашников М. Крещение огнём. М., 2007.

480. Карсак 1987 – Карсак Ф. Бегство Земли // Французская фантастическая проза. М., 1987. С. 17–148 (пер. Ф. Мендельсона).

481. Кассиль 1977 – Кассиль Л. А. Кондуит и Швамбрания. М., 1977. 255 с.

482. Катаев В. 1969 – Катаев В.П. Первомайская пасха // Катаев В.П. Собр. соч.: в 9 т. Т. 2. М., 1969. С. 299–301.

483. Кирсанов 2009 – Кирсанов Н. А. День позора, а не «народного единства» // Советская Россия. 03.11.09. № 121. С. 4.

484. Кловер 2011 – Кловер Ч. Губернаторы должны рожать больше детей // Советская Россия. 14.07.11. № 76. С. 3.

485. Ключевский 1990, IX – Ключевский В. О. Дневниковые записи // Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. М., 1990. Т. IX. С. 298–319.

486. Козулина, Романенко 2009 – Козулина М. В., Романенко А. П. Советская массовая поэзия: хрестоматия. Саратов, 2009. 237 с.

487. Конецкий 1972 – Конецкий В.В. Среди мифов и рифов. – Л., 1972. – 344 с.

488. Константинов 2001 – Константинов А. Арестант. СПб.-М., 2001. 415 с.

489. Куприн 1953, 1 – Куприн А. И. Без заглавия // Куприн А. И. Соч.: в 3 т. М., 1953. Т. 1. С. 69–79.

490. Куприн 1953, 2а – Куприн А. И. Как я был актером // Куприн А. И. Соч.: в 3 т. М., 1953. Т. 2. С. 391–419.

491. Куприн 1953, 2б – Куприн А. И. Поединок // Куприн А. И. Соч.: в 3 т. М., 1953. Т. 2. С. 152–373.

492. Куприн 1953, 2в – Куприн А. И. Черный туман // Куприн А. И. Соч.: в 3 т. М., 1953. Т. 2. С. 374–385.

493. Лазаревский 1982 – Лазаревский Б. А. Доктор // Писатели чеховской поры. В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 346–365.

494. Лакло 1967 – Лакло де Ш. Опасные связи // Прево. Манон Леско; Лакло де Ш. Опасные связи. – М., 1967. – С. 155-509 (пер. Н.Рыковой).

495. Лейкин 1982 – Лейкин Н. А. Айвазовский // Писатели чеховской поры. В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 49–52.

496. Ленин 1976а – Ленин В. И. Великий почин // Ленин В. И. Сборник произведений. М., 1976. С. 322–340.

497. Ленин 1976б – Задачи союзов молодёжи // Ленин В. И. Сборник произведений. М., 1976. С. 412–426.

498. Ленин 1976в – Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше // Ленин В. И. Сборник произведений. М., 1976. С. 461–464.

499. Ленин 1976г – Ленин В. И. Об очистке русского языка // Ленин В. И. Сборник произведений. М., 1976. С. 380.

500. Ленин 1976д – Ленин В. И. О кооперации // Ленин В. И. Сборник произведений. М., 1976. С. 451–457.

501. Ленин 1976е – Ленин В. И. Памяти Герцена // Сборник произведений В. И. Ленина. М., 1976. С. 101–106.

502. Ленин 1976ж – Ленин В. И. Странички из дневника // Сборник произведений В. И. Ленина. М., 1976. С. 447–450.

503. Лермонтов 1948, 3 – Лермонтов М. Ю. Маскарад // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.М.-Л., 1948. Т. 3. С. 7–117.

504. Лермонтов 1948, 4 – Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. М.-Л., 1948. Т. 4. С. 7–152.

505. Лермонтов 1970, 1а – Лермонтов М. Ю. Поле Бородина // Лермонтов М. Ю. Соч.: в 2 т. М., 1970. Т. 1. С. 126–128.

506. Лермонтов 1970, 1б – Лермонтов М. Ю. Тамара // Лермонтов М. Ю. Соч.: в 2 т. Т. 1. М., 1970. С. 395–396.

507. Лесков 1981а – Лесков Н. С. Воительница // Лесков Н. С. Рассказы. М., 1981. С. 49–124.

508. Лесков 1981б – Лесков Н. С. Запечатленный ангел // Лесков Н. С. Рассказы. 1981. С. 125–186.

509. Лесков 1981в – Лесков Н. С. Несмертельный Голован // Лесков Н. С. Рассказы. М., 1981. С. 218–262.

510. Лесков 1981г – Лесков Н. С. Однодум // Лесков Н. С. Рассказы. М., 1981. С. 187–217.

511. Лимонов 1992 – Лимонов Э. Иностранец в смутное время // Лимонов Э. Иностранец в смутное время. Это я – Эдичка. Омск, 1992. С. 7–253.

512. Лондон 1971 – Лондон Дж. «Ату их, ату!» // Лондон Дж. Повести и рассказы. Л., 1971. С. 666–678.

513. Маркес 1979 – Маркес Г. Г. Сто лет одиночества // Маркес Г. Г. Избранное. М., 1979. С. 31–388 (пер. Н. Бутыриной и В. Столбова).

514. Маяковский 1955 – Маяковский В. В. Я сам // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т.М., 1955. Т. 1. С. 7–29.

515. Маяковский 1956а – Маяковский В. В. Мы идем // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 2. С. 30–31.

516. Маяковский 1956б – Маяковский В. В. III Интернационал // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 2. С. 43–45.

517. Маяковский 1956в – Маяковский В. В. 150 000 000 // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 2. С. 113–164.

518. Маяковский 1956г – Маяковский В. В. Сказка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 2. С. 68–70.

519. Маяковский 1957 – Маяковский В.В. О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 4. – М., 1957. – С. 64–66.

520. Маяковский 1973 – Маяковский В. В. Сергею Есенину // Собр. соч.: в 6 т. В. В. Маяковский. М., 1973. Т. 3. С. 11–16.

521. Маяковский 1979а – Маяковский В. В. Владимир Ильич Ленин // Избранное. М., 1979. С. 491–551.

522. Маяковский 1979б – Маяковский В. В. Хорошо! // Избранное. М., 1979. С. 551–616.

523. Маяковский 1979в – Маяковский В.В. Моё открытие Америки // Маяковский В.В. Избранное. – М., 1979. – С. 623–660.

524. Набоков 1990, 2а – Набоков В. В. Занятой человек // Набоков В. В. Собр. соч.: в 3-х т. М., 1990. Т. 2. С. 383–393.

525. Набоков 1990, 2б – Набоков В. В. Подвиг // Набоков В. В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 155–296.

526. Набоков 1990, 2в – Набоков В. В. Случай из жизни // Набоков В. В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 420–425.

527. Набоков 1990, 2г – Набоков В. В. Защита Лужина // Набоков В. В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 5–152.

528. Набоков 1990, 3 – Набоков В. В. Дар // Набоков В. В. Собр. соч.: в 4-х т. М., 1990. Т. 3. С. 3–330.

529. Набоков 1990, 4а – Набоков В. В. Другие берега // Набоков В. В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 133–302.

530. Набоков 1990, 4б – Набоков В. В. Истребление тиранов // Набоков В. В. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 384–405.

531. Назаров 1988 – Назаров Э. Силайское яблоко // Советская фантастика 50-х-70-х годов. М., 1988. С. 459–558.

532. Носик 1995 – Носик Б. Мир и дар Набокова. М., 1995. 552 с.

533. Носов 1990 – Носов Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей. М., 1990. 128 с.

534. Оруэлл 1989 – Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 22–220 (пер. В. Голышева).

535. Оруэлл 1989б – Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Е. И. Замятина // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 306–309.

536. Пантелеев 2002 – Пантелеев Л. Верую! // Пантелеев Л. Верую! Екатеринбург, 2002. С. 433–702.

537. Пантелеев, Белых 2002 – Пантелеев Л., Белых Г. Республика Шкид // Пантелеев Л. Верую! Екатеринбург, 2002. С. 3–430.

538. Пелевин 2003 – Пелевин В. О. Чапаев и Пустота. М., 2003. 290 с.

539. Писатели 1993 – Писатели требуют от правительства решительных действий // Известия. – 05.10.93. – № 189(29044).

540. Платонов 1977 – Платонов А. П. Город Градов // Платонов А. П. Избранное. М., 1977.С. 52–84.

541. Платонов 1988а – Платонов А. П. Котлован // Платонов А. П. Ювенильное море. М., 1988. С. 79–187.

542. Платонов 1988б – Платонов А. П. Чевенгур // Платонов А. П. Ювенильное море. М., 1988. С. 188–511.

543. Платонов 1998в – Платонов А. П. Ювенильное море // Платонов А. П. Ювенильное море. 1988. С. 3–78.

544. Плутарх 1987, 1 – Избранные жизнеописания. В 2 т. М., 1987. Т. 1. 608 с.

545. Поляков 2004 – Поляков Ю. Халам-бунду, или Заложники любви // Поляков Ю.М. Хомо эректус: Пьесы и инсценировки. М., 2004. С. 223–312.

546. Поляков 2005 – Поляков Ю. М. Порнократия: сб. статей.М., 2005. 443 с.

547. Поляков 2006а – Поляков Ю. Грибной царь. М., 2006. 368 с.

548. Поляков 2006б – Поляков Ю. М. Замыслил я побег… // Поляков Ю. М. Треугольная жизнь. М., 2006. С. 11–365.

549. Поляков 2009 – Поляков Ю. М. Гипсовый трубач, или Конец фильма. М., 2009.381 с.

550. Поляков 2010 – Поляков Ю. Гипсовый трубач: дубль два. М., 2010. 488 с.

551. Поляков 2010 – Поляков Ю. Пять событий недели // Российская газета – Неделя. 02.09.2010. № 34(197). С. 2.

552. Поляков 2012 – Поляков Ю. М. Конец фильма, или Гипсовый трубач. М., 2012. 672 с.

553. Поляков 2019 – Поляков Ю. Быть русским в России. – М., 2019. – 496 с.

554. Поэтические течения 1988 – Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века / сост. Соколов А. Г. М., 1988. 368 с.

555. Прилепин 2008 – Прилепин З. К нам едет Пересвет // Прилепин З. Я пришел из России. СПб., 2008. С. 196–199.

556. Прилепин 2009 – Прилепин З. Действительно не понимаю // Прилепин З. Terra Tartarara: Это касается лично меня. М., 2009. С. 29–37.

557. Прутков 1976 – Прутков К. Проект: о введении единомыслия в России // Прутков Козьма. Сочинения. М., 1976. С. 138–140.

558. Прямая линия 2017 – «Прямая линия с Владимиром Путиным» 2017 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/54790.

559. Пушкин 1977, II – Пушкин А. С. Если жизнь тебя обманет… // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977. Т. 2. С. 239.

560. Пушкин 1977, IIIа – Пушкин А. С. Послание Дельвигу // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10-ти т. Л., 1977. Т. 3. С. 26–30.

561. Пушкин 1977, IIIб – Пушкин А. С. Элегия // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977. Т. III. С. 169.

562. Пушкин 1977, IV – Пушкин А. С. Сказка о золотом петушке // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977. Т. 4. С. 358–363.

563. Пушкин 1978, V – Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1978. Т. V. С. 5–184.

564. Пушкин 1978, VIII – Пушкин А. С. Исторические заметки // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1978. Т. VIII. С. 88–105.

565. Пушкин 1978, VIIа – Пушкин А. С. Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 45–47.

566. Пушкин 1978, VIIб – Пушкин А. С. О народном воспитании // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т.Л., 1978. Т. VII. С. 30–35.

567. Пушкин 1978, VIIв – Пушкин А. С. О народности в литературе // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10-ти т. Л., 1977. Т. VII. С. 28–29.

568. Пушкин 1978, VIIг – Пушкин А. С. О поэзии классической и романтической // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1978. Т. VII. С. 24–26.

569. Пушкин 1978, VIIд – Пушкин А. С. Письмо к издателю «Московского вестника» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 51–54.

570. Пушкин 1978, VIа – Пушкин А. С. Дубровский // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10-ти т. Л., 1978. Т. VI. С. 142–209.

571. Пушкин 1978, VIб – Пушкин А. С. Капитанская дочка // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10-ти т. Л., 1978. Т. VI. С. 258–360.

572. Пушкин 1979, X – Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 141.

573. Райнов 1970 – Райнов Б. Господин Никто. М., 1970. 246 с. (пер. А. Собковича).

574. Распутин 1986 – Распутин В. Г. Последний срок // Распутин В. Г. Живи и помни. Повести. Кемерово, 1986. С. 363–516.

575. Ремарк 1989 – Ремарк Э. М. Тени в раю // Ремарк Э. М. Тени в раю. Жизнь взаймы. Минск, 1989. С. 5–400 (пер. Л. Черной и В. Котелкина).

576. Родари 1987а – Родари Дж. Джельсомино в стране лгунов // Родари Дж. Сказки. Минск, 1987. С. 79–160 (пер. И. Константиновой и Ю. Ильина).

577. Родари 1987б – Родари Дж. Торт в небе // Родари Дж. Сказки. Минск, 1987. С. 263–310 (пер. И. Константиновой).

578. Роллан 1986 – Роллан Р. Кола Брюньон. Л., 1986. С. 9–196 (пер. М. Лозинского).

579. Рыбаков 1986 – Рыбаков А. Н. Кортик. М., 1986. 156 с.

580. Саймак 1992 – Саймак К. Всё живое … // Саймак К. Научно-фантастические произведения. М., 1992. С. 3–229 (пер. Н. Галь).

581. Салтыков-Щедрин 1953 – Салтыков Щедрин М. Е. История одного города. М., 1953. 198 с.

582. Салтыков-Щедрин 1976 – Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо // Салтыков-Щедрин М. Е. Избранное. М., 1976. С. 371–405.

583. Салтыков-Щедрин 1976а – Салтыков-Щедрин М.Е. Помпадуры и помпадурши // Салтыков-Щедрин М.Е. Избранное. – М., 1976. – С. 80–135.

584. Свифт 1989 – Свифт Дж. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. М., 1989. 352 с. (пер. под ред. А. Франковского).

585. Скотт 1980 – Скотт В. Айвенго. М., 1980. 404 с. (пер. Е. Бекетовой).

586. Стивенсон 1960 – Стивенсон Р.Л. Чёрная стрела // Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ. Чёрная стрела. – М., 1960. – С. 205–420 (пер. Н.К. Чуковского).

587. Страпарола 1978 – Страпарола Дж. Приятные ночи. М., 1978. 447 с. (пер. А. С. Бобовича).

588. Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи // Зарубежная повесть. М., 1975. С. 661–852 (пер. Р. Райт-Ковалевой).

589. Твен 1978 – Твен М. Приключения Гекльберри Финна // Твен М. Избранное. М., 1978. С. 211–472 (пер. Н. Дарузес).

590. Твен М. Приключения Тома Сойера // Твен М. Избранное. М., 1978. С. 17–210 (пер. К. Чуковского).

591. Толстой 1978, I – Толстой Л. Н. Отрочество // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1978. Т. 1. С. 110–186.

592. Толстой 1979, V – Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1979–1981. Т. IV–VII.

593. Толстой 1980, VI – Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22-х т. М., 1979–1981. Т. IV–VII.

594. Толстой 1983, XV – Толстой Л. Н. Что такое искусство? // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1983. С. 41–211. Т. 15.

595. Толстой 1981, 1 – Толстой А. К. Поток-богатырь // Толстой А. К. Соч.: в 2 т. М., 1981. С. 186–193. Т. 1.

596. Толстой 1982, 1 – Толстой А. Н. Хождение по мукам. Челябинск, 1982. Т. 1–2.

597. Толстой 1986 – Толстой А. Н. Гиперболоид инженера Гарина // Толстой А. Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина. М., 1986. С. 167–445.

598. Тургенев 1954, 2 – Тургенев И. С. Рудин // Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 2. С. 5–138.

599. Тургенев 1954, 4 – Тургенев И. С. Новь // Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 4. С. 189–477.

600. Тургенев 1956, 11 – Тургенев И. С. <По поводу перевода «Записок охотника» на французский язык> (перевод) // Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 11. С. 309–311.

601. Тургенев 1958, 1 – Тургенев И. С. Однодворец Овсяников // Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1953. Т. 1. С. 128–146.

602. Тургенев 1958, 12 – Тургенев И. С. Письма // Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1958. Т. 12. С. 9–580.

603. Тэффи 1991а – Тэффи. Авантюрный роман // Тэффи. Всё о любви. М., 1991. С. 331–428.

604. Тэффи 1991б – Тэффи. Вендетта // Тэффи. Всё о любви. М., 1991. С. 89–92.

605. Тэффи 1991в – Тэффи. Время // Тэффи. Всё о любви. М., 1991. С. 217–222.

606. Тэффи 1991г – Тэффи. О вечной любви // Тэффи. Всё о любви. М., 1991. С. 228–233.

607. Тэффи 1991д – Тэффи. Флирт // Тэффи. Всё о любви. – М., 1991. – С. 174–183.

608. Тэффи 1991е –Тэффи. Весна // Тэффи. Всё о любви. – М., 1991. – С. 48–50.

609. Тютчев Ф. И. Стихотворения. М., 1985. 334 с.

610. Уэллс 1988 – Уэллс Г. Дж. Человек-невидимка. М., 1988.135 с. (пер. Д. Вейса).

611. Фет 1979 – Фет А. А. Как беден наш язык!.. // Фет А. А. Стихотворения. М., 1979. С. 263.

612. Царёв 2010 – Царёв И. Дорогая моя // Российская газета-неделя. 13.05.10. № 102. С. 11.

613. Чехов 1954, 1а – Чехов А. П. Каникулярные работы институтки Наденьки Н. // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 1. С. 81–83.

614. Чехов 1954, 1б – Чехов А. П. Ярмарка // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т.М., 1954. Т. 1. С. 347–353.

615. Чехов 1954, 2а – Чехов А. П. Двое в одном // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 2. С. 14–16.

616. Чехов 1954, 2б – Чехов А. П. Маска // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 2. С. 406–411.

617. Чехов 1954, 2в – Чехов А. П. Орден // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 2. С. 273–276.

618. Чехов 1954, 2г – Чехов А. П. Радость // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 2. С. 11–13.

619. Чехов 1954, 2д – Чехов А. П. Ряженые // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1954. Т. 2. С. 8–10.

620. Чехов 1955, 3а – Чехов А. П. В бане // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1955. Т. 3. С. 213–220.

621. Чехов 1955, 3б – Чехов А. П. Психопаты // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т.М., 1955. Т. 3. С. 446–450.

622. Чехов 1955, 3в – Чехов А. П. Служебные пометки // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1955. Т. 3. С. 208–209.

623. Чехов 1955, 4а – Чехов А. П. Без места // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1955. Т. 3. С. 504–509.

624. Чехов 1955, 4б – Чехов А. П. Муж // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1955. Т. 4. С. 352–357.

625. Чехов 1955, 5 – Чехов А. П. Лев и солнце // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1955. Т. 5. С. 414–418.

626. Чехов 1955, 6 – Чехов А. П. Скучная история // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1955. Т. 6. С. 266–327.

627. Чехов 1956, 10 – Чехов А. П. Записные книжки // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12-ти т. М., 1956. Т. 10. С. 413–540.

628. Чехов 1956, 8а – Чехов А. П. Ариадна // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 8. С. 62–88.

629. Чехов 1956, 8б – Чехов А. П. Новая дача // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 8. С. 364–377.

630. Чехов 1956, 8в – Чехов А. П. Человек в футляре // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 8. С. 285–298.

631. Чехов 1956, 9 – Чехов А. П. Дядя Ваня // Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1956. Т. 9. С. 283–332.

632. Чуковский 1981 – Чуковский К. И. Путаница // Чуковский К. И. Стихи и сказки. М., 1981. С. 85–89.

633. Шаликов П.И. Новое путешествие в Малороссию // Московский журнал. 1803. Ч. 3.

634. Шекспир 1959а – Шекспир У. Ричард III // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 1. – М., 1959. – С. 431–579 (пер. А. Радловой).

635. Шекспир 1959б – Шекспир У. Троил и Крессида // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 5. – М., 1959. – С. 325–467 (пер. Т.Гнедич).

636. Шекспир 1960, 6 – Шекспир У. Гамлет, принц Датский // Шекспир У. Полн. собр. соч.: в 8 т. М., 1960. Т. 6. С. 3–157 (пер. М. Лозинского).

637. Шишков 1961а – Шишков В. Я. Пейпус-озеро // Шишков В. Я. Собр. соч.: в 8 т. М., 1961. Т. 2. С. 7–147.

638. Шишков 1961б – Шишков В. Я. Свежий ветер // Шишков В. Я. Собр. соч.: в 8 т.М., 1961. Т. 2. С. 297–343.

639. Шишков 1961в – Шишков В. Я. Черный час // Шишков В. Я. Собр. соч.: в 8 т. М., 1961. Т. 2. С. 263–281.

640. Шишков 1961г – Шишков В. Я. Экзамен // Шишков В. Я. Собр. соч.: в 8 т. М., 1961. Т. 2. С. 507–514.

641. Шолохов 1956, 2 – Шолохов М. А. Тихий Дон // Шолохов М. А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1956–1957. Т. 2–5.

642. Шолохов 1960, 7 – Шолохов М. А. Поднятая целина // Шолохов М. А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1960. Т. 7. 415 с.

643. Шолохов 1977 – Шолохов М. А. Поднятая целина. М., 1977. С. 13–596.

644. Шукшин 1980а – Шукшин В. М. Брат мой… // Шукшин В. М. Калина красная. Красноярск, 1980. С. 152–197.

645. Шукшин 1980б – Шукшин В. М. До третьих петухов … // Шукшин В. М. Калина красная. Красноярск, 1980. С. 436–483.

646. Шукшин 1980в – Шукшин В. М. Крепкий мужик // Шукшин В. М. Рассказы. М., 1980. С. 145–149.

647. Шукшин 1980г – Шукшин В. М. Осенью // Шукшин В. М. Рассказы. М., 1980. С. 213–219.

648. Шукшин 1980д – Шукшин В. М. Точка зрения // Шукшин В. М. Калина красная. Повести. Красноярск, 1980. С. 328–367.

649. Шульгин 1989а – Шульгин В. В. Дни // Шульгин В. В. Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 73–282.

650. Шульгин 1989б – Шульгин В. В. 1920 // Шульгин В. В. Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 283–530.

651. Алашкевич. URL://www.svoboda.org/a/30112898.html

652. Антимонова. URL://medialeaks.ru/2812mov-samara-ministr/

653. В. Путин, 13.03.18. URL://special.kremlin.ru/events/president/news/ 57050

654. В. Путин, Прямая линия 24.10.17. URL://kremlin.ru/events/president/transcripts/ 24619

655. В. Путин. Прямая линия 20.06.19 – http://www.kremlin.ru/events/ president/news/60795

656. Гаффнер. URL://www.kommersant.ru/doc/2651430

657. Глацких. URL://tsargrad.tv/news_167343

658. Жуковский – https: //newdaynews.ru/ekb/632158.html

659. Карелин. URL://www.nsk.kp.ru/daily/26928.5/3978945/

660. Кобылкин. URL://www.krsk.aif.ru/society

661. Лахова. URL://www.gazeta.ru/social/2018/11/20/12065797.shtml

662. Медведев 2008 – Медведев Д. А. Москва, Манеж 22.01.2008. Официальный сайт кандидата на должность президента РФ Медведева Д. А. http//www//medvedev2008.ru.

663. Медведев 2016. URL://www.gazeta.ru/business/news /2016/05/24/n_ 8672513.shtml

664. Медведев 2016 (вопрос о низких зарплатах). URL://www.gazeta.ru/business/news/2016/08/03/n_8953517.shtml

665. Н. Меркушкин, бывший глава Самарской областной администрации. 02.11.17. URL://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/ 55988

666. Путин 2012 – Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию РФ 12 декабря 2012 г. http://www.kremlin.ru/events/ president/news/17118

667. Путин 2013 – Послание Президента Федеральному собранию. 2013. 12 дек. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825

668. Путин 2014 – Послание Президента Федеральному собранию. 2014. 4 дек. URL: http:/www.kremlin.ru/news/47173.

669. Путин 2016а. URL://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2016052 80709-6 drg.htm

670. Скворцова. URL://www.interfax.ru/russia/642206
671. Соколова. URL://360tv.ru/news/tekst/makaroshki-dieta
672. Сурков 2019 – http://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html
673. Толоконская. URL: // tvk6.ru/publications/news/19416/.
674. Толстой. URL://www.novayagazeta.ru/news/2018/04/14/140998.
675. Шувалов – https://vz.ru/news/2016/6/10/815527.html
676. 16.04.15. URL:http:kremlin.ru/2/49261
677. http//archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type 63376type63377type63381type82634_118097shtml).
678. https://ria.ru/cultur/20090827/182589876/.Html
679. https://ru.wikipedia.org/wiki
680. https://special.kremlin.ru/events/president/news/49358
681. URL:http://www.kremlin.ru/news/20796

А.Д. Васильев

ВАРИАТИВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ

Том 2

Редактор
Корректор
Верстка В.Ю. Васильева
Обложка Д.А. ВАсильев

660049, Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89.
Редакционно-издательский отдел КГПУ им. В.П. Астафьева,
т. 217-17-52, 217-17-82

Обложка Д.А. Васильев

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 20,6. Тираж 500 экз. Заказ 03-046

Издательство «ЛИТЕРА-принт»
(ИП Азарова Н.Н.)
Красноярск, ул. Гладкова, 6,
т. 295-03-40

Для заметок